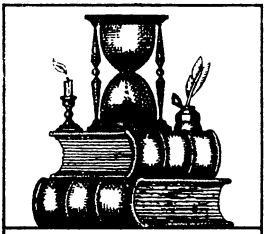
ПОЛКА БИБЛИОФИЛА

ШАРЛЬ НОДЬЕ

ЧИТАЙТЕ СТАРЫЕ КНИГИ

Новеллы, статьи, эссе о книгах, книжниках, чтении.



ПОЛКА
БИБЛИОФИЛА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КНИГА»

ШАРЛЬ НОДЬЕ

ЧИТАЙТЕ СТАРЫЕ КНИГИ

Новеллы, статьи, эссе о книгах, книжниках, чтении

В двух книгах
книга I

МОСКВА "КНИГА" 1989

ББК 76.11
Н 76

Перевод с французского
О.Э.Гринберг, М.А.Ильховской, В.А.Мильчиной

Составление, вступительная статья и примечания
В.А.Мильчиной

Перевод стихотворных цитат,
за исключением
отмеченных в тексте случаев,
М.С.Гринберга

Н $\frac{4703010100\text{-}098}{002\,(01)\text{-}89}$ -19-89

ISBN 5-212-00092-0 (т.1)
5-212-00374-1

© Издательство "Книга", 1989

О ШАРЛЕ НОДЬЕ И ЕГО КНИЖНЫХ ПРИСТРАСТИЯХ

Когда французский писатель Шарль Нодье (1780–1844) захотел наградить главных героев двух своих повестей – "Фея хлебных крошек" и "Бобовое зернышко и Цветок горошка" – счастливой жизнью в своеобразном "земном раю", то притягательнейшим украшением этих райских уголков оказались великолепные библиотеки, в которых "было собрано все самое превосходное и полезное, что создали изящная словесность и наука, все, что необходимо для услаждения души и развития ума в течение долгой-долгой жизни".

Повести, о которых идет речь, – сказочные, и приключения, происходящие с их героями – влюбленным в мифическую царицу Савскую плотником Мишелем и крошечным мальчиком по имени Бобовое зернышко, – откровенно фантастичны, зато страстная любовь к книгам, восторг, охватывающий обоих героев при виде тщательно подобранной и на удивление богатой библиотеки, – чувства непридуманные. Их подарил своим персонажам автор. Страстным библиофилом был именно он, Шарль Нодье. Недаром еще в семнадцатилетнем возрасте он умолял друга прислать ему некий библиографический словарь в таких выражениях: "Эта книга составляет предмет моих самых упоительных мечтаний. Я думаю о ней непрестанно; в ночной тиши передо мной встает желанный образ... подчас мне кажется, что она уже моя... я просыпаюсь... оглядываюсь... и не нахожу ничего, кроме мрака иллюзий". Выведя в рассказе "Библиоман" чудака-маньяка, "помешанного" на книгах, он отдал ему многие "библиографические" замечания и соображения, которые вполне всерьез высказывал "от себя"

в своих библиофильских статьях; такая самоирония вообще характерна для Нодье, однако отношение его к книгам было очень и очень серьезным.

Книга значила для Шарля Нодье очень много — так много, что порой кажется: эта страсть способна была навсегда вытеснить из его сердца все остальные. Однако полагать так — значит жестоко заблуждаться. В жизни Нодье было много других увлечений; писатель этот тем и удивителен, что делил себя между областями науки и словесности, которые на первый взгляд довольно-таки далеки друг от друга.

* * *

Родился Шарль Нодье в 1780 году в семье безансонского адвоката. В год, когда началась Великая французская революция, ему, следовательно, было девять лет. Нодье-старший был настроен весьма радикально, и в двенадцать лет Шарль вступил в безансонское Общество друзей Конституции — клуб, близкий к якобинцам. Революционные речи, произнесенные приблизительно в эту же пору, принесли ему славу чудо-ребенка. Однако на энтузиазм Шарля постепенно накладывались впечатления совсем иного толка. Позже он вспоминал, как присутствовал при казни бывшего капуцина, а затем крупного революционного деятеля Эложа Шнейдера; тот, кто еще недавно посылал множество людей на плаху (нередко без всякой вины, исключительно из соображений личной мести), теперь сам принял смерть под ножом гильотины. Двойственное отношение к революции и восставшему народу (или толпе?) сохранилось у Нодье до конца жизни. С одной стороны, он всегда верил в творческую силу народа: "Где находят прибежище возвышенные помыслы человека, когда рушится общество? Они находят его в народе, поскольку именно в народе хранятся, развиваются и крепнут все элементы

цивилизации*. С другой стороны, писатель всегда помнил о том, как страшен может быть порыв толпы, если его не направили на благие дела.

В 1802 году Нодье приезжает в Париж и вступает в общество "Медитаторов" – молодых людей, которые пытались, отгородившись от современной цивилизации, создать братство "античных мудрецов". Общение с "медитаторами", утрата возлюбленной, скончавшейся во цвете лет, – все это, вкупе с литературной модой, повлияло на стиль ранней сентиментальной прозы и поэзии Нодье (повесть "Стелла, или Изгнанники", 1802; сборники "Опыты юного барда", 1804 и "Скорбящие, или Извлечения из записок самоубийцы", 1806).

Однако в душе Нодье жил не только меланхолический мечтатель, но и политический бунтарь, ненавистник тиранов. В 1801 или 1802 году Шарль сочинил сатирическую оду, направленную против Наполеона, в ту пору первого консула; ода эта, быстро получившая популярность, была напечатана анонимно, однако в декабре 1803 года в письме министру полиции Фуше Нодье неожиданно сам сознался в своем авторстве. За этим "автодоносом" последовали события, о которых Нодье потом не раз вспоминал с гордостью, ибо он выступил здесь в почетной роли жертвы политического произвола. Месяц с небольшим автор сатирической оды провел в тюрьме Сент-Пелажи, а затем благодаря хлопотам отца был выслан в родной Безансон под надзор полиции. Здесь он вступил в тайное общество "Филадельфы", первой политической акцией которого должно было стать покушение на императора в горах Юра (1805). Из этой затеи ничего не вышло: о готовящемся покушении стало известно Фуше и он приказал покончить с этим делом, произведя несколько арестов. Лично Нодье,

---

*Nodier Ch. Oeuvres complètes. P., 1832. T. 5. P. 140.

по-видимому, ничего не угрожало, однако он самовольно покинул Безансон и около полугода скитался по лесам и горам, наслаждаясь, очевидно, и вольным, "естественным" существованием, и сознанием опасности (как мы уже сказали, вымышленной или, во всяком случае, сильно преувеличенной). К "оседлой" жизни беглец вернулся благодаря протекции друга отца, префекта департамента Ду, столицей которого был Безансон.

Позже, в конце 1820 – начале 1830-х годов Нодье, уже известный писатель, с 1824 года хранитель библиотеки Арсенала, хозяин салона, где собирался цвет тогдашней литературы, постепенно приобрел в глазах современников репутацию чудака, который только и умеет, что сочинять фантастические истории да читать старые книги; бунтарская его юность стала казаться очередным розыгрышем присяжного мистификатора, известного ироническим складом ума, а рассказ о тюремных злоключениях – выдумкой ради красного словца. Между тем для самого писателя душевный опыт, обретенный в юности, имел большое значение. На собственном опыте Нодье испытал, каково это – ощущая в себе огромные силы, ненавидя тирана-узурпатора, не иметь возможности проявить себя на общественном поприще и громко заявить о себе миру. Вероятно, не только книжные впечатления (например, от чтения "Разбойников" Шиллера), но и собственные воспоминания положил Нодье в основу произведения, принесшего ему европейскую известность, – опубликованного в 1818 году романа о благородном разбойнике "Жан Сбогар".

Литературное наследие Нодье любопытно тем, что разные, очень далекие одна от другой творческие манеры соседствуют здесь в произведениях, написанных едва ли не одновременно. В 1820 году он выпускает, например, "чувствительную" по-

весть "Адель"*, а в следующем году – фантастическую повесть "Смарра", где сентиментальности нет и в помине; дух "неистового романтизма" с его пристрастием к ужасам и кошмарам сочетается здесь с тонкой стилизацией античной литературы (прежде всего, романа Апулея "Золотой осел").

В 1830 году Нодье публикует "Историю Богемского короля и его семи замков"; в этом романе, где соединились традиции Стерна и Рабле, необычно все, от "игрового" шрифта, не уступающего самым смелым образцам современного книжного дизайна, до взбалмошного, постоянно кого-то передразнивающего и над кем-то (не в последнюю очередь над собой) подсмеивающегося повествователя, который к тому же выступает сразу в трех ипостасях**. И вот одновременно с "Историей Богемского короля" Нодье пишет автобиографический цикл "Воспоминания Максима Одена" (1831), в который входят сентиментальные повести, до крайности похожие на повести 1810-х и 1820-х годов (повсюду одна и та же неминуемо погибающая в ранней юности героиня и один и тот же мечтательно-восторженный герой-повествователь). Читателям было настолько трудно привыкнуть к "жонглированию" стилями, которым мастерски владел Нодье, что в издательской практике даже вошло в привычку печатать сентиментальную новеллу о слепом юноше и его неверной возлюбленной, которую писатель включил в иронического "Богемского короля", отдельно от романа, – слишком уж силен был контраст между ерническим тоном романа и чувствительной атмосферой новеллы.

---

*Русский перевод "Адели" и "Жана Сбогара" см. в кн.: Нодье Ш. Избранные произведения. М.; Л., 1960.

**Личность рассказчика составляют три существа: Теодор, или его чувствительность, дон Пик де Фанфрелюкио, или его обширная память, Брелок, или его язвительный и насмешливый ум.

В XIX веке наибольший успех имели именно сентиментальные произведения Нодье, его "добродушные" сказки (они многократно переиздавались, постепенно приближаясь к "безобидной" литературе для детей дошкольного возраста). В XX веке нужнее, актуальнее оказались произведения другого плана: фантастическая повесть "Фея хлебных крошек", посвященная безумцу, который наперекор расчетливому, эгоистическому обществу верит в сказку и любовь; сатирические повести, которые современный французский исследователь, воспользовавшись выражением самого Нодье, назвал "циклом здравомыслящего насмешника" – язвительный упрек обществу, где изобретений и технических усовершенствований становится все больше, а добрых чувств и здравого смысла – все меньше.

Мы охарактеризовали литературное творчество Нодье по возможности кратко, но хочется верить, что и по этому краткому очерку видно: Нодье был писателем незаурядным, писателем со своим лицом, достойным занять место рядом с такими корифеями французской литературы первой половины XIX столетия, как Виктор Гюго (который, кстати, очень многим, в частности любовью к Шекспиру, обязан Нодье, своему старшему товарищу), Альфред де Мюссе или Стендаль.

Но вот что удивительно: мы познакомились с Нодье-писателем, но список его творческих интересов далеко не кончен. Ибо Нодье был еще:

– профессиональным энтомологом, автором "Рассуждения о назначении усиков у насекомых и об их органе слуха" (1798; в соавторстве с Ф.М.Ж.Люкзо) и "Энтомологической библиографии" (1801), которую одобрил сам Ламарк*;

*Так что когда Нодье рассуждает о тематических библиотеках и специальных библиографиях (см. в наст. изд. статью <"О тематических библиотеках">), он говорит не понаслышке.

– профессиональным лингвистом, автором книг "Толковый словарь французских ономатопей" (1808), "Критическое рассмотрение французских словарей" (1828) и "Начала лингвистики" (1834), а также множества статей, посвященных проблемам языка;

– профессиональным литературным критиком: в 1810–1820-х годах он опубликовал в периодической печати множество рецензий, откликаясь и на значительные, и на ничтожные новинки французской и иностранной литературы, причем не просто хвалил или осуждал, но стремился разглядеть во всяком произведении выражение художественных и социальных тенденций и потребностей эпохи.

Не так уж мало для одного человека?

А ведь впридачу ко всему этому Нодье был еще талантливым и многоопытным библиографом и библиофилом – о чем, собственно, и пойдет дальше речь.

* * *

Почему мы выбрали для перевода библиофильские сочинения Нодье? Ведь среди его современников были профессиональные библиографы, историки книги и коллекционеры очень высокого класса: Габриэль Пеньо, Жак Шарль Брюне, чуть позже Библиофил Жакоб (Поль Лакруа). Ответ, казалось бы, напрашивается сам собой: Нодье был талантливым писателем, а ведь всегда интересно, что думает о книгах писатель, особенно если он – мастер стиля, ироничный парадоксалист, выражающий свои мысли изящно и остроумно. Дело, однако, не только в этом. От прочих библиофилов его времени Шарля Нодье отличает одно весьма существенное свойство: его библиофильские работы гораздо шире рамок книговедения или библиофилии в собственном смысле слова. "Библиография, – писал он в 1815 году, – есть история наших открытий и гипотез, нашего ума и вкуса, а глав-

ное, наших безумств. Это наука, предмет которой неисчерпаем"*. Нодье был, если можно так выразиться, библиофилом-публицистом и, рассуждая о старых книгах, размышлял одновременно о настоящем и будущем родной страны (да и всего человечества). В основе его библиофильских статей лежала оригинальная историко-литературная и социальная концепция, которая, хочется верить, окажется для современного читателя не менее интересной, чем строго библиофильские суждения писателя о необрезанных полях и золототисненых переплетах. С этой концепцией нам и предстоит теперь познакомиться подробнее.

В первой трети XIX столетия библиофильство и библиография носили во Франции своеобразный характер. В послереволюционной Франции многим памятникам старины, начиная со средневековых замков и кончая книгами, грозила гибель: их скупали и нередко уничтожали люди, даже не подозревавшие об их ценности. Появилось даже новое ремесло – "книжное живодерство": "специалисты" сдирали с книг богатые переплеты и пускали сафьян или телячью кожу на изготовление женских туфелек, а бумагу – ту, что получше, – на кульки для бакалейщиков (та, что похуже, снова попадала в чан бумажника и служила для изготовления картона). Нодье одним из первых начал ту борьбу за сохранение памятников французской культуры – и словесных, и архитектурных, и живописных, – которую вскоре продолжил его знаменитый современник Виктор Гюго. Едва ли не в каждой работе из тех, что вошли в настоящий сборник, Нодье призывает новых толстосумов, буржуа-нуворишей, обратить внимание на гибнущие книжные сокровища и иронизирует над теми, кто

---

*Nodier Ch. Mélanges de littérature et de critique. P., 1820. T. 2. P. 412.

ценит одно лишь новое и не ощущает прелести старинных книг и старинных авторов.

До какой-то степени охране и возрождению литературы и книжного искусства прошлого служит любой каталог старых книг; Нодье не раз восславлял такие каталоги; свое уважение к их составителям он высказывает в рецензии на "Учебник книгопродавца и любителя книг" Ж.Ш.Брюне и в статье "О масонстве и тематических библиотеках". Сам он, однако, каталогами не занимался, хотя и оставил нам описания своих книжных собраний. Достаточно сравнить "Заметки об одной небольшой библиотеке" Нодье* с им же отрецензированным "Учебником книгопродавца и любителя книг" Брюне и "Рассуждением о выборе книг" Пеньо, чтобы увидеть разницу. Брюне и Пеньо – ученые, их интересует библиография и история книги как таковая: история изданий, раскрытие анонимов и псевдонимов, качество экземпляров и пр. Все это, разумеется, небезразлично и Нодье, но в первую очередь его влечет совсем иное – исторические судьбы и человеческие характеры, встающие за страницами редких старых книг.

В нашем сборнике представлены основные этапы "библиофильского" творчества Нодье: 1812 год – первое издание книги "Вопросы литературной законности", рассказывающей, говоря словами русского критика О.Сомова, "об уступке сочинений, о подменении имени сочинителя, <...> о вставках чужих сочинений, <...> о подделках, состоящих в точном подражании слогу известных писателей"**; 1820-е годы – статьи (в первую очередь рецензии) в периодической печати; 1829 год – книга "Заметки об одной небольшой библиотеке" (рассказ о редких и любопытных книгах из собствен-

---

*Фрагменты из этой книги см. в наст. изд.

**Сын отечества. 1828. Ч. 119. № 12. С. 398–399.

ного собрания); 1834 год – основание вместе с издателем и книгопродавцем Ж.Ж.Тешне журнала "Бюллетен дю библиофил" и публикация в нем многочисленных библиофильских статей; наконец, 1844 год – посмертная публикация рассказа "Франциск Колумна". Как характерно и закономерно, что последним произведением Нодье оказалась эта "библиографическая новелла"!

Нодье хорошо сознавал, что безмерная любовь к книгам, пренебрегающая содержанием ради формы (переплет, поля и пр.), – болезнь, мания; он не раз писал об этом, но так же часто признавался, сгущая краски, что сам страдает этим недугом. Поэтому неудивительно, что среди его суждений о книгах и изданиях есть высказывания резкие и, с современной точки зрения, несправедливые, – ведь всякая мания пристрастна. Так, Нодье был убежденным противником факсимильных переизданий; он считал, что они отнимают у коллекционера возможность гордиться сокровищами, равных которым нет ни у кого в целом свете. Однако некоторым идеям Нодье было суждено в издательской практике большое будущее. Например, он был убежденным сторонником и пропагандистом миниатюрных книг. "Я приветствую изобретательных издателей, которые <...> сумели поместить всех французских классиков в маленькие томики ин-октаво; поскольку воображение человеческое неиссякаемо и число книг растет с угрожающей быстротой, приходится соглашаться на миниатюрные библиотеки", – писал он в 1814 году*. "Похвальное слово" книгам ин-октаво читатель найдет в статье "Анналы типографии Альдов". Нодье, впрочем, не ограничивался одними похвалами; воплощая свои идеи

*Цит. по: Nodier Ch. Mélanges de litterature et de critique. P., 1820. T. 2. P. 400.

на практике, он подал издателю Деланглю мысль выпустить "Собрание французских классиков" в восемнадцатую долю листа (1825–1826; соответствует современным малоформатным изданиям) и принял участие в его подготовке.

Весьма дальновидна и мысль Нодье о пользе тематических библиотек и специализированных библиографий – жизнь показала, что будущее именно за ними. Наконец, Нодье был пропагандистом и защитником первых изданий французских классиков XVII века, которые в его время мало кто воспринимал как редкости, заслуживающие мало-мальски серьезного отношения. Поскольку после революции множество книг лишились владельцев и оказались в буквальном смысле слова на улице, в 1820–1830-е годы первые издания Мольера и Расина, за которые собиратели уже во второй половине XIX столетия стали платить бешеные деньги, валялись на лотках букинистов, и те рады были сбыть их за несколько су. Парижские книгопродавцы, такие, как Ж.-Ж.Тешне или Л.-С.Сильвестр, старались поднять цену на эти издания, но далеко не всегда добивались успеха. Нодье и своей собирательской деятельностью, и своими темпераментными статьями оказывал им неоценимую помощь.

В резком же суждении о факсимильных изданиях (точнее, их осуждении) также есть рациональное зерно. Суждение это как нельзя более ясно показывает, что Нодье ценил книгу не просто как раритет, предмет коллекционерской гордости, что он не принадлежал к числу тех собирателей, которым абсолютно все равно, какие книги собирать, лишь бы они были старинными и редкими. Для Нодье книга – почти живое существо (не случайно из статьи в статью переходит у него сравнение переплета с драгоценностями, которыми влюбленный осыпает любимую женщину, не случайно назы-

вает библиотеку гаремом). Он ценит не вообще книгу или издание, но конкретный экземпляр с его неповторимой индивидуальностью; его влекут рукописные пометы на полях, герб владельца на переплете, приплетенный портрет автора; след времени и истории, след человеческой руки, след отношений между людьми. «Нравственные и политические максимы, извлеченные из „Телемака"» волнуют Нодье потому, что сама история расписалась на страницах этой книги, с помощью которой один французский король предсказал, сам того, впрочем, не ведая, другому французскому королю, своему внуку, гибель на плахе. За страницами "Парижского часослова" встает для Нодье образ молодого и влюбленного Ронсара, засвидетельствовавшего на форзаце этой книги свою любовь к ее владелице. "Каталог древнего и нового мира в семи книгах" или том с причудливым названием "Диалактическая и потенциальная Секстэссенция" интересны Нодье не только потому, что экземпляры их наперечет, но прежде всего потому, что его волнуют личности их авторов – вспыльчивого доктора Ландо, по иронии судьбы взявшего себе псевдоним "Спокойный", и амьенского безумца Демóна, вознамерившегося примирить враждующие политические партии Франции.

И так – всегда. Нодье ведет речь о книгах и о прошлом, а волнуют его люди, причем не только люди ушедших веков, но и современники. О чем бы Нодье ни писал – об Альдах, о переплетах XVI столетия, о рукописи поэта-аристократа XVII столетия, – он всегда находит возможность связать свои размышления с современностью, упрекнуть Крезов XIX века в пренебрежении к литературе, сравнить нынешних издателей-промышленников с высокообразованными издателями инкунабул (не в пользу первых). В библиофильских работах Нодье – философ и публицист, с тревогой вглядывающийся в свою эпоху.

Чтение старых книг расширяет кругозор, но оно вселяет в душу горькое сознание, что под луной не только ничто не вечно, но и ничто не ново. В "Истории Богемского короля" Нодье так сформулировал это свое кредо: "И вы хотите, чтобы я – подражатель подражателей Стерна, который подражал Свифту <...> который подражал Сирано <...> который подражал Рабле – который подражал Мору – который подражал Эразму – который подражал Лукиану – или Луцию из Патраса – или Апулею, – поскольку я не знаю, да и не хочу знать, кто из этих троих был ограблен двумя остальными... и вы хотите <...> чтобы я написал книгу, новую и по форме и по содержанию!"* (как видно по отточиям, мы немного сократили перечень предшественников Нодье; в тексте романа цепочка еще длиннее). Александр Дюма вспоминал, что Нодье рассказывал о давно прошедших событиях так, как будто присутствовал при них: "Он знал всех – он знал Дантона, Шарлотту Корде, Густава III, Калиостро, Пия VI, Екатерину II, Фридриха Великого <...> он присутствовал при сотворении мира и, видоизменяясь, прошел сквозь века"**. Кроме таланта, "путешествиям во времени" способствовала громадная эрудиция Нодье, прилежного читателя старых книг. Эта-то эрудиция и позволяла ему смотреть на современность "под знаком вечности" и сознавать вторичность того, что многие менее образованные и более тщеславные современники с восторгом принимали за открытия.

"Я читаю книги не так уж много лет, – писал он в 1815 году, – но на моих глазах человеческая наука уже раз десять обзаводилась новыми методами; я уж не говорю о политике, которая во Франции является

---

*Nodier Ch. Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux. P., 1979. P. 26–27.

**Дюма А. Собр. соч. в 12 т. М., 1979. Т. 7. С. 629.

не столько научной системой, сколько модой. Прежде у всех на устах были алхимия и каббала, нынче их заменил магнетизм, который в свою очередь тоже устареет; демократические памфлеты постигнет, возможно, та же судьба, что и памфлеты времен Лиги, которые не были ни более безупречны, ни более безобидны"*.

Целую книгу ("Вопросы литературной законности") Нодье посвятил плагиату, заимствованиям и подражаниям; им двигал при этом не просто интерес к курьезам, не желание блеснуть эрудицией; нет, в выборе темы сказался его напряженный интерес к жизни традиций, к литературной преемственности; его потому и влекли случаи плагиата, что плагиат – крайнее выражение, "доведение до абсурда" той общности и повторяемости, которая представлялась ему главным законом существования литературы.

Иной раз может показаться, что в своем стремлении обнаружить у всякой теории и концепции древние прообразы, отыскать ее источники в "старой брошюрке" Нодье не знает меры и грешит против истины; однако современные энциклопедии подтверждают и то, что классификация наук Д'Аламбера повторяет бэконовскую ("О совершенствовании рода человеческого"), и то, что Свифт и Вольтер очень многим обязаны "фантастическим путешествиям" Сирано де Бержерака ("Библиография безумцев"). Собирая книги и описывая их, Нодье стремился выявить эту не для всех очевидную связь времен и культур. Однако старания свои он чаще всего ощущал "гласом вопиющего в пустыне".

Современная культура тревожила Нодье по двум причинам: во-первых, потому, что она, как ему казалось, "не помнила родства" и принимала "хорошо забы-

---

*Nodier Ch. Mélanges de littérature et de critique. P., 1820. T. 2. P. 411.

тое старое" за новое – по невежеству; во-вторых, потому, что, тщеславно любуясь собственными достижениями, она вовсе не думала о потомках и о том, какое наследство она им оставит. Нодье постоянно негодует на качество книг, изданных в первой половине XIX века, – книг, напечатанных на скверной бумаге, кое-как сшитых и безвкусно переплетенных. "Наши предшественники, чем бы они не занимались, всегда держали в уме потомство. Мы же не заботимся даже о собственной старости. Нынче книги издают так же, как строят дома, – на одно поколение, причем такое, которому отмерен весьма короткий срок", – писал он в 1834 году*.

Сам Нодье постоянно думал и о потомках, и о том, как передать им все богатства, скрытые в старинных книгах. Даже современное состояние библиографической науки и библиофильства он описывает, заботясь в первую очередь об историках будущего – для них указывает он нынешние цены на редкие книги, поскольку по собственному опыту знает, как важно бывает обнаружить в трудах далекого предшественника бесценную мелочь из тогдашнего литературного быта.

В одной рецензии 1815 года Нодье выразительно сформулировал это свое кредо комментатора и историка. Процитировав слова Монтеня: "Мы только и делаем, что поясняем друг друга. Повсюду в изобилии комментарии, авторов же что-то не видно", он пишет: "Монтень не бросил бы этого упрека нашей эпохе. Авторов по-прежнему не видно, но до изобилия комментариев очень далеко, хотя авторам нашего времени комментарии бы не помешали. Комментаторы подобны тем лианам, которые обвивают лишь могучие деревья

---

*Nodier Ch. Notice sur le romancero français // Bulletin du bibliophile. 1834/1835. N 24. Appendice. P. 8.

и ползут вверх лишь по крепким стенам. Им нужна надежная опора. Большинство читателей полагают, что наилучшие произведения французской литературы в комментариях не нуждаются. <...> Однако то, что кажется маловажным нам, будет становиться все более и более важным по мере того, как наш язык, старея, будет удаляться от классической традиции и меняться, уступая место какому-то новому наречию. Эта эпоха исчезновения традиции есть царство тех, кто взвешивает дифтонги и препарирует слоги"*. Такой комментарий для потомков и создавал Нодье, когда тщательно фиксировал подробности "библиофильской жизни" первой трети XIX века.

Впрочем, главное свое призвание Нодье видел даже не в этом, а в защите и прославлении забытых сокровищ старинной литературы. Причин у его страстной влюбленности в старину было несколько.

Во-первых, его историко-литературная и лингвистическая концепция, обстоятельнее всего изложенная в книге "Начала лингвистики". Вслед за Гардером и Руссо Нодье считал, что наиболее поэтичны языки "молодых" культур, не обремененных многовековым опытом. Запас слов в них невелик, и поэт каждый раз заново изобретает для выражения своей мысли оригинальные метафоры. В языке же "старом", у которого позади богатейшие традиции, изобилуют штампы; метафоры и перифразы здесь не жизненная потребность, а дань литературной моде. Перифрастическая, жеманная поэзия в духе французского XVIII столетия (Пушкин назвал ее представителей "грибами, выросшими у корней дуба"), которую Нодье не раз весьма язвительно критиковал (образец такой критики представляет собой глава о сти-

---

*Nodier Ch. Mélanges de littérature et de critique. P., 1820. T. 1. 205–206.

лизациях и литературных школах в "Вопросах литературной законности"), – это та "старая" литература, которую Нодье как раз и стремится омолодить, освежить, обратив ее к истокам – к поэзии средних веков и XVI века, энергической, живой, свежей. Он даже сформулировал "закон", согласно которому "могучие умы во всякой стареющей словесности заняты поисками архаизмов"*, призванных влить в литературу свежую кровь (архаизмы, как точно подметил Нодье, служили романтикам оружием в их борьбе с французской классической традицией XVII века).

Был и другой лейтмотив в обращении Нодье к старине; это его рыцарское заступничество за "безвестных и забытых авторов" (исследователь творчества Нодье Жан Лара считал судьбу таких авторов главной темой "Вопросов литературной законности")**. Для библиомана все старые книги хороши просто потому, что они старые; однако защищать любое прошлое только за то, что оно прошлое, – позиция слишком прямолинейная и узколобая, и Нодье, хотя ему и не всегда удавалось избежать крайностей, в лучших своих произведениях мыслил более широко. Когда он с усмешкой пишет, что с "истинными" библиофилами лучше не говорить о содержании редкой книги, – они этого не поймут, поскольку им важнее позолота на переплете и ширина полей, – то он как раз и отмежевывается от такого "формального" подхода к старинным книгам. Он взял от библиофильства его вкус к редкостям прошлых веков и, прибавив к нему свое литературно-критическое чутье и знание истории литературы,

---

*Nodier Ch. Mélanges tirés d'une petite bibliothéque. P., 1829. P. 397.

**Larat G. La tradition et l'exotisme dans l'œuvre de Charles Nodier. P., 1923. P. 234.

ринулся в бой за пересмотр несправедливо запятнанных репутаций.

Дважды он одержал в этой борьбе нешуточные победы. Имена "возрожденных" им авторов говорят сами за себя: Рабле, Сирано де Бержерак. Рабле во многом обязан той популярностью, которую он приобрел среди французских писателей первой половины XIX века, знаменитому «Предисловию к „Кромвелю"» Виктора Гюго, где автор "Гаргантюа и Пантагрюэля" причислен к величайшим гениям человечества и назван "буффонным Гомером". Между тем, как отметил Гюго в рукописи, выражение это принадлежит Нодье. Именно несколько статей о Рабле, которые Нодье опубликовал в 1822–1823 годах, заставили многих современников по-новому взглянуть на этого писателя, "самого универсального и глубокого из писателей нового времени, если не считать Эразма и Вольтера, которые, впрочем, не были ни так глубоки, ни так универсальны, как он"*. В сознании современников имена Рабле и Нодье были связаны так тесно, что Проспер Мериме в своей речи при вступлении в Академию (1845), посвященной памяти Нодье, чье место ему предстояло занять, утверждал, будто Нодье, желая лучше усвоить стиль великого романа Рабле, трижды собственноручно переписал его слово в слово.

Столь же страстно защищал и пропагандировал Нодье творчество Сирано де Бержерака. Его статья о Сирано, опубликованная в 1831 году и при жизни автора дважды переиздававшаяся, первой привлекла внимание широкой публики к сочинениям и личности этого самобытного писателя XVII века; и Теофиль Готье, автор пространного этюда о Сирано в сборнике

---

*Nodier Ch. Oeuvres de Rabelais // Quotidienne. 1823. 7 août. – Цит. по: Bulletin du bibliophile. 1863. P. 533–534.

"Гротески" (1844), и Ростан, автор знаменитой "героической комедии", обязаны Нодье если не конкретными деталями своих произведений, то самим интересом к Сирано как писателю, достойному серьезного и уважительного прочтения.

Тема непризнанного гения – одна из любимых тем Нодье. О непризнанных гениях много и охотно писали романтики, однако они, как правило, выводили в своих произведениях вымышленных героев-творцов, которых сталкивали с неспособной оценить их дар филистерской толпой. Нодье же переводит тему в исторический план; его любимые "герои" сталкиваются в неравном бою не с толпой, а с историей, которая неумолимо вычеркивает их имена из памяти потомков. Нодье же хочет эти имена восстановить и, таким образом, самолично вступает в борьбу с историей, отвоевывает у нее незаслуженно забытых авторов. У этой борьбы были и сугубо личные причины: Нодье (отчасти из кокетства, но отчасти и вполне искренне) считал себя писателем несбывшимся, не состоявшимся до конца. Статья о Сирано де Бержераке начинается с язвительного и горького признания: "Увы! говорил я однажды сам себе, печально размышляя о том, что останется от всех трудов моей жизни, так вот к чему приводит то, что именуют творческим путем писателя! Вечное забвение после смерти, а иногда и до нее! Стоило труда писать! А ведь я был изгнанником, подобно Данте, узником, подобно Тассу, и влюблялся куда более страстно, чем Петрарка. Скоро я ослепну, как божественный Гомер и божественный Мильтон. Я хромаю меньше, чем Байрон, но зато стрелял гораздо лучше него. В естественной истории я разбираюсь не хуже Гете, а в старых книгах – не хуже Вальтера Скотта и каждый день выпиваю на одну чашку кофе больше, чем Вольтер. Все это – бесспорные факты, о которых потомки не услышат ни ползвука, если, конеч-

но, у нас будут потомки. В таком случае, решил я, поразмышляв еще четверть часа, мне, очевидно, чего-то не хватало. Мне не хватало двух вещей! – воскликнул я через полчаса. Во-первых, таланта, приносящего славу, во-вторых, необъяснимого благоволения случая, который эту славу дарит"*.

Несправедливость случая и жестокость истории тревожили воображение Нодье – и он делал все, что было в его силах, чтобы авторы, достойные посмертной славы, обретали с его помощью новую литературную жизнь.

Наконец, в защите старины, которой посвящены едва ли не все библиофильские сочинения Нодье, довольно силен и элемент эпатажа. Когда Нодье хотел, он бывал глубоко современен и историчен – приведем в пример хотя бы его теорию мелодрамы: он обратил внимание на этот излюбленный жанр бульварных театров и вместо того, чтобы облить его высоколобым презрением, увидел в нем мощное, но плохо используемое средство благотворного воздействия на народное сознание. Нодье рассуждал так: во время Революции на улицах и площадях происходило столько потрясающих душу сцен, что никакая трагедия не могла с ними соперничать, – так родилась мелодрама, "бурная, как бунт, таинственная, как заговор"; народ любит ее и вместо того, чтобы корить его за непонимание Аристотелевых правил, следует обучать его с помощью мелодрамы уважению к добру и красоте.

Однако подчас тот же Нодье словно забывал о том, что всякая эпоха достойна серьезного, уважительного рассмотрения. Ему очень не нравилось то время, в которое ему довелось жить, не нравился буржуазный уклад жизни и образ мысли. Говоря современным языком, Нодье был противником технократии – не само-

*Bulletin du bibliophile. 1838. P. 343.

го технического прогресса, но того забвения духовных ценностей, которым он чреват. И вот с этой новой, буржуазной культурой Нодье решительно не желал примириться — он отказался признать за ней хоть какие-нибудь достоинства и принялся настойчиво убеждать своих читателей, что абсолютно все уже открыто, придумано и изобретено в далеком прошлом, что современность не способна ни на какое творчество и совершенно бесплодна. Такой полный и демонстративный отказ от современности иначе как эпатажем и не назовешь.

Характерны интонации, в которых Нодье ведет разговор с читателем. Он охотно надевает маску "доброго старого дедушки", который с высоты своей стариковской опытности поучает молодых несмышленышей (эта интонация особенно отчетлива в статье "Юным девушкам"). Ею, между прочим, можно объяснить и многочисленные повторы в статьях: думается, Нодье не потому в третий или четвертый раз повторяет одну и ту же мысль (о праве украшать книгу богатым переплетом, о несовершенстве полиграфического исполнения современных книг и т.д.), что не может придумать ничего иного; нет, он твердит одно и то же, как человек, разуверившийся в том, что его поймут сразу, и надеющийся, что, может, хоть с третьего раза упрямое юное племя соизволит внять его советам. Его тон в этих случаях — это брюзжание старика, которого раздражает легкомысленная молодежь, но старческое это брюзжание то и дело оборачивается мудростью человека опытного и наделенного обширными познаниями.

Но нередко Нодье изъясняется по-другому — язвительно и одновременно уклончиво. Его любимый оборот — цепь оговорок, что-нибудь вроде: "Я советую моим будущим читателям, если, конечно, в будущем у этой книги найдутся читатели, что сомнительно..." Он обожает умалять свои заслуги, подчеркивать незна-

чительность затрагиваемых им тем, отмежевываться от борьбы литературных партий (себя он не желает причислять ни к классикам, ни к романтикам, дабы сохранить свободу суждений и о тех, и о других). Доля нарочитости есть и в той скрупулезности, с которой Нодье присматривается к микроскопическим деталям того или иного библиографического описания. Французский знаток древностей начала XVIII века Жак Лелон (Нодье упоминает его в статье "О масонстве и тематических библиотеках") сказал однажды своему другу философу Мальбраншу в ответ на упреки в излишней дотошности: "Истина так любезна моему сердцу, что я не хочу пренебрегать ничем, что помогает приблизиться к ней, пусть даже речь идет о совершеннейших мелочах". Конечно, когда Нодье обсуждает написание фамилии забытого поэта-аптекаря из города Пуатье (рецензии на "Учебник книгопродавца и любителя книг" Брюне), им движет любовь к истине – но не только. Дотошность эта – своеобразный вызов публике. Библиограф-профессионал ограничился бы простой констатацией: на конце фамилии поэта-аптекаря следует писать t, а не s. Нодье же не просто уточняет орфографию, но лишний раз подчеркивает свое расхождение с эпохой; он словно говорит современникам-буржуа: вы зарабатываете деньги, вам нет дела ни до поэта Констана, ни до написания его фамилии – а я назло вам буду размышлять об этом, каким бы бессмысленным ни казалось вам мое занятие.

Пожалуй, ни в одном из вошедших в наш сборник сочинений писатель не дразнит публику так сильно, как в эссе "О совершенствовании рода человеческого и о влиянии книгопечатания на цивилизацию". В самом деле, что эта за библиофил, который яростно клеймит книгопечатание и видит в нем едва ли не источник всех зол?! Что за историк, который доказывает, что

ни в XVI, ни в XVII, ни в XVIII столетии литература и наука не создали ничего оригинального и значительного?! Многие аргументы, приводимые Нодье в подтверждение парадоксальной мысли, что книгопечатание не оказало человечеству ни единой услуги, а лишь принесло вред, так несправедливы, что, кажется, автор и сам сознавал, как в порыве гнева теряет объективность. Однако и в этой статье есть "рациональное зерно": Нодье напоминает о том, что полезность всякого изобретения зависит от того, в чьи руки оно попадает, каким целям служит. Так вот, современная культура, по мнению Нодье, не нашла изобретению "майнцского ремесленника" Гутенберга достойного применения*. Нодье казалось – и некоторые основания на то у него имелись, – что его современники печатают, издают и покупают книги, заботясь в первую очередь не об истине или о добре, а о деньгах. В полемическом запале он забывал, что не все современники выпускают только пошлые романы и глупые брошюрки, что среди них есть такие поэты, как Гюго и Ламартин (обоих Нодье высоко ценил), такие прозаики, как Бальзак (который в знак глубокого уважения к Нодье посвятил ему в 1842 году свой роман "Баламутка") или Стендаль. Он представляет дело так, как будто последней истинно творческой эпохой в жизни Франции был XVI (в лучшем случае XVII) век, а все, кто жили и писали позже, лишь повторяли – иногда сознательно, а иной раз и по неведению – сказанное до них.

---

*Между прочим, среди современников Нодье были люди, придерживающиеся сходной точки зрения; так, поэт Огюст Барбье, автор стихотворения "Царица мира" (в сборнике "Ямбы", 1831), видел в современных плодах книгопечатания "обжорливых, драконовидных гадин, // Что за червонец иль за грош // Пускают по миру, распространяют за день // Потоком льющуюся ложь", и проклинал Гутенберга, сотворившего печать – это "неправедное, злое, // Безжалостное божество" (перевод П.Антокольского).

Такой подход, конечно, своеобразная патриархальная утопия, перенесенная из истории общества в историю литературы и книги. В своем антииндустриальном, антитехнократическом стремлении в глубь истории, к ее патриархальным истокам, Нодье доходит даже до того, что советует ученому, если он молод и полон сил, не закрываться в своем кабинете, а выучиться какому-нибудь ремеслу (статья "О масонстве и тематических библиотеках"); таким образом он надеется приблизить свою эпоху к той поре, когда тон в культуре задавали люди, подобные Альду Мануцию Старшему, – образованные ремесленники в высшем смысле этого слова, одинаково превосходно работавшие и руками и головой. Любопытно, что в этой апологии ручного труда и его союза с литературной деятельностью Нодье не одинок: эта позиция была близка многим романтикам. Англичанин С.Кольридж наставлял юных авторов: "Никогда не делайте литературу своим ремеслом <...> всякое избранное вами поприще или ремесло предоставит вам многочисленные и важные преимущества сравнительно с положением человека, занятого исключительно литературою и целиком зависящего от продажи своих сочинений ради удовлетворения жизненных потребностей"*. Немец Новалис, по словам Н.Я.Берковского, "как все романтики, не сомневающийся в родстве труда материального с трудом духовным, с искусством и поэзией"**, воспевал быт честных ремесленников, прозревая в нем основу мира.

Разумеется, утопия Нодье очень уязвима; слабые стороны ее так очевидны, что не нуждаются даже в подробной критике: ясно, что культура не стоит на месте и не может в течение трех столетий работать "вхолос-

---

*Корабли мысли. М., 1986. С. 72, 74.
**Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 186.

тую" (кстати, когда полемический задор не кружил Нодье голову, он и сам на деле опровергал свою пристрастную концепцию; его восторженный анализ прозы Дидро или языка революционной публицистики* – лучшее тому доказательство). Но не надо забывать и другого: в современной Нодье Франции тот миллионер, который назвал главным сокровищем своей библиотеки чековую книжку, был лицом более чем влиятельным и именно в борьбе с ним Нодье доходил до крайностей и преувеличений, именно его денежному всевластию противопоставлял духовное могущество бескорыстных эрудитов и издателей XVI века. Между прочим, Нодье, человек скептического и иронического склада, хорошо понимал, что не знает меры и что поведение его может вызвать усмешку: недаром своего библиомана Теодора, героя, как уже говорилось, во многом автобиографического, он доводит до грани безумия. Однако любовь к книгам, как бы говорит Нодье, – синоним духовности, и если обществу угодно считать такую страсть безумием, то тем хуже для самого общества.

* * *

Нодье задумывал свои библиофильские работы как занимательные, адресованные, говоря современным языком, массовому читателю, поэтому читать их легко. Но одновременно для сегодняшнего читателя знакомство с ними – не только забава, но и труд. Нодье ощущал себя человеком, живущим в период крушения многовековой культурной традиции. Свою эпоху он воспринимал как "эпоху словарей", пору подведения итогов. Для него самого литература прошлых веков с ее печатными шедеврами и неписаными преданиями была родной и знакомой, как старый, обжитой дом, –

*В статье 1830 г. "О французской прозе и Дидро".

недаром очень много исторического материала он включает в статьи с помощью намеков, лаконичных сравнений, скупых, неразвернутых упоминаний (возьмем для примера хотя бы пассаж о Шапеле и Буало из статьи "Любопытные образцы статистики": чтобы понять его суть, нужно иметь в виду и ригоризм Буало, и склонность поэта Шапеля к невоздержанному образу жизни, и саму историю о том, как Буало уговаривал Шапеля бросить пить, а Шапель зазвал его в кабачок, чтобы там с большими удобствами выслушать все его аргументы, и напоил своего ментора до беспамятства...). То, что для нас – книжная, мертвая история, для Нодье было материалом живым, как сегодняшняя газета (вспомним уже приводившееся впечатление А.Дюма от устных рассказов Нодье – о каких бы временах ни шла речь, рассказы эти выглядели как свидетельства очевидца). Тем больнее переживал Нодье крепнущее с каждым днем ощущение, что любимая его старина мало кому нужна, что скоро она вовсе изгладится из памяти людей. А без памяти о прошлом нет и будущего. Поэтому Нодье постоянно твердил о близкой гибели французского языка, французской литературы. Литература не погибла, но ощущение дистанции между современностью и классической литературой обострялось с каждым годом. Любимые герои Нодье, чудаки XVI века и эрудиты XVII, и в его-то время были безвестными и забытыми, – что же говорить о сегодняшнем дне? Перелистайте именной указатель к сборнику – сколько имен здесь перечислено, сколько произведений, исторических анекдотов, занимательных или трагических историй связано, должно быть, с каждым из них? Столько людей, нынче мало кому известных, и все они что-то утверждали, что-то доказывали, что-то писали и печатали! Одних историков Парижа в эпилоге статьи "Любопытные образцы статистики" названо

пятнадцать человек, и каждый из них посвятил Парижу труд, состоящий из множества томов...

Любимый автор Нодье, английский писатель О.Голдсмит, выразил в книге "Гражданин мира" устами "китайского философа, проживающего в Лондоне", недоумение, имеющее непосредственное отношение к нашему разговору: "Множество людей в этом городе живет сочинением книг. Между тем в каждой большой библиотеке тысячи томов остаются непрочитанными и забытыми. В первые дни моего пребывания здесь я никак не мог взять в толк, отчего это происходит. Возможно ли, думал я, чтобы возникала нужда в новых книгах, когда старые еще не прочитаны? И зачем людям изготовлять товар, когда рынок и без того им завален, да притом еще лучшего качества, чем нынешний?"* Что ж, может быть, всем следует поступать так, как поступили парижане в утопическом романе Л.С.Мерсье "Год две тысячи четыреста сороковой": убедившись в том, что "библиотека, состоящая из огромного количества книг, является скопищем величайшего сумасбродства и безумнейших химер", сложили из всех книг, которые "сочтены были либо легкомысленными, либо бесполезными, либо опасными", огромную пирамиду и подожгли ее**.

Всем своим "библиофильским" творчеством Нодье утверждает обратное. Знакомя читателей с историями и характерами, которые встают за страницами редких старых книг, и знаменитых, и полузабытых, он постоян-

---

*Голдсмит О. Гражданин мира, или Письма китайского философа. М., 1974. С. 193–194. Эпоха Просвещения вообще любила эти парадоксальные обвинительные речи против обилия книг: еще прежде "китайского философа" аналогичные чувства переживали "персидские философы" в "Персидских письмах" Монтескье.

**Мерсье Л.С. Год две тысячи четыреста сороковой. Л., 1977. С. 92.

но напоминает: не забывайте! Почаще обращайтесь к тому, что писали ваши предшественники – и славные, и безвестные, и гениальные, и скудоумные! В их книгах вы найдете такую пищу для своего ума, какой больше нет нигде. От презрения к прошлому не поумнеешь, а внимательное отношение к нему может дать самые неожиданные плоды.

Одним словом, *читайте старые книги!*

В.А.Мильчина

БИБЛИОФИЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ

2 Зак 2180

БИБЛИОМАН

Все вы знали добряка Теодора, на могилу которого я хочу положить цветы, – да будет ему земля пухом. По этой фразе, которую вы тоже прекрасно знаете, вы можете понять, что я собираюсь посвятить ему короткий некролог или сказать о нем небольшое надгробное слово.

Лет двадцать назад Теодор удалился от света – ради того ли, чтобы трудиться, или же ради того, чтобы бездельничать, неизвестно, ибо это хранилось в большом секрете. Теодор предавался размышлениям, и никто не знал, о чем он размышляет. Он жил среди книг и интересовался только книгами, что навело некоторых его знакомых на мысль, что он сочиняет книгу, призванную заменить все книги на свете, но мысль эта была совершенно ложной. Теодор был человеком слишком начитанным, чтобы не знать, что такая книга уже написана триста лет тому назад. Это тринадцатая глава первой книги "Гаргантюа и Пантагрюэля".

Теодор перестал разговаривать, смеяться, играть в карты, есть, бывать на балах и в театре. На женщин, к которым он в молодости был неравнодушен, он теперь вовсе не смотрел, точнее, смотрел только на их ножки и при виде какой-нибудь изящной, яркой туфельки горестно стенал: "Увы! сколько сафьяна ушло впустую!"

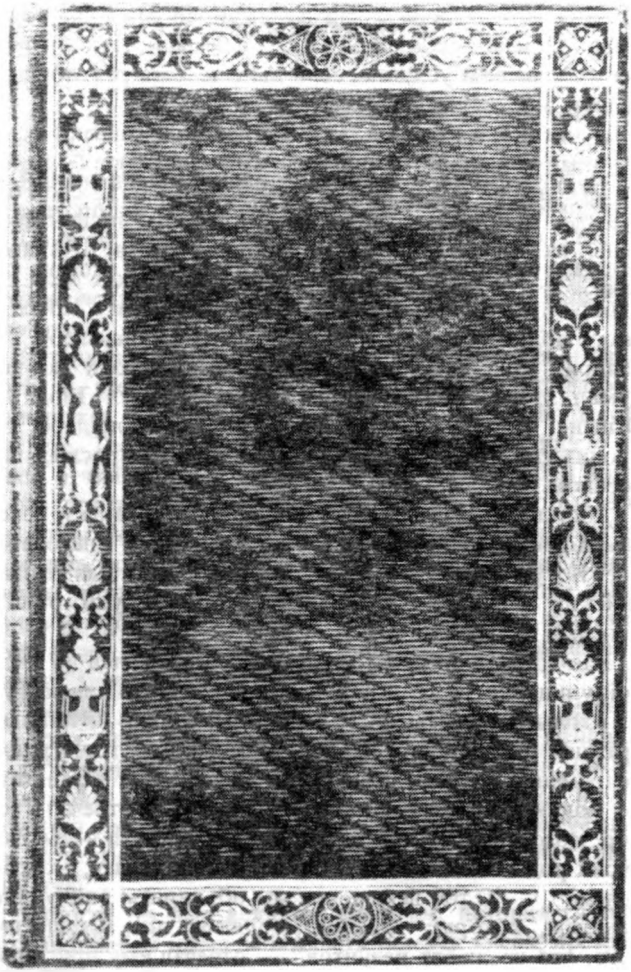
Некогда он был великим франтом: история гласит, что он первым начал завязывать галстук слева, презрев авторитет Гара, который завязывал его справа, и привычки черни, которая по сей день завязывает его посередине. Теперь Теодор уже не следил за модой. За два

десятка лет он лишь однажды поспорил со своим портным. "Сударь, – сказал он ему, – я больше не стану прибегать к вашим услугам, если вы еще хоть раз забудете сделать мне карманы ин-кварто".

Политика, в которой, как на грех, преуспевают одни глупцы, отвлекала Теодора от раздумий самое большее на мгновение. С тех пор как Наполеон затеял свой безумный поход на Север, из-за которого подскочили цены на юфть, политика приводила его в отчаяние. Впрочем, вмешательство Франции в испанские дела он одобрил. "Это прекрасный случай привезти с Иберийского полуострова рыцарские романы и кансьонеро", – говорил он. Увы, экспедиционный корпус и не подумал этого сделать и тем сильно обидел Теодора. Отныне, когда с ним заводили речь о Трокадеро, он иронически отвечал: "Романсеро", отчего прослыл либералом.

Достопамятный поход господина де Бурмона к берегам Африки преисполнил Теодора радости. "Благодарение Богу, наконец-то у нас появится дешевый левантийский сафьян", – говорил он, потирая руки, отчего прослыл карлистом.

Как-то раз прошлым летом он прогуливался по людной улице, погруженный в изучение какой-то книги. Тут из кабачка, пошатываясь, вышли несколько почтенных граждан и пристали к нему, как с ножом к горлу; они непременно желали, чтобы он крикнул: "Да здравствуют поляки!" "Я с радостью сделаю это, – отвечал Теодор, который только и делал, что прославлял в мыслях своих род человеческий, – но нельзя ли узнать, с какой целью?" – "С той целью, что мы объявляем войну голландцам, которые угнетают поляков под предлогом того, что не любят иезуитов", – отвечал ему друг просвещения, знаток географии и мастер по части логики. "Господи помилуй, – перекрестился Теодор, – неужели



Переплет работы Пюргольда с орнаментом в античном духе

нам придется довольствоваться так называемой голландской бумагой господина Монгольфье?"

Просвещенный собеседник ударом палки сломал ему ногу.

Три месяца Теодор провалялся в постели, изучая каталоги. Поскольку он отроду был склонен принимать все близко к сердцу, чтение зажгло огонь в его крови.

Даже когда дело пошло на поправку, спал он очень беспокойно. Его мучили кошмары; однажды ночью жена разбудила его. "Если бы не ты, – сказал Теодор, поцеловав ее, – я умер бы от ужаса и горя. Меня окружали беспощадные чудовища!

– Каких чудовищ тебе бояться, друг мой? Ведь ты в жизни своей никому не причинил зла.

– Насколько я помню, я видел тень Пюргольда: его ножницы безжалостно кромсали поля моих необрезанных альдин, а тем временем свирепая тень Эдье окунала в кислоту самую красивую из моих инкунабул, отчего страницы ее становились абсолютно белыми; надеюсь, что оба злодея пребывают в чистилище, а то и в аду!"

Жена решила, что он заговорил по-гречески, потому что он немного знал греческий – во всяком случае, три полки в его библиотеке были уставлены неразрезанными книгами на этом языке. Он никогда их не открывал и лишь показывал издали самым близким друзьям, без запинки сообщая имя издателя, а также место и год издания. Люди простодушные усматривали в этом чудо. Я этого мнения не разделяю.

Поскольку Теодор таял на глазах, к нему позвали врача, который, как ни странно, оказался человеком умным, да к тому же философом. Попробуйте отыскать второго такого. Доктор сказал, что Теодору неизбежно грозит кровоизлияние в мозг, и поместил в "Журнале медицинских наук" крайне интересное описание его

болезни, дав ей название "сафьянной мономании" или "библиоманической горячки"; впрочем, в Академии наук эту статью обсуждать не стали, ибо у Теодоровой болезни объявилась соперница в лице холеры-морбус.

Теодору посоветовали как можно больше гулять; эта мысль пришлась ему по душе, и назавтра он вышел из дому ранним утром. Тревожась за него, я решил составить ему компанию. К моей радости, мы направились на набережные; я надеялся, что вид реки развлечет больного, но он не сводил глаз с парапетов, которые были так пусты, словно здесь только что побывали защитники печати из числа тех, что в феврале побросали в воду книги из библиотеки архиепископства. На Цветочной набережной дела обстояли чуть-чуть получше. Здесь продавалось множество книг – но каких! Все сочинения, которые газеты превозносили месяц назад и которые редакторы и книгопродавцы стремятся теперь сбыть с рук по самой низкой цене. Философические и исторические трактаты, стихи и романы – книги самых разных жанров и форматов, для которых шумная реклама – вечное преддверие недосягаемого бессмертия и которые, не найдя себе ценителей, перекочевывают из книжной лавки на набережные Сены – этой бездонной Леты – и, покрываясь плесенью, бесславно завершают свой дерзновенный полет. Мне случилось листать здесь глянцевитые страницы своих ин-октаво, пребывавших в обществе книг пяти-шести моих друзей.

Теодор вздохнул – но не оттого, что услужливому клеенчатому навесу было не по силам уберечь от дождя плоды моего ума.

– Где ты, золотой век букинистов, торгующих под открытым небом? – произнес он. – А ведь именно здесь, на набережных, мой прославленный друг Барбье собрал столько сокровищ, что смог составить библиографию из нескольких тысяч названий. Именно здесь

с пользой для науки прогуливались мудрый Монмерке по пути во дворец и мудрый Лабудри по выходе из собора. Именно отсюда почтенный Булар, вооруженный своей мерной тростью, ежедневно уносил по кубометру редких изданий, которые уже не умещались ни в одном из его шести особняков, заваленных книгами. О! как часто мечтал он в этих случаях об angulus Горация или же о волшебном мешочке, который при необходимости мог вместить армию Ксеркса, а в обычное время висел на поясе не хуже ножен дедушки Жанно! А нынче – какой позор! Нынче вы не найдете здесь ничего, кроме скверных отродий новой литературы, которой никогда не сделаться древней и которая живет не дольше суток, как мухи с берегов Гипаниса; литературы, достойной угольной краски и тряпичной бумаги, которую пускают в ход презренные издатели, не уступающие в глупости книгам, выходящим из-под их прессов! Да что там, называть книгами это гадкое, измаранное черной краской тряпье, которое мало изменилось с тех пор, как покинуло корзину старьевщика, оскорбительно для самого слова "книга". Нынче набережные обратились в морг для сегодняшних знаменитостей!

Он снова вздохнул; вздохнул и я, но по другой причине.

Я спешил увести Теодора отсюда, ибо возбуждение его, возраставшее с каждой минутой, могло оказаться гибельным. Должно быть, то был роковой день для моего друга – все кругом лишь усиливало его меланхолию.

– Вот, – сказал он, – роскошная витрина Лавока, этого Галлио дю Пре ублюдочной словесности XIX столетия, этого предприимчивого и щедрого издателя, которому следовало появиться на свет в иные, лучшие времена, хотя на его совести прискорбные старания, способствовавшие чудовищному размножению новых книг в ущерб старым, этого преступного пропагандиста

хлопчатой бумаги, невежественной орфографии и вычурных виньеток, этого недостойного покровителя академической прозы и модной поэзии – как будто во Франции были поэты после Ронсара и прозаики после Монтеня! Этот дворец книг – троянский конь, скрывающий в своих недрах похитителей святыни, это ящик Пандоры, ставший источником всех бедствий на земле! Я еще не разлюбил окончательно этого каннибала и напишу главу для его сборника, но видеться с ним я не желаю!

– А вот этот зеленый дом, – воскликнул Теодор, – это лавка почтенного Крозе, самого любезного из наших молодых издателей, который лучше всех в Париже отличает переплет Дерома-старшего от переплета Дерома-младшего; юный Крозе – последняя надежда последнего поколения библиофилов, если, конечно, поколение это уцелеет в наш варварский век; но нынче мне не суждено насладиться поучительной беседой с ним! Он отправился в Англию, чтобы, пользуясь справедливым правом репрессалий, отвоевать у алчных захватчиков с Сохо-сквер и Флит-стрит драгоценные остатки прекрасных памятников старинной французской литературы, которыми вот уже два столетия пренебрегает наше неблагодарное отечество! Macte animo, generose puer!*

– А вот, – продолжал Теодор, повернув назад, – вот мост Искусств; на его бесполезных перилах шириной в жалкие несколько сантиметров никогда не будет покоиться благородный фолиант, изданный три столетия назад и радовавший взоры десяти поколений своим переплетом из свиной кожи и бронзовыми застежками; по правде говоря, мост этот являет собой настоящий символ: он ведет от замка к Институту по пути, не имею-

---

*Хвала тебе, благородный отрок (*лат.*; Вергилий. Энеида, IX, 641).

щему ничего общего с научным. Быть может, я и ошибаюсь, но, по-моему, появление такого моста служит для человека образованного неопровержимым доказательством упадка изящной словесности.

– А вот, – не унимался Теодор, проходя мимо Лувра, – белеет вывеска другого деятельного и изобретательного издателя; долгое время я смотрел на нее с вожделением, но мне тяжко видеть ее с тех пор, как Текне ухитрился переиздать шрифтом Татю на ослепительно белой бумаге и в кокетливом картонном переплете готические жемчужины Жана Марешаля из Лиона и Жана де Шане из Авиньона – уникальные безделки, которые он снабдил прелестными копиями. Белоснежная бумага вызывает у меня отвращение, друг мой, и я не могу ее выносить – за исключением разве что тех случаев, когда палач-типограф наносит на нее достойный сожаления отпечаток грез и глупостей нашего железного века.

Теодор вздыхал все печальнее; ему становилось все хуже.

Тем временем мы дошли до улицы Славных ребят, где устраивает свои публичные распродажи Сильвестр; на этом роскошном книжном базаре, где так любят бывать ученые люди, за последнюю четверть века сменяли друг друга бесценные сокровища, о каких не мечтали даже Птолемеи, чью библиотеку, возможно, сжег вовсе не Омар, что бы там ни болтали по этому поводу наши историки. Никогда не случалось мне видеть столько великолепных изданий сразу.

– Мне жаль тех несчастных, что расстаются с ними! – сказал я Теодору.

– Они либо уже умерли, либо скоро умрут от этого! – отвечал он.

Но зала была пуста. Лишь неутомимый господин Тур с присущим ему терпением и точностью переписывал на аккуратно вырезанные карточки названия тру-

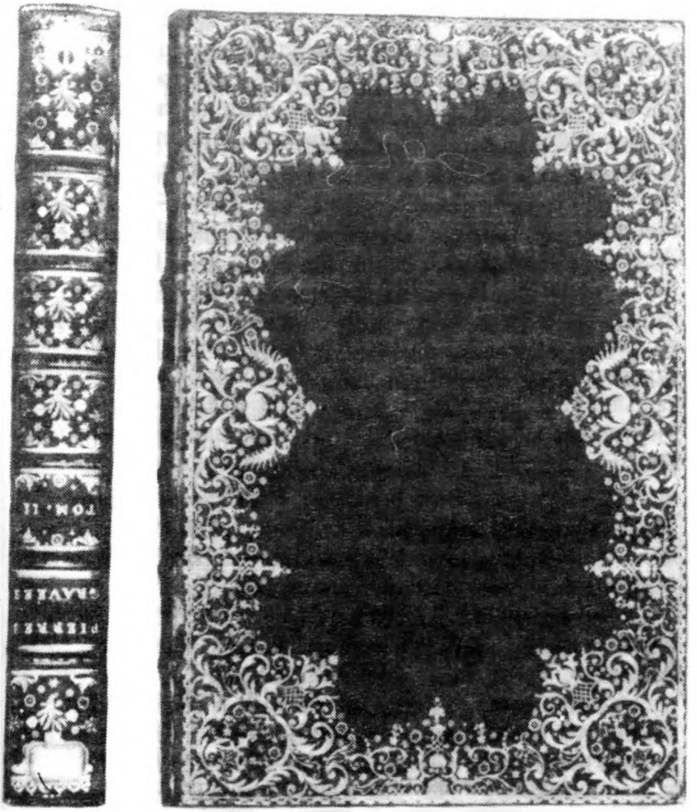
дов, только что ускользнувших из-под его неусыпного надзора. Этот человек, счастливейший из смертных, хранит в своей картотеке точные копии титульных листов всех книг, какие когда бы то ни было выходили из печати. Даже если все плоды типографского искусства погибнут во время революции, которая не замедлит разразиться в результате постоянного совершенствования нашего общества, это не помешает господину Туру оставить потомкам полный каталог универсальной библиотеки. Без сомнения, предусмотрительность, с которой господин Тур загодя начал составлять опись нашей цивилизации, достойна восхищения. Через несколько лет это уже никому и в голову не придет.

– Господи помилуй, дражайший Теодор, – сказал почтенный господин Сильвестр, – вы ошиблись днем. Последние торги окончились вчера. Все эти книги уже проданы, и скоро за ними пришлют.

Теодор пошатнулся и побледнел. Лицо его стало похоже на потертый сафьян лимонного цвета. Сердце мое преисполнилось сострадания к несчастному.

– Ну что ж! – сказал Теодор убитым голосом. – Жестокая судьба, как водится, не щадит меня! Но скажите же: кому принадлежат эти жемчужины, эти бриллианты, эти сказочные богатства, достойные украсить библиотеки де Ту и Гролье?

– Все как обычно, сударь, – отвечал г-н Сильвестр. – Справедливость требовала, чтобы первые издания античных авторов, эти старинные экземпляры отличной сохранности с собственноручными пометами прославленных эрудитов, эти интереснейшие и редчайшие труды по филологии, о существовании которых не подозревают ни Академия, ни университет, перешли во владение сэра Ричарда Хебера. Это доля британского льва, которому мы охотно уступаем греческие и латинские книги – ведь нынче мало кто знает эти языки. А вот



"Кружевной" переплет работы Падлу. Красный сафьян

эти великолепные коллекции трудов по естественной истории, уникальные по стройности изложения и качеству гравюр, приобрел князь де***, которому склонность к научным занятиям позволяет найти достойное применение огромному состоянию. Эти любопытные драматические опыты наших предков – средневековые мистерии и чудесные моралите, не знающие себе равных, пополнят образцовую библиотеку господина Солейна. А эти старинные фацеции, изящные, тонкие, прелестные, отлично сохранившиеся, дожидаются вашего друга, любезного и остроумного господина Эме-Мартена. Мне нет нужды объяснять вам, кому принадлежат эти книги в великолепных, нисколько не потертых сафьяновых переплетах с тройной каемкой, пышным "кружевным" тиснением и замысловатыми узорами. Их приобрел Шекспир мелких собственников, Корнель мелодрамы, искусный и красноречивый певец страстей и добродетелей народа, который утром не обратил на них должного внимания, но зато вечером выложил немалую сумму, впрочем, ворча сквозь зубы, словно смертельно раненный кабан, и не удостаивая соперников взгляда своих трагических глаз, осененных густыми бровями.

Теодор уже ничего не слышал. Он занялся довольно красивым томом и теперь измерял его своим эльзевириометром, иначе говоря – полуфутовой линейкой с бесконечно малыми делениями, посредством которой он определял цену и даже – увы! – достоинства всех книг. Десять раз измерял он проклятый том, десять раз перепроверял удручавшую его цифру, затем что-то прошептал, побледнел и лишился чувств. Я еле успел подхватить его и с большим трудом усадил в первый же попавшийся фиакр.

Сколько я ни пытался узнать причину его страданий, все было напрасно. Он не отвечал. Он не слышал моих

слов. Наконец, вероятно, не в силах таить дальше свое горе, он произнес:

– Перед вами – несчастнейший из смертных. Эта книга – Вергилий 1676 года с широкими полями; я был уверен, что владею самым большим экземпляром, но этот больше моего на треть линии. Люди, настроенные враждебно или пристрастно, сказали бы даже – на поллинии.

Я был потрясен. Было ясно, что Теодор бредит.

"На треть линии!" – повторил он, яростно грозя небу кулаком, словно Аякс или Капаней.

Я дрожал всем телом.

Мало-помалу силы оставили несчастного. Он жил теперь лишь затем, чтобы страдать. То и дело он твердил, ломая руки:

– "На треть линии!"

А я повторял про себя: "Черт бы побрал книги и книжную горячку!"

– Успокойтесь, друг мой, – ласково шептал я ему на ухо всякий раз, когда приступ возобновлялся. – Треть линии – пустяк, даже если речь идет о деликатнейшем деле в мире!

– Пустяк! – вскричал он. – Треть линии в Вергилии 1676 года – пустяк! На распродаже книг господина де Котта Гомер в издании Нерли стоил из-за этой трети линии на сто луидоров дороже. Треть линии! О, если бы треть линии пунсона вонзилась вам в сердце, вы бы не назвали это пустяком!

На нем не было лица; он заламывал руки, в ноги ему железными когтями вонзались судороги. Без сомнения, горячка делала свое дело. Я не согласился бы продлить путь, который оставался до его дома, даже на треть линии.

Наконец, мы приехали.

– Треть линии! – сказал он привратнику.

– Треть линии! – сказал он открывшей нам кухарке.

– Треть линии! – сказал он жене, рыдая.

– Мой попугайчик улетел! – сказала его маленькая дочка, тоже плача.

– Не нужно было оставлять клетку открытой, – ответил Теодор. – Треть линии!

– Народ волнуется на Юге и на Циферблатной улице, – сказала старая тетушка, читавшая вечернюю газету.

– Какого дьявола ему не хватает? – спросил Теодор. – Треть линии!

– Ваша ферма в Босе сгорела, – сказал слуга, укладывая Теодора в постель.

– Надо будет вновь отстроить ее, если дело того стоит, – ответил Теодор. – Треть линии!

– Как вы думаете, это серьезно? – спросила меня кормилица.

– Разве вы, голубушка, не читали "Журнал медицинских наук"? Бегите скорей за духовником!

К счастью, в эту самую минуту священник появился на пороге; он, по обыкновению, зашел поболтать о разных литературных и библиографических тонкостях, в которых разбирался не хуже, чем в требнике; впрочем, пощупав пульс Теодора, он забыл о библиографии.

– Увы, сын мой, – сказал он больному, – жизнь человеческая скоротечна, да и весь наш мир не вечен. Как и всему, что имеет начало, ему рано или поздно придет конец.

– Кстати, вы читали "Трактат о происхождении и древности мира"? – спросил Теодор.

– Я читал Книгу Бытия, – отвечал почтенный пастырь, – но слышал о книге, которую написал на эту тему некий софист минувшего века по имени Мирабо.

– Sub judice lis est*, – резко перебил его Теодор. –

---

*Дело еще не решено (*лат.*; Гораций. Наука поэзии, 78).

Я доказал в моих Stromates, что этот унылый педант Мирабо создал лишь первую и вторую части "Мира", а создатель третьей – аббат Лемакрье.

– Господи! Кто же в таком случае создал Америку? – приподняв очки, осведомилась старая тетушка.

– Речь не об этом, – продолжал аббат. – Верите ли вы в Пресвятую Троицу?

– Как могу я не верить в знаменитое сочинение Сервета De Trinitate*, – вскричал Теодор и сел на постели. – Ведь я ipsimis oculis** видел, как на распродаже библиотеки господина де Маккарти эта книга, которую сам он приобрел на распродаже собрания Лавальера за 700 ливров, была продана за жалкие 214 франков.

– Но я имел в виду совсем иное, – сказал в замешательстве служитель церкви. – Я спрашиваю вас, сын мой, что вы думаете о божественном происхождении Иисуса Христа?

– Ладно, ладно, – отвечал Теодор. – Давайте условимся: кто бы что ни говорил, я настаиваю, что "Toldos Jeschu"***, из которого этот невежественный пасквилянт Вольтер почерпнул столько вздорных побасенок, достойных "Тысячи и одной ночи", есть не что иное, как злобная и бездарная выдумка раввинов, и что сочинение это недостойно занимать место в библиотеке ученого!

– В добрый час! – вздохнул почтенный священнослужитель.

– Разве что в один прекрасный день, – продолжал Теодор, – отыщется экземпляр in charta maxima****, о котором, если мне не изменяет память, идет речь в неопубликованной мешанине Давида Клемана.

На сей раз священник довольно громко застонал,

---

*О Троице (*лат.*).
**Своими глазами (*лат.*).
***"Родословие Иисуса" (*древнеевр.*).
****В полный лист (*лат.*).

вскочил со стула и с волнением склонился над Теодором, дабы честно и прямо объяснить больному, что у него тяжелейший приступ библиоманической горячки, описанной в "Журнале медицинских наук", и что сейчас ему не следует думать ни о чем, кроме спасения собственной души.

Теодор не принадлежал к числу тех глупцов, которые решительно отрицают существование Бога, но наш друг потратил так много сил на бесплодное изучение буквы множества книг, что у него не хватило времени постичь их дух. Даже в ту пору, когда он был совершенно здоров, теории бросали его в жар, а догмы вызывали столбняк. В богословии он разбирался хуже сенсимонистов. Он отвернулся к стене.

Долгое время он лежал молча, и мы уже решили было, что он скончался, но, подойдя к нему, я услышал глухой шепот: "Треть линии! Боже правый! Боже милостивый! Как отдашь ты мне эту треть линии и хватит ли твоего могущества, чтобы исправить непоправимую ошибку переплетчика?"

В эту минуту в комнату вошел один библиофил, приятель Теодора. Ему сказали, что больной при смерти, что в бреду он утверждал, будто аббат Лемакрье создал третью часть света, а четверть часа назад утратил дар речи.

– Сейчас проверим, – сказал библиофил.

– По какой ошибке в нумерации страниц узнается хороший эльзевировский Цезарь 1635 года? – спросил он Теодора.

–153-я страница вместо 149-й.

– Отлично. А Теренций того же года?

– 108-я вместо 104-й.

– Черт возьми, – заметил я, – Эльзевирам в 1635 году не везло с цифрами. Хорошо, что они не стали печатать в том же году таблицы логарифмов.

– Превосходно, – продолжал приятель Теодора. – А ведь поверь я болтовне этих людей, я думал бы, что ты на волосок от смерти!

– На треть линии, – подхватил Теодор слабеющим голосом.

– Я знаю о твоей беде, но по сравнению с тем, что приключилось со мной, это сущая ерунда. Вообрази, неделю тому назад на одной из тех никому не ведомых распродаж, о которых можно узнать лишь из объявления на двери, я упустил Боккаччо 1527 года – такой же великолепный экземпляр, как твой, в венецианском переплете из телячьей кожи, с остроконечными "а" и множеством "свидетелей". И ни одной подложной страницы!

Теодор не мог больше думать ни о чем другом:

– Ты уверен, что "а" были остроконечные?

– Как кончик алебарды.

– Значит, это действительно был Боккаччо 1527 года.

– Он самый. В тот день я был на чудесном обеде: очаровательные дамы, свежие устрицы, остроумные собеседники и превосходное шампанское. Я пришел через три минуты после того, как книга была продана.

– Милостивый государь! – в бешенстве вскричал Теодор. – Когда продается Боккаччо 1527 года, обходятся без обеда!

Это последнее усилие исчерпало ту каплю жизненных сил, которая еще оставалась у Теодора и которую эта беседа поддерживала, подобно тому как раздувают затухающий огонь кузнечные меха. Он успел прошептать еще раз: "Треть линии!" – но то были его последние слова.

Утратив всякую надежду на его спасение, мы подкатили его постель к книжным шкафам и стали вынимать оттуда те тома, которые он, казалось, звал взглядом. Дольше всего мы держали перед его глазами издания, которые, на наш взгляд, составляли предмет его наи-

большей гордости. Умер он в полночь, в окружении книг в переплетах Десея и Падлу, любовно сжимая в руках переплет Тувенена.

Похороны состоялись на следующий день; за гробом нескончаемой чередой тянулись безутешные сафьянщики. На могильном камне мы высекли эпитафию, которую, пародируя Франклина, сочинил некогда для себя сам Теодор:

Здесь
в деревянном переплете
покоится
экземпляр
лучшего издания
человека —
издания,
написанного на языке золотого века,
который люди забыли.
Ныне это
старая книжонка,
потрепанная,
грязная,
с вырванными страницами
и попорченным фронтисписом,
изъеденная червями
и наполовину сгнившая.
Трудно ожидать,
что она удостоится
запоздалой и бесполезной чести
быть переизданной.

ФРАНЦИСК КОЛУМНА

Надеюсь, вы не забыли нашего друга аббата Лоуриха, с которым мы встречались в Рагузе и Спалато, в Вене и Мюнхене, в Пизе, Болонье и Лозанне. Это замечательный человек, блестяще образованный, держащий в голове уйму вещей, которые любой другой на его месте постарался бы поскорее забыть: имя издателя той или иной дрянной книжонки, год рождения того или иного глупца и еще множество подобных сведений. Аббату Лоуриху принадлежит честь установления подлинного имени Кникнакия: под этим псевдонимом писал Старкий, причем не Поликарп Старкий, автор восьми прекрасных одиннадцатисложных стихов на диссертацию Корнманна de ritibus et doctrina scaraboeorum*, а Мартин Старкий, автор тридцати двух одиннадцатисложных стихов о вшах. Несмотря на все это, с аббатом Лоурихом стоит познакомиться: он милейший человек, остроумный, сердечный, неизменно предупредительный; вдобавок к этим достоинствам он наделен живым и своеобычным воображением, что делает его на редкость приятным собеседником, но только до тех пор, пока он не углубится в мельчайшие подробности биографического и библиографического свойства. Впрочем, я смирился с этим недостатком аббата Лоуриха, и стоит мне увидеть его, как я бросаюсь к нему со всех ног. Последняя наша встреча произошла месяца три назад, не больше.

Я приехал в Тревизо вечером и остановился в гостинице Двух Башен; час был поздний, поэтому пройтись

---

*Об обычаях жуков и об изучающей их науке (*лат.*).

по городу я не успел. Наутро, спускаясь по лестнице, я наткнулся на одного из тех ни на кого не похожих людей, чье своеобразие проявляется во всем; я обратил внимание на шляпу, каких свет не видел, заломленную самым немыслимым образом, красный с зеленым галстук, повязанный так криво, что узел его лежит чуть ли не на плече, брюки, одна штанина которых не блистала чистотой, а другая не без кокетства пузырилась на колене, наконец, гигантский портфель, бессменное вместилище стольких книг, стольких записей, стольких планов, стольких набросков — всех этих сокровищ, которые бесценны для ученого, хотя на них не позарился бы ни один старьевщик. Ошибиться было невозможно: передо мной был Лоурих. "Лоурих!" — воскликнул я, и мы бросились друг другу в объятия.

— Я знаю, куда ты держишь путь, — сказал он после того, как мы обменялись дружескими приветствиями, и он сообщил, что тоже только сейчас приехал. — Ты спросил адрес букиниста и тебе посоветовали обратиться к Апостоло Каподуро* с улицы Эсклавон. Я направляюсь туда же, но без всякой надежды: за десять лет я дважды посетил его лавку и самое древнее, что я разыскал в ней, были романы аббата Кьяри. Настоящие букинисты начисто перевелись, повымерли, уничтожены, и настали варварские времена. Тебе нужно что-то определенное?

— Признаюсь тебе, — ответил я, — что мне грустно было бы покинуть север Италии, не приобретя "Сон Полифила"; говорят, это замечательная книга, причем если ее где-нибудь и можно найти, то именно в Тревизо.

— Вот именно: если где-нибудь можно найти, — воскликнул Лоурих, — это очень справедливая оговорка, ведь "Сон Полифила" или, точнее, "Гипнеротома-

---

*Букв.: твердолобый (*ит.*).

хия" брата Франциска Колумны – книга, о которой в старых библиографиях говорится, что она aldo corvo rariог*. Смело можно утверждать, что если эта белая ворона и залетела в какую-нибудь клетку, в чем не может быть сомнения, то владелец этой клетки уж никак не Апостоло. Я в этом так твердо уверен, что могу, не сходя с места, поклясться душой старого Альда (да будет ему вечная слава!), что, если у этого чудака Апостоло найдется для тебя экземпляр "Гипнеротомахии" 1499 года, поскольку второе издание и вполовину не так ценно, я готов преподнести его тебе в подарок, как это ни разорительно для моего кошелька.

Мы вошли в лавку и застали ее хозяина сидящим в глубокой задумчивости за конторкой перед чистым листом бумаги. Он не сразу заметил наше появление, а когда, наконец, поднял на нас глаза, то с радостью признал в Лоурихе старого знакомого.

– Не иначе как сам Господь посылает вас мне на выручку, дорогой аббат, – сказал Апостоло, обнимая Лоуриха, – ибо я никогда еще не попадал в такое затруднительное положение. Вам, конечно, известно, что я вот уже несколько месяцев издаю "Адриатическую литературную газету", которая, по всеобщему признанию, является самой ученой и самой увлекательной газетой в Европе. Так вот, эта замечательная газета, предназначенная вызвать восхищение ученого мира и поправить мои пошатнувшиеся дела, находится на грани катастрофы, и все из-за каких-то шести маленьких колонок фельетона для завтрашнего номера, над которыми я безуспешно ломаю голову, уставшую от ученых занятий и дел. Должно быть, злой дух замыслил разоренье и привел в расстройство мои редакционные дела. Юная муза, которая сочиняла мне нравоучительные

*Встречается реже, чем белая ворона (*лат.*).

статьи о воспитании, на сносях; импровизатор, который обещал сегодня принести кантату в совершенно новом духе, пишет мне, что закончит ее не раньше чем через неделю, а непревзойденного знатока финансовых и экономико-политических вопросов вчера посадили в долговую тюрьму. Поэтому, дорогой аббат, во имя неба прошу вас, сядьте за этот стол, где я всю ночь трудился до седьмого пота и тем не менее не выжал из себя ни строчки, и набросайте мне пять-шесть страничек о чем угодно, лишь бы сюжет не был уж очень избитым.

– Постой-ка, – ответил аббат Лоурих, – давай прежде покончим с нашими делами, а потом уж займемся твоими. Мой друг приехал сюда из Парижа, а я из далекой Норвегии не для того, чтобы сочинять вместо лентяев-рифмоплетов кантаты да фельетоны, а для того, чтобы найти пару-тройку книг, ради которых стоило проделать это путешествие; какое-нибудь славное, всеми признанное первоиздание, какую-нибудь книгу начала XV века в хорошем состоянии, ценную альдину, у которой английские и французские переплетчики пощадили поля. Начнем с этого, если позволишь, а там видно будет. Написать фельетон – дело нехитрое.

– Как вам угодно, – ответил Апостоло, – я соглашаюсь тем охотнее, что осмотр не отнимет у вас много времени. У меня есть всего одна книга, достойная таких знатоков, как вы, но эта книга, – продолжал он, разворачивая тройную обертку дивного фолианта, – книга, – повторил он торжественно, полностью вызволив ее из бумажной тюрьмы, – одним словом, книга, – и он с гордым и уверенным видом протянул фолиант аббату Лоуриху.

– Проклятье, – прошептал Лоурих, с одного взгляда, как обычно, распознав неведомое сокровище. Потом он повернулся ко мне, но это был уже не тот человек, что секунду назад; руки его беспомощно опустились, взор погас, а на лбу выступили капельки холодного пота. –

Проклятье, — пробормотал он по-французски едва слышно, так, что разобрать его слова мог только я, — это та самая злосчастная книга, которую я обещал тебе подарить, если она здесь окажется, первоиздание Полифила... какая незадача, вдобавок, она в прекрасной сохранности, будто только что с печатного станка, слово даю. Такие удары судьбы обрушиваются на одного меня...

— Успокойся, — со смехом ответил я, — быть может, она обойдется нам дешевле, чем ты думаешь.

— И сколько же хочет маэстро Апостоло за это сокровище? — спросил Лоурих.

— Ох, ох! — запричитал Апостоло, — времена нынче тяжелые, денег днем с огнем не сыщешь. В былые времена я запросил бы пятьдесят цехинов с принца Евгения, шестьдесят с герцога д'Абрантеса и сто с какого-нибудь англичанина, а сегодня я вынужден просить за нее всего-навсего четыреста миланских ливров, иначе говоря, ровно четыреста франков. Я не уступлю и двух quarantani*.

— Чтоб четыреста голодных крыс сожрали все твои книги до единой! — прервал Лоурих в ярости. — Да где это видано, чтобы какая-то паршивая книжонка стоила четыреста ливров?..

— Паршивая книжонка! — воскликнул Апостоло, почти так же рассвирепев, как Лоурих. — Издание 1467 года, первое в Тревизо, а может быть и во всей Италии, шедевр типографского и оформительского искусства, с гравюрами работы самого Рафаэля, шедевр, автор которого до сих пор не установлен, несмотря на все ученые изыскания; уникальное издание, о существовании которого не подозревали, может быть, даже вы сами, господин аббат, — и это вы называете паршивой книжонкой!

---

*Сороковая часть (*ит.*).

Пока Апостоло произносил свою бурную тираду, Лоурих постепенно успокоился; он положил шляпу на конторку букиниста, удобно устроился в кресле и отирал пот со лба с видом человека, обретшего наконец покой после долгих тяжких трудов.

— Ты кончил, Апостоло? — спросил он хладнокровно, но не без лукавого самодовольства. — Это лучшее, что ты можешь сделать, если хоть сколько-нибудь заботишься о своем добром имени и своем кошельке, ибо в четырех фразах, которые ты нам только что преподнес, содержатся четыре огромные глупости, и если бы ты не замолчал, то наговорил бы их столько, что мне не хватило бы целого дня, чтобы сосчитать их, и у меня не осталось бы времени написать тебе фельетон, в котором ты так нуждаешься. Глупость первая: неверно, что книга эта издана в Тревизо в 1467 году, это венецианское издание 1499 года, из которого вырвали последнюю страницу, чтобы сбить тебя с толку, но от меня-то не укрылся этот дефект, больше чем наполовину снижающий ценность твоего экземпляра. Впрочем, ты родился под счастливой звездой, и я могу помочь тебе, поскольку на днях, благодаренье богу, я случайно нашел в ворохе бумаг недостающую страницу и заботливо сохранил эту драгоценность, хотя и не думал, что она пригодится мне так скоро. Мы еще поговорим о том, по какой цене я смогу ее тебе уступить.

При этих словах аббат Лоурих вынул из своего портфеля недостающую plagula* и бережно вложил ее в книгу.

— В самом деле, этот лист точь-в-точь подходит к моей книге, — произнес Апостоло, — что, надо сказать, несколько меняет дело. Какого дьявола я решил, что она вышла в Тревизо?

---

*Здесь — страница (*лат.*).

– Погоди, – вновь вступил Лоурих, – это еще далеко не все. Глупость вторая: неверно, что рисунки в этой книге выполнены Рафаэлем, какое бы это ни было издание: 1467-го или, как мы только что убедились, 1499 года, поскольку, как всем известно, Рафаэль родился в Урбино в 1483 году, то есть через шестнадцать лет после того, как рукопись была завершена, что действительно произошло в 1467 году, и даже самые пылкие поклонники этого великолепного художника вряд ли возьмутся утверждать, что он создавал такие правильные и изящные рисунки за шестнадцать лет до своего рождения. Так что эти прекрасные гравюры принадлежат другому Рафаэлю, и уж его-то, достойнейший друг мой, знаю я один. Постой-постой, пока я сосчитал еще только до двух.

Глупость третья: неверно, что автор этой книги до сих пор неизвестен ученым, ибо, напротив того, все ученые знают, что это произведение Франциска Колонны, или Колумны, монаха-доминиканца из Тревизо, умершего в 1467 году, хотя находятся легкомысленные биографы, которые путают этого монаха с доктором Франческо ди Колонна, его почти полным тезкой, пережившим его на добрых шесть десятков лет. Оба они похоронены в нескольких сотнях метров от твоей лавки. После того что я сейчас тебе рассказал, Апостоло, мне, я думаю, нет нужды доказывать тебе, что ты совершил четвертый промах, еще более грубый, чем все остальные, предположив, что я не слышал о существовании твоей великолепной книги, более того, я могу с легкостью показать тебе, что знаю весь текст наизусть.

– Бьюсь об заклад, – живо возразил Апостоло, – что на сей раз у вас ничего не выйдет, ибо она написана таким необычным языком, что ни одному из моих друзей в Тревизо, Венеции и Падуе не удалось разо-

брать ни единой страницы, и, если вы, как сами утверждаете, знаете ее наизусть, я готов отдать вам ее даром и тем охотнее принесу эту жертву, что вы сообщили мне ценнейшие сведения и помогли избежать ошибки: я собирался опубликовать в моей "Адриатической литературной газете" объявление об этой книге, а если бы в него проникли те ложные данные, которые вы только что успешно опровергли, это могло сильно повредить моей репутации среди книготорговцев.

– Судя по тому, что ты сам только что сказал, – ответил аббат Лоурих, – о крайне причудливом языке "Сна Полифила" и о безуспешных попытках стольких ученых расшифровать его, проверка, которую ты собираешься мне устроить, будет невыносимо нудной и вдобавок займет целый день. И что станет с твоим фельетоном, если я буду читать тебе наизусть "Гипнеротомахию" от альфы до омеги? Тем не менее я принимаю твой вызов, если ты готов удовольствоваться опытом, который не менее доказателен, но зато отнимет у нас гораздо меньше времени и сил. В твоей книге столько глав, что одного этого достаточно, чтобы вывести из терпения. Я берусь перечислить тебе начальные буквы всех глав, с первой, в которую, как я погляжу, ты уже уперся пальцем, и до последней.

– Будь по-вашему, итак, первая буква первой главы...

– Это "Р", – сказал Лоурих. – Открывай вторую.

Глав было много, но аббат дошел до тридцать восьмой – последней, ни разу не сбившись и не ошибившись.

– Угадать одну букву из двадцати четырех можно, если очень повезет, и без помощи нечистой силы, – грустно заметил Апостоло, – но повторить этот фокус тридцать восемь раз подряд невозможно, тут что-то неладно. Берите книгу, господин аббат, и чтоб я о ней больше не слышал.

— Боже меня упаси, — ответил Лоурих, — так жестоко злоупотреблять твоей невинностью и простодушием, о феникс библиофилов! Ты только что видел всего-навсего ловкий трюк, доступный даже школьнику, и ты легко можешь повторить его. Знай же, что автор этого произведения решил зашифровать свое имя, положение и тайну своей любви в начальных буквах тридцати восьми глав: вместе они составляют фразу, приведенную в парижской "Всемирной биографии", так что всякий, кто, подобно мне, заглянул туда, выиграл бы пари. Тем более что эту простую и трогательную фразу очень легко запомнить. Poliam frater Franciscus Columna peramavit. Брат Франциск Колумна любил Полию. Теперь ты сведущ в этом вопросе не меньше Бейля и Проспера Маршана.

— Странно, — вполголоса произнес Апостоло. — Монах-доминиканец был влюблен. За этим стоит какая-то история.

— Очень может быть, — сказал Лоурих. — Возьмись-ка опять за перо и займемся фельетоном, раз уж ты не можешь без него обойтись.

Апостоло уселся поудобнее, обмакнул перо в чернильницу и записал следующий ниже текст, начиная с заглавия, от которого я весьма отдалился в своем затянувшемся вступлении.

ФРАНЦИСК КОЛУМНА

Библиографическая новелла

Род Колонна, несомненно, относится к числу самых знатных в Риме и во всей Италии, но не всем его ветвям одинаково повезло. Шарра Колонна, пылкий приверженец партии гибеллинов, взяв в плен в Аньяни папу Бонифация VIII, опьяненный победой, дошел до того, что

дал папе римскому пощечину, однако при папе Иоанне XXII он жестоко поплатился за свой необузданный нрав: в 1328 году он был навсегда изгнан из Рима, лишен дворянства, а всем его имуществом завладел его брат Стефано Колонна, который всю жизнь был верным и преданным сторонником гвельфов. Потомки несчастного Шарры угасли, как и он сам, в Венеции в полной нищете, и в 1444 году в живых оставался всего один наследник всех этих несчастий, Франциск Колонна. Родившийся в начале этого года, он был круглым сиротой: отца его убили накануне его рождения, а мать умерла, дав ему жизнь. Усыновленный из жалости известным художником Якопо Беллини, автором многочисленных исторических полотен, и воспитанный наравне с его собственными детьми, Франческо показал себя достойным великодушных забот, которыми окружили его приемный отец и знаменитые названые братья Джованни и Джентиле Беллини. Подобно Мантенье, он уже в восемнадцать лет в совершенстве овладел искусством живописи. Свершилось чудо, и у Джотто появился еще один соперник. Однако рок, тяготевший над Франческо, помешал его успехам перерасти в славу: полотна его приписывают сегодня Мантенье и Беллини и мы восторгаемся шедеврами его кисти, не зная подлинного имени их автора.

Впрочем, живопись отнюдь не была единственным предметом его занятий и привязанностей: он отводил ей лишь второстепенное место в ряду искусств, украшающих жизнь человека. Гораздо больше его интересовала архитектура, которая возводит богам памятники, служащие величественными посредниками между небом и землей; но он искал ее законы не в гигантских творениях современного искусства, этих странных и зачастую гротескных причудах фантазии, которым, по его мнению, не хватало разума и вкуса. Увле-

ченный движением Ренессанса, которое зарождалось в ту пору в Италии, Франческо принадлежал своему времени только в отношении веры; его безграничное восхищение вызывала античность; он поистине поклонялся ей; религиозные убеждения христианина странным образом сплелись в его сознании с художественными пристрастиями язычника. Он заходил в своих рассуждениях так далеко, что видел в современных языках не более чем варварские наречия, пригодные лишь для изъяснения материальных нужд человека, но неспособные возвыситься до красноречивого и поэтического выражения его мыслей и чувств. Поэтому он изобрел для себя свой собственный диалект, позаимствовав из итальянского языка лишь несколько синтаксических правил да мелодичных окончаний слов; диалект этот был гораздо ближе к языку гомеридов, Тита Ливия или Лукана, чем к языку Боккаччо и Петрарки. Этим своеобразным теориям суждено было оказать большое влияние на современников, однако идеи эти оторвали Франческо от реального мира. Он слыл в свете меланхолическим мечтателем, который живет в плену иллюзий, порожденных его собственным гением, и презирает обычные житейские радости. Однако иногда его встречали во дворце прославленной Леоноры Пизани, самой богатой наследницы Венецианской республики после своей кузины Полии ди Поли – единственной дочери последнего представителя тревизского рода Поли. Франческо бывал у Леоноры, потому что дворец ее был святилищем поэзии и искусств, куда стекались все таланты того времени. С некоторых пор Франческо стал появляться во дворце чаще и казался задумчивее и печальнее обычного; но внезапно визиты его сделались редкими, а затем и вовсе прекратились.

Полия ди Поли, о которой я только что упомянул, в то время как раз гостила во дворце Пизани, куда

Леонора пригласила ее на веселые недели карнавала. Леоноре было двадцать восемь, Полия была на восемь лет моложе кузины и блистала еще большей красотой. Прекрасно образованная, как многие девушки высокого происхождения, она пользовалась пребыванием в столице ученого мира, чтобы совершенствовать свои познания в предметах, в наше время ставших чуждыми женскому полу; привычка к серьезным размышлениям придавала ее облику некоторую холодность и строгость, из-за чего многие считали ее надменной. Впрочем, это мало кого удивляло, ибо Полия была последней в древнем римском роде Лелиев, ведущем свое происхождение от Лелия Маура, основателя Тревизо; ее воспитанием руководил властный и высокомерный отец, который так гордился своим знатным происхождением, что счел бы самого могущественного из итальянских князей недостойным своей дочери, к тому же сокровищ, хозяйкой которых ей рано или поздно суждено было стать, хватило бы на приданое для самой королевы. И все же она с первой встречи удостоила Франческо своего расположения и была с ним почти ласкова; но вслед за тем, словно спохватившись, стала смотреть на юношу сурово и едва ли не презрительно, а с тех пор как он внезапно перестал бывать во дворце Пизани, она, казалось, совсем забыла о нем.

Шел февраль 1466 года. Ранняя весна уже начинала расточать свои дары, что не редкость в этих благословенных краях. Полия собиралась возвращаться в Тревизо, и Леонора стала еще чаще устраивать в ее честь разнообразные празднества, дабы сделать ее пребывание в Венеции как можно более приятным, а расставание как можно более трудным. Среди развлечений была и прогулка в гондолах по Большому каналу и тому широкому и глубокому рукаву, который отделяет город от уединенного Лидо. Леонора Пизани не обошла

Франческо приглашением и в своем письме так мило и трогательно пеняла ему за долгое отсутствие, что невозможно было ответить отказом. Впрочем, как мы уже сказали, это было накануне отъезда Полии, и есть основания предполагать, что, несмотря на холодный прием, оказанный ему девушкой, Франческо хотелось ее увидеть, ибо, все больше и больше размышляя о резкой и странной перемене в их отношениях, он в конце концов убедил себя в том, что причина этой перемены кроется не в ненависти. В назначенный срок он подошел к ступеням дворца Пизани – месту сбора гостей и отплытия гондол. Дамы в одинаковых масках и домино по условному сигналу вышли из дворца и каждая из них с непринужденностью, которую дозволяет переодеванье, выбрала себе спутника на время предстоящего путешествия. Этот обычай, более приятный и более понятный, чем тот, что впоследствии пришел ему на смену на балах, был чреват гораздо менее серьезными последствиями, ибо никогда женщины так не оберегают собственную репутацию, как в тех очень редких случаях, когда охрана ее возложена на них самих. Итак, Франческо, потупив взор, застыл, ожидая, когда на него обратят внимание, как вдруг прелестная ручка в перчатке оперлась на его руку. Со всей скромностью и почтительностью он поспешил отвести незнакомку к ожидавшей их гондоле. Через минуту пестрая флотилия уже плыла под мерный плеск весел по глади канала.

Дама сидела слева от Франческо и некоторое время молчала, словно собираясь с мыслями и стараясь справиться с невольным смущением; затем она развязала шнурки своей маски, сбросила ее и посмотрела Франческо в лицо с нежной и серьезной уверенностью, присущей возвышенным душам. Это была Полия. Франческо вздрогнул; священный трепет охватил все его существо, ибо ничего подобного он не ожидал; он

опустил голову и прикрыл глаза ладонью, словно считая кощунством смотреть на Полию, когда она так близко.

– Эта маска не нужна, – сказала Полия, – у меня нет никаких оснований придерживаться обычая, который разрешает мне скрывать свое лицо; у дружбы нет секретов: ее чувства слишком чисты, чтобы приходилось краснеть за них. Не удивляйтесь, Франческо, – продолжала она после секундной паузы, – что я заверяю вас в дружеских чувствах после того, как много дней обходилась с вами сурово и дала вам повод усомниться в моем расположении. Приличия запрещают женщине делать достоянием толпы даже те свои чувства, в которых нет ничего предосудительного, однако разыгрывать равнодушие, которого на самом деле не испытываешь, так трудно. Сегодня я покидаю Венецию, и, хотя буду жить очень близко от вас, весьма вероятно, что мы никогда больше не увидимся. Отныне нас будут связывать только воспоминания, и мне не хотелось бы расстаться с вами, оставив о себе ложное впечатление, и уехать с тревогой за вас, которая будет смущать мой покой. Я сделала признание, которое, как мне казалось, должна была вам сделать, и жду, что вы последуете моему примеру; быть может, вам тоже есть что сказать мне, и я надеюсь на вашу искренность. Не тревожьтесь, Франческо, вам одному судить о том, насколько скромны мои вопросы.

В этот миг Франческо поднял глаза и осмелился посмотреть на Полию, чьи слова он слушал с жадным вниманием.

– Ах, синьора, – воскликнул он, – видит Бог, в душе моей нет от вас никаких тайн.

– В вашей душе есть тайна, – возразила Полия, – тайна, огорчающая ваших друзей, которые из любви к вам хотели бы проникнуть в нее. Обладая всеми достоинствами, необходимыми для счастья, – молодостью,

талантом, знаниями, даже славой, — вы предаетесь, однако, таинственной грусти, вас снедает неведомая тревога, вы пренебрегаете занятиями, которые обеспечили вам доброе имя, вы бежите благосклонного к вам света и проводите дни в одиночестве и безвестности, наконец, если верить слухам, вы намереваетесь окончательно порвать с обществом и удалиться в монастырь. Все это правда?

Франческо, казалось, был охвачен тысячью противоречивых чувств. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы собраться с силами.

— Да, синьора, — ответил он, — это правда; во всяком случае, еще сегодня утром все это было правдой. Событие, происшедшее с тех пор, изменило направление моих мыслей, не изменив моего намерения. Мое решение удалиться в монастырь непоколебимо, но я сделаю это с легким сердцем, ибо отныне жизнь моя обрела смысл и нет на земле человека счастливее меня. Родившись в нищете и безвестности, я тем не менее многого добился своим трудом. Но несчастья моей семьи погрузили мою душу во мрак. И вот в этом мраке сверкнул свет надежды: вы будете вспоминать обо мне!

Полия нежно посмотрела на него.

— Мне хочется верить, — сказала она, — что ваши слова не просто красивая фраза, дань вежливости в ответ на заверения в дружеских чувствах; я думаю, нам не пристал этот фальшивый тон бездушных людей. Мне кажется, я отчасти понимаю ваши чувства, хотя решение ваше для меня по-прежнему загадка, но, — добавила она улыбаясь, — пока я понимаю вас еще не до конца.

— Вы поймете меня лучше, — осмелев, возразил Франческо, — ибо я скажу вам все. Простите мне мое смущение и нерешительность, ибо я никогда в жизни не оказывался в таком необычном положении.

С самого рождения я был лишен родителей, покро-

вителей, друзей, славного имени и состояния – всего этого было достаточно, чтобы поселить во мне склонность к меланхолии. Тяжело сознавать, что несчастье преследует тебя с колыбели и не оставит до могилы. Это была первая мысль, в какой я отдал себе отчет. Прежде чем хоть секунду подумать о себе, мне надо было отплатить признательностью за заботы моих приемных родителей, и мне нет нужды говорить вам, что мне это удалось. В ту пору дух мой окреп; я мало сожалел о безвозвратно утраченном величии и роскоши. Мало того, порой я тешил свое ребяческое самолюбие мыслью о том, что всей своей славой я обязан самому себе и однажды родня, которая отталкивает меня, позавидует известности моего имени, имени отверженного. Таковы иллюзии неопытного и тщеславного юноши. Все рухнуло в один день, и я вновь ощутил себя несчастным и ничтожным.

– Увы, – продолжал Франческо, – вот тайна, которую ваше слишком доброжелательное любопытство изъявляет желание узнать и которую разум велел мне свято хранить. Но как мне дерзнуть открыть вам печальный секрет, покоящийся в глубине моего израненного сердца, поведать о чувствах, которые философия считает ребяческой слабостью духа и которые ваш возвышенный ум осудит и в лучшем случае удостоит жалости. Я полюбил, синьора!..

Здесь Франческо прервал свою речь, но, ободренный взглядом Полии, продолжал в следующих словах:

– Я полюбил, сам того не сознавая, не задумываясь о последствиях своего безрассудства, не строя планов на будущее, ибо целиком и полностью отдался впечатлениям настоящего. Я полюбил женщину, известную своими редкими достоинствами и сочетающую в себе красоту со всеми совершенствами ума и души; кажется, будто небо послало ее на землю только затем, чтобы

напомнить смертным об утраченном ими неизъяснимом блаженстве. Я полюбил ее, синьора, забыв о том, что она знатнейшая из знатных, богатейшая из богатых, а сам я всего лишь бедный Франческо Колумна, безвестный ученик Беллини, и все мои труды не принесут мне иной награды, кроме суетной славы. Такова любовная страсть: она оглушает, ослепляет, убивает. Когда я пришел в себя и, призвав на помощь разум, с горьким смехом отчаяния окинул испуганным взором бездну, на краю которой, сам того не сознавая, очутился, отступать было поздно: участь моя была решена.

Первая мысль несчастных — умереть; это выход простой и естественный, потому что разом решает все проблемы и выводит из всех затруднений. Но что, если вместо того, чтобы приблизить день, когда я увижусь с любимой в лучшем мире, такая смерть навсегда разлучит меня с ней? Мысль эта была мне внове и остановила мою руку. С одной стороны было светлое будущее, которого я мог добровольно лишиться, с другой — невозможность примириться с горестной судьбой. И я с болью в сердце осудил себя на жизнь без надежды, но и без страха, чтобы дождаться дня, когда две души, освободившись от земных пут, встретятся, узнают друг друга и соединятся навсегда. Любимая стала для меня предметом вечного поклонения; я воздвиг ей в своей душе нерушимый алтарь и навеки принес себя в жертву. Нужно ли мне объяснять вам, синьора, что, когда план этот созрел в моей душе, к моей неизменной грусти примешалась толика радости? Я понял, что супружество, которое начинается вдовством и завершается обладанием, может быть счастливее обычных браков, кончающихся трауром. Я решил, что весь остаток земной жизни будет для меня долгим кануном свадьбы и только смерть принесет мне вечное блаженство; и я почувствовал необходимость удалиться от мира,

чтобы всецело отдаться чувству суровому и вместе с тем сладостному; это чувство не терпит соперников – и я иду в монастырь. Да простит Господь своему слабому созданию! Через три дня я принесу ему обет, и это даст мне право соединиться с любимой на небе. Позвольте мне под конец повторить, синьора, что теперь мне очень легко исполнить свое решение, – ведь ваше великодушное сострадание позволило мне питать надежду на то, что я не буду забыт.

– Через три дня! – воскликнула Полия... – Поистине, – продолжала она, – у меня слишком мало времени на размышления о тайне, которую вы мне доверили, чтобы составить мнение и тем более высказать суждение; но мне кажется, что, если женщина, ради которой вы готовы пойти на любые жертвы, знает о вашем решении и не противится ему, она недостойна ваших жертв.

– Она не знает о нем, – сказал Франческо, – ибо она не знает о моей любви. О, разумеется, мысль о том, что ей известна моя любовь, что она ко мне не вовсе безразлична и могла бы удостоить мои чувства хотя бы каплей жалости, принесла бы моему сердцу несказанное утешение! Быть может, самая жестокая из всех мук любви – сознавать, что избранница и не подозревает о твоих чувствах; быть может, самый страшный ответ для влюбленного – это глухое равнодушие, какое испытывают к чужому человеку. Но зачем обрекать покойное и счастливое сердце на муки, которые оно не в силах вынести? Если бы дама отвергла мою страсть, я немного выиграл бы, удостоверившись в том, что печальные предчувствия меня не обманули; а если бы мне ответили взаимностью, мне пришлось бы страдать за двоих. Что я говорю? Страдать за двоих! С собственным отчаянием я уже свыкся; оно – часть моей жизни. А ее отчаяние убило бы меня.

– Вы слишком далеко заходите в ваших предполо-

жениях, Франческо, — живо ответила Полия. — Кто знает, быть может, она испытывает те же тревоги и муки, что и вы? Кто знает, не ищет ли она случая открыть вам свои чувства? Что бы вы сказали, если бы эта знатная и богатая девушка, чей блеск вас ослепляет, хотя, весьма вероятно, душа ее не более покойна, чем ваша, что сказали бы вы, Франческо, если бы она, свободная в своем выборе, предложила вам свою руку, если бы, подчиняясь благородному и властному чувству, она вам ее обещала?

— Что бы я сказал, Полия? — ответил Франческо сурово и с достоинством. — Я бы отверг ее. Чтобы иметь право любить ту, которую я люблю, надо быть достойным ее, и самым неустанным моим стремлением было облагородить мою душу, дабы возвыситься до нее. Какой дерзостью с моей стороны было бы принять из ее рук привилегии высокого положения, в котором отказывает мне общество! Какой было бы дерзостью воспользоваться милостями фортуны, ведь мой удел — безвестность и нищета. О, мне в тысячу раз легче вынести любые страдания, чем заслужить постыдную репутацию авантюриста, отвергнутого светом и разбогатевшего на любви!

— Я еще не кончила, — прервала Полия. — Вы чересчур щепетильны, но я понимаю и разделяю ваши чувства. Что поделаешь, свет требует порой странных жертв и вы считаете ниже своего достоинства обходить его законы; но натура, родственная вашей, могла бы ответить вам самоотречением иного рода. Высокое положение и большое состояние — причуды случая, от которых можно при желании избавиться; художник и поэт всегда художник и поэт; где бы он ни был, его всюду ждут успех и слава; но богатая и знатная женщина, которая нашла в себе силы отказаться от наследственных привилегий, по ту сторону пролива становит-

ся просто женщиной. Если бы эта женщина сказала вам: я отказываюсь от своего положения, я отказываюсь от своего состояния, я готова разделить с тобой твою нищету и полностью вверить тебе свою судьбу, – что бы вы ей ответили, Франческо?

– Я упал бы к ее ногам, – сказал Франческо – и ответил бы так: Ангел небесный! Сохраняйте положение и состояние, дарованные вам небом, оставайтесь тем, что вы есть; несчастный, способный воспользоваться нежным и возвышенным порывом вашего сердца, не заслуживал бы чести занимать в нем место. Ничто так не поможет ему возвыситься до вас, как постоянное смирение, легкое для того, кто надеется, а еще больше для того, кто любит. Я не хочу разлучать вас с сословием, к которому вы принадлежите не по случайности, а потому что так угодно Господу, и обрекать вас превратностям существования, отравленного бесконечными тревогами и лишениями, а быть может и горькими сожалениями. Блаженство мое беспредельно: оно превосходит все мои ожидания, ибо вы готовы были отдать мне все, что дозволяет отдать ваше доброе имя. Вы будете меня любить, – добавил бы я, – будете любить всегда – ведь вы не побоялись вверить мне свою судьбу. Вашу судьбу, о моя любимая! Я принимаю ее и обещаю хранить как святыню до того часа, когда мне придется держать за нее ответ перед Богом, нашим судией; ибо жизнь коротка даже для тех, кто страждет, что бы ни говорили об этом слабые духом. Земля – всего лишь юдоль испытаний, и если за те годы, что нам суждено провести на земле, узы, связующие вашу верную и преданную душу с моей, не ослабнут, то впереди нас ждет целая вечность!..

Помолчав несколько секунд, Полия воскликнула с воодушевлением:

– Да, да, Бог не создавал более святого и нерушимого таинства. Именно в духовном браке, неведомом дру-

гим людям, такая любовь, как ваша, может примирить чувства и долг, и ваша небесная супруга сказала бы вам то же самое, если бы она вас слышала.

– Она слышала меня, Полия, – произнес Франческо, вновь уронив голову на руки и залившись слезами.

– Итак, – продолжала Полия, словно не расслышав его последних слов, – через три дня вы облачитесь в сутану одного из религиозных орденов Венеции?..

–Тревизо, – поправил Франческо. – Я не хочу лишать себя радости изредка видеть ее!

– Тревизо, Франческо, где вы знаете меня одну?

– Вас одну, – отвечал Франческо.

В этот момент рука молодой княгини сплелась с рукой молодого художника.

– Мы и не заметили, – сказала она с улыбкой, – что гондола остановилась и мы вновь перед дворцом Пизани; впрочем, на земле нам больше нечего сказать друг другу. Однако ваше последнее прости не лишено нежности, и, если мы правильно друг друга поняли, наша первая встреча будет еще более нежной.

– Прощайте навсегда! – сказал Франческо.

– Прощайте навеки! – сказала Полия. Потом она вновь надела маску и сошла на берег.

На следующий день Полия была уже в Тревизо. Через три дня в доминиканском монастыре зазвонил колокол, возвещающий вступление в орден нового послушника и его смерть для мира. Полия провела весь день в домашней часовне.

Франческо легко смирился со своей новой жизнью. Иногда беседа с Полией казалась ему сном; но чаще он с детским восторгом перебирал в памяти мельчайшие подробности их разговора и даже поздравлял себя с тем, что, несмотря на свое незавидное положение, сумел внушить любовь, не боящуюся ни разлуки, ни превратностей судьбы. Он быстро привык делить свое

время между религией и живописью; он расписывал стены доминиканского монастыря чистыми и наивными фресками, которые сохранились до наших дней, хотя небрежность потомков и нанесла им немалый урон, но любимейшим предметом его занятий была книга, в которой он объединял видения, навеянные талантом и любовью. Он решил облечь обширное и странное порождение своего гения, выразившегося в этой книге полностью, в смутную форму сна, ибо не было, по его мнению, формы, более подходящей беспорядочному течению мыслей отшельника. Мы знаем, что иногда Франческо удавалось обменяться с Полией несколькими нежными словами; в один из этих редких моментов она позволила юноше посвятить ей причудливую поэму и, как он сам сообщает, помогла ему советом. Именно по ее совету он начисто отказался от обычного языка, на котором он задумал и начал поэму lasciando il principiato stilo*, чтобы творить на том ученом языке, где у него не было ни образцов, ни подражателей, и который рождался под его пером благодаря его ученым занятиям и знакомству со старинными книгами. Этот сладостный труд, сопровождаемый сладостными мечтаниями, занял целый год; Франческо оканчивал его, когда самая печальная весть, какая могла поразить его душу, проникла сквозь стены доминиканского монастыря. Молодой Антонио Гримани, ставший впоследствии адмиралом и дожем Венецианской республики, попросил руки Полии и, по слухам, получил согласие.

Это было в тот день, когда Франческо собирался преподнести Полии свою книгу. Скрепя сердце, он отправился во дворец и остановился на пороге ее покоев.

— Входите, брат мой, — сказала Полия, заметив его, —

---

*Отбросив язык обыкновенный (*ит.*).

познакомьте нас с чудесными секретами вашего искусства и покажите посвященное нам сокровище, которое вы скрываете от мира.

Одновременно она жестом удалила всех фрейлин и слуг, и Франческо остался с ней наедине.

Ноги у него подкашивались, на лбу выступил холодный пот, сердце бешено колотилось, грудь вздымалась так, что казалось, она вот-вот разорвется.

Полия подняла глаза от рукописи и посмотрела на монаха. Бледность Франческо, темные круги под опухшими от слез глазами, нервная дрожь открыли ей все, что происходило в душе ее возлюбленного. Она гордо улыбнулась.

— До вас дошли слухи о моем предстоящем браке с князем Антонио Гримани?

— Да, сударыня, — ответил Франческо.

— Что вы подумали, Франческо, об этом союзе?

— Что нет на свете мужчины, достойного вас, но что князь Антонио имеет больше прав на вашу руку, чем кто-либо иной, и что брак этот, по всей вероятности, будет исполнением желаний венецианцев... и ваших.

— Сегодня утром я ему отказала.

Франческо поглядел на Полию, словно ища в ее глазах подтверждения ее словам.

— Вы лучше, чем кто-либо, знаете, — продолжала Полия, — что я связана обетом с другим человеком, и обет мой нерушим; но я должна простить вам ваши подозрения, потому что вы дали клятву не только мне, но и Богу, а я не давала такой клятвы. Слушайте, Франческо. Завтра годовщина того дня, когда вы удалились в монастырь; во время заутрени вы вновь повторите свой обет, и он станет нерасторжимым и священным навеки. Изменили ли вы за год свое мнение о причинах и необходимости этой жертвы?

–Нет! Нет, Полия! – воскликнул Франческо, падая на колени.

– Я верю вам, – продолжала Полия. – Мои чувства тоже не изменились. Я приду завтра в церковь и всеми силами души присоединюсь к обету, который вы будете произносить, чтобы вы знали, Франческо, что впредь непостоянство Полии будет считаться клятвопреступлением и святотатством.

Франческо попытался ответить; но, когда к нему вернулся дар речи, Полии уже не было в комнате.

Радость была почти так же непереносима для молодого монаха, как и горе. Он не мог почувствовать себя счастливым, поскольку смена столь противоположных чувств отняла у него все силы, и нить его жизни готова была оборваться.

На следующий день во время утренней службы, когда монахи поднимались на клирос, Полия сидела на своем обычном месте, в первом ряду. Она встала со скамьи и преклонила колена посреди центрального нефа.

Франческо заметил ее. Он твердым голосом произнес обет, спустился по ступеням алтаря и прошел на паперть. Во время молитвы он простерся ниц, вытянув вперед скрещенные руки.

Когда служба закончилась, Полия вышла из церкви; монахи шли друг за другом, преклоняя колена у алтаря, но Франческо не двигался; это никого не удивило, ибо его часто видели простертым ниц без движения во время молитвы.

Подошло время вечерней службы; Франческо не двигался. Один молодой монах подошел к нему, нагнулся и взял его за руку, призывая к исполнению обычных обязанностей, потом распрямился, осенил себя крестным знамением, возвел очи горе и, повернувшись к братии, произнес: "Он мертв!"

Со времени этого события, одного из тех, которые так быстро стираются из памяти нового поколения, прошло больше тридцати лет, когда однажды зимним вечером 1498 года перед лавкой Альдо Пио Мануцио, которого мы называем Старшим, остановилась гондола. Через мгновение ученому типографу доложили о прибытии княгини Ипполиты ди Поли из Тревизо. Альдо выбежал ей навстречу, провел в дом, усадил в кресло и застыл, исполненный почтения к этой прославленной особе и восхищенный ее красотой, которой полвека жизни и страданий прибавили величия, не убавив блеска.

— Мудрый Альдо, — сказала она ему, положив на его стол туго набитый мешочек с двумя тысячами цехинов и объемистую рукопись, — подобно тому, как вы останетесь в глазах далеких потомков самым ученым и самым искусным типографом всех времен, автор книги, которую я вам вручаю, заслужит репутацию величайшего художника и величайшего поэта уходящего столетия. Будучи полновластной хозяйкой этого сокровища, с которым я расстаюсь лишь на то время, что понадобится вам на изготовление копий, я не хочу навсегда лишить возможности познакомить с ним умы, отмеченные небом и знающие цену творениям гения; но я бы хотела, чтобы вечную жизнь этой рукописи даровал типографский станок. Теперь вы понимаете, мудрый Альдо, чего я жду от вас: шедевра, достойного вашего имени, шедевра, способного принести вам бессмертную славу. Когда это золото будет израсходовано, я пришлю вам еще.

Затем Полия поднялась и обеими руками оперлась на руки сопровождающих ее женщин. Альдо проводил ее до гондолы, выражая свою покорность почтительными жестами, но не произнося ни слова, ибо ему известно было, что она отказалась от общения с мужчинами и провела более тридцати лет в полном одиночестве.

Книга, о которой идет речь, называется "Гипнеротомахия Полифила" – Hypnerotomachia di Poliphilo, cioe pugna d'amore in sogno, то есть Любовные битвы во сне, а не Битва сна и любви, как переводит господин Женгене, автор "Истории итальянской литературы". Мы вовсе не собираемся сделать отсюда вывод, что господин Женгене не знал итальянского языка. Мы более снисходительны к рассеянности талантливых людей.

– Теперь подпиши это любым именем, – сказал Лоурих, вставая, – у меня нет привычки ставить свое имя под такими пустяками, и видит Бог, что я поставляю букинистам подобные историйки единственно ради того, чтобы разжиться книгами.

– Пусть же хоть одна история из тех, что вам еще доведется сочинить, – сказал Апостоло, – обогатит вашу библиотеку книгой, подобной этой. Она ваша, и дважды ваша.

– Верно, – с довольным видом сказал Лоурих, беря в руки фолиант... – Вернее, она твоя, – весело продолжал он, передавая ее мне, – я ведь обещал ее тебе сегодня утром.

Вот как случилось, что самый замечательный экземпляр Полифила, великан среди моей лилипутской коллекции, пес pluribus impar*, занимает сегодня в ней почетное место. Я охотно показываю его знатокам, которые не могут не признать, что книга великолепна... и вдобавок досталась мне весьма недорогой ценой!

---

*Не уступающий и множеству (*лат.*).

ТРАКТАТЫ, ЭССЕ, СТАТЬИ О КНИГАХ, КНИЖНИКАХ И ЧТЕНИИ

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЗАКОННОСТИ. О ПЛАГИАТЕ, ПРИСВОЕНИИ ЧУЖИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПОДЛОГАХ В КНИЖНОМ ДЕЛЕ

Предисловие ко второму изданию

Перед вами – то из моих скромных сочинений, скромные достоинства которого меньше всего подвергались сомнению. Однако, написанное в весьма короткий срок в доме друга, где я скрывался, изнемогая под двойным гнетом – тяжелой болезни и незаслуженных гонений – и не имея в своем распоряжении ни одной книги, сочинение это, разумеется, изобиловало ошибками, неточностями, искаженными цитатами, не говоря уже о пропусках. Не поручусь, что мне удалось исправить все погрешности, но я всеми силами старался уменьшить их число в книге, которая мне дорога и тем, что снискала мне уважение и дружбу нескольких выдающихся людей, и тем, что, когда я писал ее, радость творчества заставляла меня забывать о тяготах жизни. Нынче я все проверил, все выправил, все изменил – во всяком случае, настолько, насколько позволили новоприобретенные знания. Я призвал на помощь все случаи и примеры, какие хранит моя память. Чтобы дать представление об их числе и разнообразии, достаточно сказать, что в именном указателе нового издания появилось добрых две сотни новых имен. Таким образом, это второе издание можно считать совершенно новой книгой, тем более что о первом нынче уже наверняка никто не помнит. В наши дни надо быть неслыханным гордецом, чтобы сокрушаться об этом. Сколь многое из того, что казалось долговечным, исчезло с лица земли за последние пятнадцать лет!

Именно поэтому в литературно-критической части

моего труда многое устарело. Недостатки литературной школы, бывшей в моде полтора десятка лет назад, остались в прошлом, о тех же, что пришли им на смену, я говорить не стану, дабы не вносить разброд в свою книжицу. Однако я счел своим долгом снабдить ее текст новыми примечаниями*, призванными напомнить, что с тех пор, как я сочинил книгу, утекло немало воды и что ветряные мельницы, с которыми я в ней сражаюсь, были некогда великанами. Для литературных великанов такие превращения не редкость.

В новом издании есть изменения, по поводу которых мне нужно объясниться с читателем, заверив его для начала, что в главном мои убеждения остались прежними: к религии, морали и законам я отношусь так же, как и раньше. Неизвестный во Франции никому, кроме полиции, которая, ревностно исполняя волю своего владыки, преследовала меня не столь жестоко, сколь неумело, я возомнил себя крупным политическим деятелем и простодушно признавался в этом, не подозревая, что выгляжу смешно. Говоря сегодняшним языком, в голове моей поселилась *навязчивая идея,* что я несчастен; ей сопутствовали меланхолия, подозрительность, раздражительность и гордыня, заслуживающие не столько насмешки, сколько жалости, ибо речь идет о бедняге, который провел юные годы в тюрьме или, что гораздо страшнее, спасаясь от тюрьмы, неистовства стихий, презрения и равнодушия людей. Кто мог бы перенести столько злоключений и нимало не возгордиться? Выпуская эту книгу в первый раз, я счел необходимым скрыть свое имя, тогда никому не известное, поскольку в ту пору человек, преследуемый за либеральные убеждения, ни у кого не вызывал

---

*Я ставлю эту помету (НП) только в тех случаях, когда время написания имеет принципиальное значение.

сочувствия; я заботливо скрыл свое положение в обществе, возраст, вероисповедание, так что всякий, кто стал бы судить о времени, когда вышла эта безобидная книга, по предосторожностям, каковыми я сопровождал ее публикацию, пришел бы в ужас, и совершенно напрасно: я заблуждался.

Впрочем, мне казалось забавным скрыть имя автора книги, где только и говорится, что о подобных проделках, и я заранее радовался при мысли, что останусь неузнанным; однако друзья разгадали мои уловки, а вскоре господин Этьенн, чье доброжелательное отношение к себе я чувствую и поныне, открыл передо мной новый, более счастливый путь. Я обязан был посвятить читателей в эту предысторию. В моей книге полным-полно занятных историй из литературной жизни, и я не простил бы себе, если бы скрыл ту из них, что касается меня самого.

Господину Вейссу, библиотекарю Безансонской городской библиотеки.

Не пугайся, друг мой, широковещательного названия этой брошюры. Я не стал юристом и поведу речь не о чем ином, как о тех ученых безделицах, что занимали нас с тобой доселе. Другой на моем месте возомнил бы себя Бартоло и, дай ему только волю, наговорил с три короба, я же ограничился самыми распространенными литературными правонарушениями, расцветив эту не слишком солидную основу кое-какими забавными историями, по случайности запавшими мне в память. Ты знаешь, что нынче у меня нет другого источника, ибо волею судеб я не могу ни приобретать книги сам, ни одалживать их у других; единственный доступный мне источник, откуда я черпаю названия и даты, – моя память, так что я служу сам себе скверным справочником. По правде говоря, хорошая память – не такой уж завидный дар, но есть люди и вещи, о которых мне приятно

вспоминать, и среди них на первом месте ты, мой старый добрый друг, которого я с каждым годом люблю все сильнее.

Ручаюсь, что тебе эта книга не принесет никакой пользы: на то есть две веские причины: во-первых, по свидетельству образованнейших людей нашего времени, не так-то просто сообщить тебе что-либо новое; во-вторых, книга моя отнюдь не блещет ученостью и безусловно не заслуживала бы чести быть изданной, если бы чести этой удостаивались только сочинения новые и увлекательные (что, впрочем, было бы вполне справедливо).

Все же ты найдешь здесь несколько суждений, достаточно дерзких, чтобы вызвать возражения. Я с радостью выслушаю их от тебя, равно как и от любого другого читателя, ибо заранее сдаюсь на милость всякого, кто что-нибудь понимает в литературе; но я без колебаний высказал здесь свои мысли, потому что мне нравится высказывать все, что я думаю. В морали ошибка чревата серьезными последствиями, а в критике она — такой пустяк, что я не сомневаюсь в снисходительности тех, кого ненароком задену. Одно могу сказать твердо: ничто так не чуждо моему сердцу, как желание обидеть чудака, не говоря уже о том, чтобы оскорбить гения. Допускаю, что мне случается рассуждать о материях, в которых я разбираюсь недостаточно хорошо, и молоть вздор, но я не вступаю в споры и не знаю ничего хуже, чем смущать покой почтенного человека, навязываясь к нему в друзья и мороча ему голову разными никому не интересными филологическими пустяками. По этой причине трудное ремесло журналиста всегда пугало меня, и, читая газеты, я неизменно сочувствовал авторам, которых трагическая необходимость заставляет всякий день приносить человеческие жертвы богу вкуса. Между нами говоря, на их месте я предпочел бы не трогать плохую книгу, которая благополучно канет

в Лету и без их помощи, и не терзать понапрасну ее создателя, который тихо-мирно пережил бы свое творение, даже не заметив утраты. Впрочем, не подумай, что слова мои — риторический прием и что я уподобляюсь Цицерону, вымаливающему у Цезаря прощение для Лигария. Мне нимало не жаль Лигария; книга моя — беспризорное дитя, и я открываю ее твоим именем лишь для того, чтобы хоть как-то позаботиться о ней. Если однажды я освящу нашу дружбу завещанием вроде Евдамидова, я постараюсь оставить тебе дщерь, более достойную своего опекуна.

Впрочем, эта книжица выполнит свою задачу, если останется после моей смерти скромным свидетельством моего глубочайшего уважения к твоему вкусу, моего восхищения твоими познаниями, моего почтения к твоему характеру и, главное, свидетельством нашей нерушимой дружбы.

Ш.Н.*

I

О подражании

Подражанием принято называть всякий перевод с мертвого языка, использованный в художественном произведении и не являющийся точной копией оригинала**.

---

*По причинам, изложенным выше, в первом издании это посвящение было подписано инициалами Э. де Н. Имя господина Вейсса, разумеется, также не было названо.

**Я говорю о художественном произведении, ибо в научных трудах дело, на мой взгляд, обстоит иначе, и вот почему: когда поэт, в особенности поэт драматический, заимствует остроумную или возвышенную идею и пересказывает ее своими словами, это нечто большее, чем цитата. Кроме того, изложение какой бы то ни было мысли изящным и мерным языком поэзии — само по себе уже достоинство, отличающее поэта от прозаика; наконец, этот вид заимствований освящен единодушным одоб-

Вергилий подражал Гомеру, Расин – трагическим поэтам Греции, Мольер – Плавту, Буало – Ювеналу и Горацию, и никому не приходило в голову упрекать их в этом. Другое дело – кражи у прозаиков средней руки: блестящие мысли, которыми можно поживиться, у них наперечет, но незначительность добычи едва ли не усугубляет тяжесть проступка. Монтень многое почерпнул у Сенеки и Плутарха, но он нимало этого не скрывает: "Я хочу, – пишет он о критиках, – чтобы они в моем лице обрушивались на Сенеку"*. Такие прекрасные главы, как "О том, что философствовать – это значит учиться умирать" (I, XX) и "Обычай острова Кеи" (II, III), изобилуют заимствованиями из Сенеки. Монтень, вероятно, не сознавал, до чего резко выделяется короткая, образная, афористичная и, как правило, *антитетическая* фраза Сенеки на фоне его собственного стиля, пространного без вялости и подробного без растянутости. К подражаниям относятся также заимствования из иноземной словесности нового времени. Прекраснейшие сцены из трагедий Альфьери и Шекспира были переложены для нашей сцены, философы минувшего столетия обязаны большинством своих рассуждений англичанам – и никто не вправе усмотреть здесь плагиат. Однако я убежден, что человеку порядочному не пристало выдавать за свои те яркие образы, которые он почерпнул из произведений иноземной или древней

рением критиков. Совсем иное дело – перевести, не сославшись, иностранного или древнего автора, рассуждающего о материях практических и сделавшего в той или иной области важные открытия, либо нашедшего новое применение открытиям, сделанным его предшественниками, либо по-новому рассказавшего об этих чужих открытиях. Такой беззаконный перевод – настоящий плагиат, очевидное воровство, если только он не сопровождается открытым или подспудным признанием в содеянном, каковым, например, испокон веков считается сохранение заглавия переведенной книги.

*Здесь и далее Монтень цитируется по изд.: Опыты. М., 1979.

словесности. Так что еще вопрос, благородно ли поступил великий Корнель, когда в своей трагедии "Ираклий" слово в слово повторил прекрасную и трогательную мысль Кальдерона:

Как за тебя судьба, Маврикий, мне отмстила!
Ты мертв, но и в гробу двух сыновей обрел;
Я жив, но некому мне передать престол...*

И уж безусловно неблагородно поступили наши критики, которые осыпали Кальдерона упреками в плагиате, даже не удосужившись выяснить, что прославленная комедия "Все правда, все ложь" сочинена на несколько лет раньше, чем "Ираклий". Я не говорю здесь о знаменитом "Сиде", весьма точно следующем трагедии Гильена де Кастро, которая, в свою очередь, являлась подражанием Диаманте, ибо в этом случае Корнель не только не отрицал сходства, о чем свидетельствует уже само название пьесы, но честно и открыто признавал, что многое заимствовал у испанского автора.

Вообще заимствования из сочинений нового времени, на каком бы языке они ни были написаны, — вещь не такая невинная, как заимствования из сочинений древних, и многие авторы, известные своей щепетильностью, решительно отвергали этот путь. "Я взял кое-что у греков и римлян, — пишет Скюдери, — но у итальянцев, испанцев и даже французов я не взял вовсе ничего, — ведь то, что является учебой, когда имеешь дело с древними, превращается в воровство, когда речь идет о новых". Конечно, на это можно возразить, что лучше брать чужое, как Корнель, чем творить свое, как Скюдери, но, хотя талант последнего был весьма скромен, приведенные слова обличают в нем человека здравомыслящего и честного, и к ним стоит прислушаться. Тех же мыслей придерживался и Ламот ле Вайе; в од-

*Корнель. Ираклий, д. I, явл. 33; перевод Ю.Корнеева.

ном из писем, процитированном Бейлем в статье "Эфор", он говорит: "Читать древних и пользоваться плодами их трудов – все равно что пиратствовать в чужих водах, но красть у своих современников, присваивая их мысли и создания, – все равно что раздевать людей на улице и грабить прохожих на Новом мосту. Я думаю, все авторы согласятся: лучше грабить древних, чем новых, а среди новых предпочтительнее обирать иноземцев, чем соотечественников. Литературное пиратство совсем не то, что морское: морские пираты уверены, что разбой в Новом Свете скорее сойдет им с рук, чем разбой у берегов Европы. Литераторы, напротив, охотнее рыщут в Старом Свете, ибо имеют все основания считать, что добыча их придется публике по вкусу... Этому правилу следуют по возможности все плагиаторы, хотя не все они поступают так по убеждению. Пуще всего пекутся они о том, чтобы не быть пойманными с поличным. Когда грабишь современника, следует соблюдать особенную осторожность, и горе плагиатору, если разница между тем, что он наворовал, и тем, что сочинил сам, окажется чересчур велика. Опытный глаз сразу увидит, что налицо не просто плагиат, а плагиат бездарный... Крадите, как пчела, никому не причиняя зла, – продолжает Ламот ле Вайе, – но не уподобляйтесь муравью, который утаскивает целиком спелые зерна".

Как бы там ни было, принято ограничивать подражание, или, если угодно, невинный плагиат, теми пределами, которые я только что очертил. Кто посмеет осудить писателя за то, что он неустанно обогащает родной язык чужестранными сокровищами? Пусть даже с точки зрения строгого моралиста поведение его небезупречно, вред тут невелик, а польза огромна; недаром кавалер Марино не постеснялся назвать того, кто завладевает добром соотечественников, разбойником, а того, кто присваивает имущество чужестран-

цев, — завоевателем. По правде говоря, гений знает и другие способы соперничества с иноплеменными народами, но общее мнение таково, что не стоит пренебрегать и этим.

An dolus, an virtus, quis in hoste requirat?*

Третий вид подражания, или узаконенного плагиата, заключается в стихотворном переложении мысли, которую соотечественник и даже современник высказал прозой. Например, великолепная корнелевская сцена "Милосердие Августа" — не что иное, как рифмованное изложение блестящего фрагмента "Опытов" Монтеня ("При одних и тех же намерениях воспоследовать может разное"), а сам Монтень слово в слово переписал этот кусок из Сенеки (см. примечание А в конце книги). Предшествующий абзац той же главы послужил источником знаменитых слов, которые Вольтер вложил в уста Гусмана, героя "Альзиры" (см. примечание Б), а Жан Батист Руссо почерпнул мысль и общий рисунок "Оды к Фортуне" из главы "О раскаянии" (Опыты, III, 2; см. примечание В).

Четвертый вид подражания — много более экзотический, но ничуть не менее распространенный — это обращение хорошего писателя к творчеству бездарного. Законы литературной республики оправдывают это правонарушение, поскольку оно позволяет обществу насладиться красотами, которые без вмешательства большого таланта остались бы в безвестности. Мы восхищаемся началом "Генриады", нимало не заботясь о том, что оно заимствовано у никому не ведомого Кассеня (см. примечание Г); нам никогда не приходило в голову обвинять Расина в воровстве за

---

*Хитрость и храбрость равны в битве с врагом! (*лат.*; Вергилий. Энеида, II, 390; перевод С.Ошерова).

то, что он списал у самого забытого из наших старых трагических поэтов свои прекрасные строки:

Покинет ли в беде господь своих сынов?
Он пропитание птенцам ниспосылает
И от щедрот своих всем тварям уделяет*.

"Дю Рийе сказал прежде господина де Вольтера, – пишет Мармонтель, – что не по внутренностям жертвы определяется будущее (см. примечание Е); великий Корнель в балете "Психея" воспользовался для описания ревности теми же оборотами и образами, что и Теофиль в "Пираме" (см. примечание Ж), но разве заметны в этих смутных набросках изобретательность и вкус гения? И если поэты, первыми высказавшие счастливую мысль, выразили ее плоско, низменно и грубо, если они не смогли приискать верных слов и разрушили все ее очарование, разве не вправе поэты следующего поколения возвратить ей первозданную чистоту и пре-

---

*Перевод Ю.Корнеева. Заметим, впрочем, что заимствование это не так уж невинно, и если оно не наделало шума, то причиной тому путаница, помешавшая и Вольтеру, и пошедшему по его следам Сабатье де Кастру, который, как известно, сам не без греха по части плагиата, разобраться в сути дела. Оба эти автора, чьи имена довольно странно видеть рядом, обвиняют Расина в том, что он воспользовался забытой трагедией Пьера Матье "Лига", где, правда, заметны проблески таланта и даже имеется прекрасный диалог в духе Сенеки, который, как мне кажется, не ускользнул от внимания Корнеля, но нет ни одной строчки, хотя бы отдаленно напоминающей Расина. После долгих поисков я набрел на довольно-таки расплывчатую статью во "Всемирной биографии", автор которой мог бы исчерпать суть дела, если бы заглянул в упоминаемую им книгу; благодаря его подсказке я выяснил, что Вольтер и Сабатье перепутали "Лигу" Пьера Матье с "Триумфом Лиги" Р.Ж.Нерея, изданным в Лейдене, у Тома Бассона, в 1607 г. (12°). Именно этого автора Расин ограбил с необычайной дерзостью, в чем читатель может убедиться, заглянув в примечание Д. Напоследок скажу, что Нерей – греческого происхождения и скорее всего является псевдонимом, под которым скрывался выдающийся поэт своего времени, чье настоящее имя еще предстоит разгадать.

лесть? Разве можно, положа руку на сердце, порицать гения за то, что он обратил медь в золото?"

В самом деле, проступок этот считается настолько невинным, что Вергилий гордился жемчужинами, извлеченными из Энниевой навозной кучи*, а Мольер, вставивший в "Проделки Скапена" две остроумные сцены, которыми однажды уже рассмешил парижан Сирано, сказал в свое оправдание, что всякий вправе брать свое добро там, где его находит**. Не все, что дозволено Мольеру, дозволено Мариво, и тем не менее автор „Игры любви и случая" не побоялся повторить. "Взаимное испытание" Леграна, которое до сих пор входит в репертуар театров; у драматургов такое воровство вообще в большом ходу, и тому есть причина: поскольку одно из главных достоинств комедии состоит в изображении нравов, каковые беспредельно изменчивы и разнообразны, самые выигрышные сюжеты со временем устаревают, если обыгрывают частные случаи и не поднимаются до высокой комедии с ее яркими характерами. Поэтому неудивительно, что многие авторы считают себя вправе использовать сюжет пьесы, которая утратила очарование, ибо лишилась правдивой атмосферы и узнаваемых нравов, необходимых дра-

*Любопытную коллекцию таких жемчужин приводит Макробий в шестой книге своих "Сатурналий", где речь идет о плагиатах Вергилия. Трудно назвать более поучительное и увлекательное филологическое исследование, чем этот труд, где творения величайшего гения древности сравниваются с сочинениями его предшественников.

**Да и сам Сирано, по праву считающийся писателем весьма своеобычным, сочинил "Прученного педанта" под несомненным влиянием комедии Джордано Бруно "Подсвечник", Мольер же высмеял педанта не только в "Проделках Скапена", но и в написанных раньше комедиях "Любовная досада" и "Брак поневоле". Впрочем, он мог воспользоваться и непосредственно "Подсвечником", поскольку бурлескная сцена с господином Бобине из "Графини д'Эскарбаньяс" слово в слово повторяет одну из сцен этой итальянской комедии.

матическому сочинению ничуть не меньше, чем увлекательная интрига и стройная композиция. Если поэту удалось заново решить эту важную и сложную задачу, он безусловно достоин всяческих похвал, пусть даже ему не принадлежит ни замысел пьесы, ни последовательность сцен. Эти соображения вполне применимы к остроумному сочинителю комедии "Два зятя", которого злые языки наперебой обвиняли в плагиате. Отчего это всякий новый талант у нас незамедлительно навлекает на себя жестокие и несправедливые упреки? В утешение одному из самых даровитых наших писателей скажем только одно: посредственность никогда не становится жертвой столь злобных нападок. Колыбель гения подобна Геракловой – ее окружают змеи*.

Еще более откровенен пятый вид узаконенного плагиата, при котором вору приходится призвать на помощь всю свою изобретательность и терпение. Я имею в виду *центон* – своего рода поэтическую мозаику, плод прихотливого воображения литературы времен упадка, не освященный ни одним классическим именем, ибо ни Фальконию (или Фальтонию) Проба, ни Капилупи классиками не назовешь, а центоны Авсония стоят в его творчестве особняком. Центоном, как известно, называется стихотворение, которое составлено из стихов

---

*В ту пору, когда я писал эти строки, постыдные препирательства по поводу комедии господина Этьенна были еще свежи в памяти читателей, сегодня же никто и не помнит об этой истории, а автор "Двух зятьев", посвятивший себя трудам иного рода, которые принесли ему не менее заслуженную известность, многажды доказал с тех пор, что для того, чтобы занять почетное место на нашем Парнасе, ему не было нужды черпать вдохновение в старой школьной комедии. Что же касается до меня, я счастлив, что мне не пришлось менять ни вкусы, ни привязанности (НП).

или полустиший, принадлежащих одному или нескольким древним поэтам и обретающих по воле автора центона новые значения, весьма далекие от первоначальных. Эта детская забава нынче совсем забыта; место ее заняли акростихи и стихи, где все строки начинаются с одной и той же буквы; впрочем, многие стихотворцы и по сей день владеют искусством сочинения центонов, однако они уже не дают своим творениям таких откровенных заглавий и тщательно скрывают от читателей свои источники.

II

О цитации

Самым оправданным из всех заимствований, безусловно, является цитация; без нее не обходится ни литературный критик, ни ученый. Скромность, с какой писатель, словно не доверяя самому себе, подкрепляет свою мысль ссылкой на чужой авторитет либо высказывает ее чужими словами, украшает писателя, но все хорошо в меру — на мой взгляд, даже Монтень иногда злоупотребляет цитатами, которыми, как он сам говорит, "нашпигован" его труд. Нынче из печати то и дело выходят своего рода центоны в прозе; сочинять их легче легкого: стоит только надергать фраз из книг, имеющихся в любой библиотеке, и расположить их как бог на душу положит. Иногда авторы этих "центонов" дают себе труд назвать в набранном мельчайшим шрифтом примечании ту книгу, откуда они почерпнули свои сведения, но делают они это крайне редко, да и то лишь для отвода глаз: притворяясь добросовестными, они надеются отвести от себя более чем обоснованные подозрения в постоянном жульничестве. Перелистывая новейшие фолианты, я убеждаюсь, что если выбросить

из них все, что не принадлежит их авторам, то от книг этих, как от труда историка Эфора, состоявшего из трех тысяч чужих строк, не останется ничего, кроме оглавлений. По свидетельству Дювердье и Ламоннуа, так же, как Эфор, поступал некий Жан де Корр, более, насколько мне известно, ничем не замечательный. Владел этим искусством и Жан де Кора (возможно, это одно и то же лицо), которого Дуаренус, намекая на его разбой, именует *κόραξ**. Коломьес столь же невысокого мнения о Полициано. Бейль упоминает некоего Викторена Стригелия, еще более бесстыдного плагиатора, который не только имел наглость признаться в воровстве, но и предлагал авторам, которых он обокрал, отвечать ему тем же. Я больше ничего не знаю об этом Стригелии, но я очень сомневаюсь, чтобы кто-либо принял его предложение, хотя вообще-то нет сочинителя, в чьих книгах не нашлось бы поживы для плагиатора. Возвращаясь к цитатам и злоупотреблению ими, скажу, что вряд ли кому-либо удалось превзойти философа Хрисиппа, который так щедро уснащал свои сочинения ненужными цитатами, что однажды переписал целиком "Медею" Еврипида. С этой на удивление расширительной трактовкой права одного автора цитировать другого может сравниться только легкомыслие Доле, который в свои "Комментарии к латинскому языку" втихомолку вставил целиком сочинение Баифа "О морских вещах". У древних, впрочем, ссылки были не в чести: современники хвалили Эпикура за то, что он написал три сотни томов о разных разностях, ни разу не упомянув своих предшественников, что, однако, отнюдь не означает, будто он не заглядывал в их труды, ибо писатель, высказавший так много новых и своеобычных мыслей, был бы гением совсем иного размаха, нежели Эпи-

---

*Ворон (*греч.*).

кур. Незачем сочинять три сотни томов — трех сотен верных и совершенно новых строк хватило бы, чтобы затмить гениев всех времен.

III

Об аллюзии

Намек, или аллюзия, есть умение к месту привести цитату, придав ей смысл, какого она первоначально не имела. Автор искусно вставляет в свою речь чужую мысль, которая хорошо знакома каждому и не нуждается в подписи, стремясь не столько подкрепить свое мнение ссылкой на авторитет, сколько призвать на помощь память читателя и обратить его внимание на сходство новой ситуации со старой. Все это легко пояснить на примере. Когда Интиме говорит:

И на челе носил печать деяний славных*, —

то это не цитата в прямом смысле слова, а аллюзия, причем то, что слова эти в обоих случаях сказаны об отцах персонажей, делает ее еще забавнее. Корнель напрасно заподозрил Расина в желании передразнить и высмеять его — ведь для аллюзии годятся лишь прекраснейшие и всем памятные строки, иначе сходство, о котором говорилось выше, ускользнет от внимания читателя. Соль аллюзии из "Сутяг" — в сближении таких далеких вещей, как проделки судебного исполнителя и деяния прославленного полководца, и сравнение тем смешнее, чем разительнее контраст.

Блестящий пример аллюзии вы найдете в речи Флешье над гробом Тюренна. Флешье начинает не с Тюренна, а с Иуды Маккавея, но слушатели, захваченные этим столь естественным и удачным сравнением, благодарны

---

*Перевод И.Шафаренко (*Ред.*).

оратору за открывшийся их уму простор. Флешье сравнивает великие события священной истории с великими событиями истории нового времени, и все великолепие церковного красноречия служит в его устах прославлению христианского воина. Сколь бы ни был достоин восхищения человек, о котором идет речь, прямому рассказу о нем не сравниться с этой риторической фигурой.

Таким образом, аллюзия не только не считается плагиатом, но, напротив, делает честь изобретательному уму того, кто владеет ее искусством. Цитата в собственном смысле слова свидетельствует лишь о наличии обычных и легкодоступных познаний, меж тем как удачная аллюзия порой обличает гений.

IV

Об общности идей, бессознательном заимствовании и сходстве сюжетов

Бывают случаи, когда плагиат, казалось бы, несомненен, однако автор заслуживает снисхождения, поскольку ясно видно, что он в нем не повинен. Я имею в виду такие случаи, когда один и тот же предмет или предметы очень сходные вызывают у разных авторов одни и те же мысли. Так, Филипп де Коммин, нередко вынужденный по ходу своего повествования говорить о неблагодарности сильных мира сего и об осторожности, с какой следует им служить, изъясняется следующим образом: "Не более оказывайте услуг своему господину, чем способен он вознаградить по справедливости". И сходится с Тацитом, который говорит: "Благодеяния приятны лишь до тех пор, пока кажется, что за них можно воздать равным; когда же они намного превышают такую возможность, то вызывают вместо

признательности ненависть" (Анналы, IV, 18)*; то же пишет Сенека: "Тот, кому стыдно не воздать за благодеяния, хочет, чтобы отдавать было некому" (Нравственные письма к Луцилию, 81, 32)**. Тех же мыслей придерживается и Квинт Цицерон: "Кто считает, что он перед тобой в долгу, тот никоим образом не может быть твоим другом" (О домогательстве консульства, 9). Сходство здесь, по моему убеждению, объясняется общностью мыслей – вещью вполне естественной и весьма далекой от плагиата. Совпадение мнений еще более понятно, когда двое ученых рассуждают об одних и тех же материях, опираясь на одни и те же источники. Поэтому не прав был Ламбен, возмущавшийся сходством суждений Джованни Микеле Бруто о Цицероне со своими комментариями к этому автору; Бруто совершенно справедливо опроверг обвинения в плагиате: "Не всякий, кто у другого взял, – украл; вор не тот, кто, беря чужие слова, указывает их автора и его хвалит, но тот, кто усердно ищет чужие плоды и о том молчит"***.

В превосходной книге, именуемой "Менажиана", Менаж или кто-то из его друзей рассказывает, как он однажды сочинил на латыни эпиграмму, которой остался весьма доволен, а через несколько лет имел несчастье обнаружить эту самую эпиграмму, от слова до слова, в сборнике Мюре, которого до тех пор, если я не ошибаюсь, не открывал. Совпадение до того странное, что кажется невероятным. Я и сам могу привести

---

*Перевод А.С.Бобовича (*Ред.*).

**Перевод С.Ошерова (*Ред.*).

***Разграничение это кажется мне весьма разумным; оно пригодилось бы парижским судьям, разбиравшим знаменитые дела о плагиате, причем имело бы тем больший вес, что человек, давший плагиату такое превосходное определение, сам был обвинен в этом грехе.

несколько подобных примеров, правда, не столь поразительных, ибо совпадение в этих случаях не было дословным. Следовательно, не стоит безоговорочно обвинять в плагиате всякого писателя, в чьем сочинении встретятся строки, похожие на строки другого автора; прав был шевалье д'Асейи:

Коль мне блеснуть словцом случится,
Уж древность тут как тут — и тщится
Оспорить первенство мое.
Какая бойкая девица!
Чтоб в чем-то обогнать ее,
Я раньше должен был родиться*.

Бессознательные заимствования — мнимый плагиат, близкий к только что описанному, но более предосудительный, поскольку его легче избежать. Впрочем, некоторые авторы охотно объясняют забывчивостью и самый настоящий плагиат. Если в классической пьесе Расина, в сцене, которую всякий знает наизусть, сказано:

И этот Бурр, увы, с Сенекой этим злым,
Что ныне... Но тогда их чтил глубоко Рим, —

то, разумеется, трудно найти оправдание Вольтеру, аккуратно переписавшему эти стихи:

---

*Судя по всему, д'Асейи нередко предъявляли подобное обвинение, и он принимал его близко к сердцу. В другом месте он говорит:

Удастся ль мне вещица небольшая –
Сейчас же древность в крик, раздражена:
"Все тащишь ты из эллинского края!"
Седин ее не уважая,
Скажу открыто: лжет она.

А вот еще одно его признание:

Едва создам я эпиграмму,
Как древность в тот же миг упрямо
Свой гордый возвышает глас:
"Дружище, признавайся прямо:
Ты обокрал меня сейчас".
Лжет! лжет и не боится срама –
И, поклянусь, не в первый раз.

И этот же Бирон, горячий, полный сил,
Что ныне... Но тогда он добр и честен был*.

Несколько лет назад тем же оборотом воспользовался, выступая в Академии, господин Мори, однако, перенесенные из поэзии в прозу, слова эти могут считаться всего лишь аллюзией. Иначе обстоит дело с Ламоттом, который слово в слово переписал известнейшую строку Вольтера:

Стал первым королем удачливый солдат, –

и с Делилем, присвоившим прекрасную строку из трагедии Сорена "Бланш и Гискар":

Ночь трудно коротать печали неутешной!

В поэме "Воображение" он повторил эту удачно найденную фразу, изменив ее ровно настолько, чтобы чуть-чуть ее ухудшить:

Ночь трудно скоротать печали неутешной.**

Сознаюсь, я с трудом могу поверить, что подобные совпадения рождены одной лишь забывчивостью.

Впрочем, если те случаи, о которых мы говорили, нельзя назвать плагиатом в собственном смысле слова, то случаи, когда похожи не отдельные детали, а сюжет в целом, и подавно не плагиат. Сюжеты, почерпнутые из мифологии, истории или священных книг, – всеобщая собственность, и нет ничего предосудительного в том, чтобы их использовать, если, конечно, сходство

---

*Не менее дерзко обошелся Вольтер с Сарразеном, у которого украл прекрасное описание коня, восходящее к книге Иова; об этом и некоторых других плагиатах Вольтера см. примеч. З.

**Не разделяя полностью мнения господина Кастиль-Блаза, именующего Делиля "аранжировщиком", я не могу отрицать, что поэт этот охотно заимствовал чужие идеи и даже выражения. Доказательством сему должен послужить пример, приведенный в примечании И. Это один из самых замечательных образцов Делилевых краж, процитированный со всеми отягчающими вину подробностями. Хуже всего то, что автор поэмы "Воображение" ничуть не улучшил здесь стиль автора поэмы "Декламация", а стоило ли в таком случае обкрадывать Дора? (НП).

не идет дальше названия и общего рисунка произведения, который окажется одинаковым у большинства авторов, поскольку представления людей об основах бытия в общих чертах совпадают. Поэтому не правы те, кто искал в "Адаме" Андреини и "Плоти" Масения источник великой поэмы Мильтона. Если между жалкой писаниной двух названных поэтов и "Потерянным раем" и существует какое-то сходство, о плагиате тут говорить не приходится. Что же касается сходства, то было бы очень странно, если бы оно отсутствовало совсем, ибо с тех пор, как люди стали сочинять, они всегда совпадали в каких-нибудь деталях, если писали на одну и ту же тему*.

---

*Не помешает лишний раз повторить, что нынче об оригинальных идеях не может быть и речи: число их ограничено, а если запас ограничен, то рано или поздно он подходит к концу; бесконечно только разнообразие форм, в которых воплощаются идеи, и их сочетаний. Писатель, которому приходят в голову самые дерзкие мысли, может выразить их так заурядно, что читатель не заметит ничего, кроме причуд больного сознания; напротив, изобретательный автор умеет найти для давным-давно известных мыслей непривычные и новые слова, которые поражают и чаруют читателей. Если Вальтер Скотт, явившийся во всех отношениях так вовремя, признан одним из своеобразнейших умов нашей эпохи, то уж, конечно, не за сюжеты своих романов, которые почти всегда довольно заурядны. Мастерство Вальтера Скотта – в умении рисовать правдивую картину экзотических нравов, воссоздавать дивную прелесть неведомых нам пейзажей, точно передавать образ мыслей и речь народа, с которым он нас знакомит. Чудесный и редкостный дар, но, знай мы, в чем заключается секрет вальтер-скоттовского мастерства, мы были бы разочарованы: весь секрет в том, что он берет зеркало и умело его располагает. Что же до изобретения новых идей, этим не может похвастаться не только Вальтер Скотт, но даже Мольер или Лафонтен. В эпоху, когда блистали эти гении, человечество давно уже исчерпало круг новых идей; уже Соломон знал, что ничто не ново под солнцем. Поэтому ни Мольер, ни Лафонтен, ни Вальтер Скотт не плагиаторы, хотя никто не шел более откровенно, чем они, по проторенному пути. Эта мысль, достаточно очевидная применительно к двум первым писателям, может быть легко доказана и по отношению к третьему. Своей славой он обязан двум

Впрочем, мелких людишек гложет при виде творцов эпопей такая зависть, что, появись на свет новый Мильтон, они вновь встретили бы его упреками в плагиате. Разве не знаем мы попыток выдать самое неуклюжее и смехотворное детище нашего еще не сложившегося языка за источник "Генриады"? Что же из этого вышло? Злосчастную поэму, которую, возможно, не читал и сам Вольтер, не смог одолеть ни один читатель; наветы критиков забыты, а "Генриада" по праву считается добротной, хотя и не первоклассной эпопеей, причем если она чем и замечательна, то прежде всего стилем, а уж его-то Вольтер никак не мог заимствовать у своего предшественника.

Вообще, мы слишком часто обвиняем литераторов в плагиате, не имея на то достаточных оснований, — а ведь обвинение это достаточно серьезное, и человек порядочный не может отмахнуться от него, особенно если противники подкрепляют свои обвинения фактами, выглядящими довольно убедительно. Однако при добросовестном и просвещенном подходе бóльшая часть подобных обвинений рассыпается в прах. Сколько было разговоров о том, что Амио списал свой перевод Плутарховых "Жизнеописаний" с итальянского перевода Алек-

---

обстоятельствам — знанию шотландской истории и умению изобразить местные суеверия. На мысль черпать сюжеты из истории родной страны Скотта, по всей вероятности, навел знаменитый роман мисс Джейн Портер "Шотландские вожди". Вниманию к народным верованиям писателя научил, возможно, роман леди Мэри Гамильтон "Семейство Пополи", где выведена колдунья Мегги Макферсон —прообраз всех его ведьм. Оба названных романа отличаются от романов Вальтера Скотта тем, что жизнь в них чересчур опоэтизирована и изображена без той правдивости, которая принесла популярность Скотту; у предшественниц его недостало вкуса, наблюдательности и всех прочих качеств, отличающих настоящего творца, хотя этим дамам и принадлежит, если можно так выразиться, право первенства. Итак, оригинальной может быть только форма; идей нынче не изобретают – а возможно, не изобретали никогда, и гений обречен представлять старые идеи в новом свете (НП).

сандро Батисты Джакомелли, изданного в Акуилее в 1482 году? Сколько раз перевод Амио приписывали некоему Момону, эллинисту, который не оставил никаких переводов, кроме сочинений Юстина, переведенных к тому же с латыни? Сторонники этой версии упустили из виду, что, когда вышел перевод Плутарха, Момон был еще жив и не имел никаких причин уступать свои лавры другому.

Наконец, разве не уверял аббат Лебеф, что Амио, епископ Осеррский, пользовался в работе над Плутархом помощью тоннерского адвоката Люи, отлично знавшего греческую грамматику? Само разнообразие этих толков свидетельствует об их безосновательности. Тем более что достоинства перевода Амио, как известно, состоят не столько в педантичной верности оригиналу, сколько в умении найти стиль, точно отвечающий теме, то есть исполненный силы, простодушия и прелести, а уж отказать искусному перелагателю Лонга и Гелиодора в знании родного языка не смеет никто, и здесь ни Люи, ни Момон, не говоря уж об итальянце Джакомелли, не могут с ним тягаться. Всякий знает, что так же упорно преследовали недоброжелатели ученого Пьера Белона, хотя простосердечие и подкупающую прямоту его манеры трудно спутать со стилем какого-либо другого автора. Оскорбительная эта молва была поддержана господином де Ту, который писал, ссылаясь на людские толки, что Пьер Белон, служа у Жиля из Альби, завладел рукописями хозяина и издал их, даже не упомянув имени истинного автора; впрочем, добавляет де Ту, любители словесности должны быть благодарны этому вору за то, что, в отличие от многих других, он не уничтожил доставшиеся ему бумаги.

Сцевола де Сент-Март в своем похвальном слове Жилю из Альби выдал это предположение за истину; справедливости ради отметим, что почти никто не пытался

опровергнуть эти лживые домыслы, пока Лирон в своих "Исторических и литературных курьезах" (Т. I. С. 438 и след.), Нисерон в своих "Записках" (Т. XXIV. С. 40) и Давид Клеман в "Занимательной библиотеке" (Т. III. С. 104) не доказали их полную несостоятельность. Такие ученые, как Томасий, Толлий, Ломейер, Эберкромби, Байе и Обер Ле Мир, поверили на слово Сент-Марту. А между тем ряд обстоятельств неопровержимо доказывает, что Белон не плагиатор: во-первых, трудно поверить, что он был слугой в доме Жиля, ведь еще до того, как отправиться в путешествие по Востоку, он получил в Париже степень доктора медицины и, следовательно, ни в коем случае не стал бы *прислуживать*, в любом значении этого слова; во-вторых, большую часть своих книг, близких по манере и по значимости, Белон опубликовал при жизни Жиля и тот никогда не оспаривал принадлежность их Белону; в-третьих, Жиль умер в Риме в 1555 году, а Белон в это самое время находился в Париже, где заканчивал печатание "Истории птиц" и "Истории рыб", – согласитесь, что ему было бы весьма затруднительно украсть рукопись, находящуюся на другом конце Европы. Итак, Белона оклеветали – оклеветали жестоко и незаслуженно; впрочем, естествоиспытатели вообще подвергаются подобным нападкам чаще других, поскольку их сочинения, строящиеся на наблюдениях и фактах, чаще других совпадают с сочинениями их соперников. В конце тридцать восьмой книги своей "Истории" де Ту рассказывает, сколько подозрений вызвал Ронделе, якобы списавший "Трактат о рыбах" из неизданных комментариев к Плинию Гийома Пеллисье, епископа из Монпелье; однако, поскольку трактат вышел в свет еще при жизни этого прелата, Нисерон сомневается в том, что он был плагиатором. А ведь проверить это было легче легкого – "Комментарии" Пеллисье хранились в парижской Библиотеке ордена иезуитов (см.: Христианская Галлия.

Т. VI). К тому же Ронделе сам признается в предисловии, что почти всеми своими познаниями и трудами обязан ученому епископу из Монпелье, – одного этого достаточно, чтобы опровергнуть злобную клевету.

Ведя речь о несправедливых обвинениях в плагиате, невозможно умолчать о злополучной тяжбе Академии с Фюретьером и о прискорбных преследованиях, которым обладатели власти подвергали обладателя знаний, – преследованиях тем более достойных сожаления, что слишком уж велика оказалась разница между плодами усилий гонителей и гонимого, ибо творение сорока бессмертных ниже всякой критики, а словарь предприимчивого и терпеливого аббата из Шаливуа навеки останется одним из драгоценнейших памятников нашего языка. Да будет мне позволено заметить, коль скоро речь зашла о словарях, что Фюретьеров словарь, бесспорно, превосходит академический уже одним своим построением, ибо его отличает цельность замысла и исполнения, которой полностью лишено творение академиков, не скрепленное единой волей. Словарь Академии своей вялостью и нерешительностью вызывает недоумение и наводит скуку, меж тем как словарь Фюретьера увлекает читателя и приковывает к себе его внимание; французский язык у Фюретьера такой живой и энергичный, что, если бы речь шла не о словаре, его можно было бы назвать остроумным, – все это лишний раз доказывает, что самые скромные роды словесности нуждаются в упорядоченности и гармонии не меньше, чем возвышеннейшие творения человеческого духа. Мысль поручить составление словаря целой комиссии – одно из искренних заблуждений нашей премудрой эпохи. Если правда, что Академия отказалась от этой затеи и доверила сочинение словаря одному из самых образованных, здравомыслящих, безупречных и пунктуальных литераторов нашего времени,

этому можно только порадоваться. Значит, у нас есть надежда увидеть наконец словарь, достойный нашего старейшего литературного общества и его высоких целей, словарь, который по праву можно будет назвать созданием бессмертным. Вернемся, впрочем, к Фюретьеру. Повторяю, сколько бы ни обвиняли его в плагиате, это не меняет дела: превосходство его словаря не подлежит сомнению. Между прочим, публике по душе удачливые воры; уж лучше бы Академия ограбила Фюретьера! Увы, она уступила эту честь иезуитам, которые в 1704 году переиздали словарь Фюретьера, значительно расширенный в 1701 году Банажем, не упомянув ни того, ни другого; книга эта, известная под названием Тревуский словарь, не раз переиздавалась и постепенно стала одной из крупнейших и богатейших сокровищниц языка, каковой и пребудет, если господин Рейнуар не завершит свой труд или если досадное пренебрежение нынешней публики к полезной литературе покроет это великое начинание мраком забвения.

Замечательно, что, сколько раз ни вставал вопрос о плагиате, на несправедливые обвинения всегда находились опровержения: рано или поздно истина всегда торжествует. Большинству читателей Белона и Ронделе не было дела ни до Жиля из Альби, ни до Гийома Пеллисье, а те, кто по сей день заглядывают в Тревуский словарь, слыхом не слыхивали, что Академия оспаривала право на него у многознающего и трудолюбивого Фюретьера. Но есть случаи, когда подозрения подобного рода не так уж безосновательны, хотя, за неимением точных данных, осторожные библиографы доселе высказываются о них весьма уклончиво. Как важно было бы, к примеру, расшифровать загадочную рукописную помету Дю Тийо на полях знаменитых "Максим" Ларошфуко: "Говорят, что к этим замечательным размышлениям приложил руку Корбинелли, что именно он приду-

мал их и ему же обязаны мы их неповторимым стилем. Как бы там ни было, достоверно известно, что он с гордостью называл себя автором значительной части этого сочинения и что занятия такого рода были ему весьма по душе, ибо он обожал изъясняться максимами, и бумаги его пестрят ими". Эту версию подтверждает сообщение господина Барбье о хранившейся некогда в Библиотеке Государственного совета неизданной рукописи Корбинелли под названием "Тацит в максимах".

Сознаюсь, что долгое время я склонен был полностью доверять этой гипотезе Дю Тийо, тем более что однажды мне пришлось сравнивать стиль "Мемуаров" Ларошфуко со стилем его "Максим" и я убедился в их разительном несходстве. Ларошфуко не принадлежит к *авторам одной книги*, которые целиком и полностью обязаны своей славой нескольким удачным страницам; даже не будь он автором "Максим", он все равно остался бы одним из значительнейших наших литераторов и государственных деятелей; более того, если верить остроумным моралистам нашего времени, которые, будучи счастливее либо добрее своих предшественников, судят общество не так строго, как Ларошфуко, было бы лучше, если бы он вовсе не писал их, – по всем этим причинам мне не было бы жаль лишить его славы создателя "Максим" и приписать эту честь Корбинелли, чтобы хоть как-то оправдать безграничное уважение, которое питали к этому писателю, прожившему такую долгую жизнь и оставившему так мало книг, госпожа де Севинье, Бюсси-Рабютен и даже сам господин де Ларошфуко. Версия Дю Тийо объясняет огромную разницу между стилем "Мемуаров", ясным, гладким, естественным, подчас свидетельствующим о незаурядном мастерстве, но повсюду небрежным и непринужденным, – стилем человека, который не задумывается над законами изящной словесности и потому не

всегда точен в выборе слов, – и стилем "Максим", четким и стремительным, сжатым и выразительным, грешащим скорее нарочитой недоговоренностью, чем жеманным многословием. Мои подозрения укрепил и попавшийся мне экземпляр второго издания "Максим" с рукописными добавлениями, сделанными почерком, очень похожим на почерк Корбинелли, – но справедливость требует признать, что, как ни стройна вся эта система доказательств, ей можно противопоставить аргументы не менее веские. Увы, Корбинелли за всю свою жизнь не сочинил ничего, кроме максим и фрагментов, и самой блестящей его странице очень далеко до энергических и вдохновенных страниц его патрона. Да и как объяснить, что Корбинелли, который умер только в 1716 году, в весьма преклонных летах, намного пережив герцога де Ларошфуко и дожив до времени, когда "Максимы", изданные более полувека назад, стали уже классикой, – как объяснить, что при всей своей словоохотливости Корбинелли ни словом не обмолвился об этой истории – ведь о его причастности к сочинению "Максим" мы знаем только от Дю Тийо. По словам Дю Тийо, Корбинелли "называл себя автором значительной части" "Максим". Между тем всякий, кто читал "Максимы", понимает, что нельзя написать какую-то часть этой книги – можно либо сочинить ее с начала до конца, либо не сочинять вовсе. Коль скоро Корбинелли не претендовал на авторство "Максим" в целом даже в ту пору, когда он мог заявить о своих правах, не оскорбив ни самолюбия автора, ни чувств его друзей, значит, он не имел к книге Ларошфуко никакого отношения. Итак, пресловутый плагиат в данном случае не что иное, как догадка или непроверенный слух, который нуждается в доказательствах, ясных, как день, и даже более того. Точто так же мы не будем торопиться объявлять автором трудов, вышед-

ших под именем Бандури, Л.Фр.Жоз. де ла Барра, пока легкомысленные предположения "Духа журналов" (январь 1759 г., с. 210) не получат солидного подтверждения; мы не будем отнимать у аббата Сабатье чести считаться (хотя честь и не велика) автором трактата "Три века литературы" и не будем приписывать его неведомому священнослужителю; не будем мы и оспаривать принадлежность книги "Нравы", которую лишь преследования спасли от безвестности, Туссену, – не стоит продолжать перечисление, чтобы не возбуждать угасшие подозрения, в особенности по отношению к ныне живущим авторам, которые также становились жертвами несправедливости.

V

О плагиате

Итак, мы подошли к плагиату в собственном смысле слова, то есть к тем случаям, когда один автор заимствует у другого (особенно у современника и соотечественника, что усугубляет вину) содержание художественного произведения, толкование нового или малознакомого понятия, форму той или иной мысли – впрочем, иные мысли сильно выигрывают, обретя новую форму, иные устоявшиеся понятия становятся гораздо яснее, если их умело развить, иным произведениям безупречный стиль придает большую глубину, и было бы несправедливо считать плагиатом добавления или исправления, пошедшие на пользу книге. Так, Дидро и Д'Аламбер, задумывая свою Энциклопедию, взяли за образец Энциклопедию Чеймберса, однако их нельзя обвинить в плагиате, поскольку идею, едва намеченную у их предшественника, они развили так, как ему и не снилось. Еще меньше заслуживает обвинения в плагиате Энциклопедия Панкука, ибо, обладая теми

же достоинствами, что и творение Дидро и Д'Аламбера, она гораздо удобнее – статьи в ней расположены не по алфавиту, а по темам. Впрочем, в энциклопедиях плагиат почти неизбежен, ведь их задача – изложить общепринятые идеи, которые однажды уже были выражены, и выражены прекрасно, теми, кто их изобрел. В каком-то смысле всякий словарь не что иное, как плагиат в алфавитном порядке, где всю фактическую сторону – определения, даты, события – составитель неминуемо наследует от предшественников, а поскольку именно фактическая сторона требует кропотливого труда, меж тем как гипотезы и толкования остаются на совести каждого нового составителя, читатели должны были бы судить о сравнительных достоинствах лексикографов в первую очередь по ней. Однако читатели равнодушны к трудам пекущихся об их благе прилежных компиляторов, им больше по душе плетение словес, хотя все это не более чем новая обертка для старинных богатств.

Прежние составители словарей и биографий так хорошо чувствовали это, что Бейль начал свой труд как критику на Морери, ибо в те времена считалось гораздо более достойным спорить с книгой посредственного автора делом, то есть писать в ответ свою, лучшую, чем пускаться в корыстные спекуляции. Что же касается Скапулы, который воспользовался при сочинении своего знаменитого словаря комментариями многознающего Этьенна, то он, как известно, навлек на себя всеобщее презрение. Впрочем, не испытывая ни малейшего почтения к Скапуле, потомки до сих пор ценят его труд – случай в своем роде единственный. Нечист на руку был, по единодушному признанию современников, и плодовитый Доле, хотя уж его-то никак нельзя было заподозрить в недостатке знаний и скудости мыслей, заставляющих прибегать к чужим сочинениям;

свои тщедушные "Комментарии к латинскому языку" он раздул до двух томов благодаря трудам Низолиуса и Шарля Этьенна, за что и был обвинен в бездарности и бессилии. Тем не менее книга Доле, бесспорно, является сочинением весьма значительным и не идет ни в какое сравнение с книгами соперников. К тому же книга эта, в отличие от толковых словарей, – компиляция, сочиняя которую практически невозможно ни разу не воспользоваться чужими находками: в ней собраны освященные временем определения и филологические комментарии, которые до какой-то степени принадлежат всем пишущим на эту тему авторам. Вообще вопрос о том, пристало ли автору какого-либо труда вторгаться в чужие владения и черпать оттуда необходимые сведения, пусть даже на благо науки, – вопрос щекотливый, и решать его, как мне кажется, следует не столько литературным критикам, сколько каждому литератору наедине со своей совестью.

Возвращаясь к плагиату, скажу, что больше всего пострадали от него наши превосходные сочинители XVI столетия. Не говоря уже о Рабле, чьи удивительные выдумки послужили источниками стольких забавных сцен в комедиях Расина и Мольера, подсказали столько остроумных сюжетов Лафонтену и его подражателям и наконец выродились в бледную и беспомощную тень – роман "Кум Матье"; не говоря уже о Маро, чей стиль создал новый род литературы, хотя ни один подражатель не сумел сносно передать прелесть его полустиший, вспомним хотя бы некоего Лоиса Леруа или, по-латыни, Региуса, чей удивительный "Трактат о превратностях наук", быть может, подсказал Бэкону идею его прекрасной книги "О приумножении наук" (оба труда почти одинаковы по замыслу и по строению), а Брервуду – идею "Опыта о разнообразии религий и языков". Предлагаю эту тему вниманию любителей литературы пере-

ходного времени – она, как мне кажется, заслуживает пристального внимания. Но, конечно, никто так не пострадал от плагиата, как Монтень; правда, он и сам был не прочь позаимствовать чужое добро – но он-то делал это гласно и открыто. Как явствует из примеров, которые я присовокупил к своим не столько серьезным, сколько занятным разысканиям, Шаррон не постеснялся переписать дословно самые блестящие пассажи Монтеня, причем среди них встречаются такие, которые сам Монтень списал у Сенеки и других древних авторов (см. примечание К), – поступок, на мой взгляд, немного странный для мудрого бордоского богослова, в других случаях столь прямодушного. Не больше щепетильности проявляли по отношению к Монтеню Ламот ле Вайе, Лабрюйер, Сент-Эвремон, Фонтенель, Бейль и Вольтер, но никто из них не совершал таких дерзких краж, как Паскаль. В примечании Л, к которому я отсылаю читателей, я привожу только семь-восемь примеров, причем все они почерпнуты из одного и того же раздела "Мыслей", но тот, кто возьмет на себя труд внимательно и дотошно сравнить "Мысли" с "Опытами", обнаружит кучу совпадений, которые у меня не было ни времени, ни возможности искать. Всякий, кто, подобно мне, глубоко чтит память Паскаля, но не может закрыть глаза на множество остроумных, трогательных и возвышенных соображений, почерпнутых им у отцов церкви, Монтеня и Шаррона, неизбежно приходит к выводу, что "Мысли" не что иное, как записная книжка, где рассуждения, с которыми автор полностью согласен, соседствуют с теми, которые он намеревается решительно опровергнуть. Это тем более вероятно, что "Мысли", по свидетельству ученых библиографов, были записаны на отдельных листках, и порядок, в котором они публикуются, целиком лежит на совести издателей. Веские, почти неопровержимые доводы

в пользу неверия, которые приводит Паскаль, послужили бы мне другим доказательством этой гипотезы. Впрочем, об этом стоит поговорить подробнее, ибо мне известно, что лучшие писатели Франции, от современников автора "Мыслей" до наших с вами современников, считали и считают эту книгу главным трудом Паскаля: В самом деле, если вы лишите Паскаля блистательных и глубоких замечаний, которыми полны "Мысли", и перед вами окажется один из талантливейших математиков своего века, хитроумнейший логик, рассудительнейший, остроумнейший, изобретательнейший, безупречнейший стилист из всех, каких до той поры знала Франция, но вам останется неведом чудесный гений, способный пролить на тайны религии такой яркий свет, что, по словам знаменитого писателя наших дней, Господь для того и призвал его к себе, чтобы тайны эти остались нераскрытыми, — ведь гений этот выразился сполна лишь в "Мыслях". Есть среди "Мыслей" такие, которые полностью принадлежат Паскалю; их отличает меланхолия, являвшаяся, вероятно, следствием болезни, — меланхолия не философическая и не христианская, но суеверная, угрюмая и едва ли не провидческая. Эту мечтательную и безысходную печаль не столь уж трудно уловить, и многие модные писатели отлично владеют этим искусством; иное дело — порывы мужественной души, неожиданные и возвышенные прозрения, о которых сказано было, что они "более пристали Богу, нежели человеку", — всем этим Паскаль, надо признать, обязан Тимею Локрскому (см. примечание М), Блаженному Августину, Шаррону и в особенности Монтеню. Что же из того следует? Что некоторые поклонники Паскаля не читали Монтеня или что им приятно возвышать янсениста за счет скептика?

По зрелом размышлении я вынужден признать, что Паскалев плагиат является, быть может, самым

очевидным и самым *умышленным* во всей истории литературы. Во-первых, "Мысли", как свидетельствует сам Паскаль, – случайные, беспорядочные записи; следовательно, мы не вправе искать в их собрании продуманный план и четкий замысел и должны отдельно оценивать содержание каждой мысли и отдельно ее форму. Если же заемными окажутся и содержание и форма, это плагиат, достойный всяческого осуждения. Во-вторых, вину писателя усугубляет тот факт, что он предусмотрительно менял что-либо в каждом заимствованном фрагменте, обновлял язык, сглаживал смелость выражений, переставлял слова не столько для того, чтобы разъяснить основную идею и найти ей наилучшее выражение, сколько для того, чтобы приблизить чужой стиль к своему собственному и безболезненно вплести чужую находку в ткань своего сочинения. Я уж не говорю о том, как возмутителен резкий и презрительно-высокомерный тон, в каком Паскаль отзывается о Монтене, словно ему мало было ограбить автора "Опытов", а нужно было еще и уронить его в глазах людей с тем, чтобы всю славу присвоить себе. Скажу снова: Паскаль пользуется в литературном мире такой известностью, что способен затмить многих древних и новых авторов, но разумнее было бы, пожалуй, не награждать его теми лаврами, которых он не заслужил, и не почитать его столпом веры и нравственности, каковыми, к примеру, никогда не считались ни Афтоний, ни Публий Сир, ни Эразм, ни другие компиляторы афоризмов, эти рапсоды античной философии и древней премудрости.

Сочинение Рамсея "Путешествия Кира" – не столько плагиат в собственном смысле слова, сколько бездушная копия Фенелонова "Телемака"; впрочем, поскольку книга эта изобилует дословными и неоговоренными цитатами из Фенелона, старых английских философов и Боссюэ, у которого украдено прекрасное описание Египта, Вольтер считал "Путешествие" чистой воды

плагиатом. По слухам, Рамсей объяснял все совпадения общностью мыслей с предшественниками. В таком случае ему повезло: столь счастливые идеи посещали его нечасто.

Вольтер, которого я только что упомянул, часто жаловался на плагиаторов; его обширное творчество постоянно манило к себе охотников до чужого добра. Сам он считал наиболее дерзким из них некоего отца Барра, автора десятитомной "Истории Германии", включившего в свое сочинение более двухсот страниц из "Истории Карла XII". Руссо предъявлял похожие претензии Мабли, утверждая, что тот только и делал, что повторял его философские и политические идеи. Этот упрек, разумеется, не лишен оснований, но очевидно, что стиль Мабли не похож на стиль Руссо; это — его собственность, на которую никто не польстится. Коль скоро я заговорил о светочах XVIII столетия, замечу кстати, что знаменитый аббат Рейналь является, судя по всему, самым настоящим плагиатором, обязанным своей славой бескорыстию Дидро и усердию Пешмейи. Говорят, что этот последний, впав в нищету, писал под диктовку Рейналя, а по другой версии, сам сочинял "Историю европейских учреждений в обеих Индиях", а неистовый Дидро время от времени вставлял в нее пламенные страницы, которые невозможно не узнать по стилю*. Пешмейя умер молодым и унес свою тайну с собой, но тайну Рейналя разгадать легко — он имел несчастье дожить до старости, не ознаменовав эти долгие годы никакими свершениями.

Надеюсь, никто не заподозрит меня в намерении исчерпать в этой главе тему плагиата и плагиаторов.

---

*Впрочем, этим слухам противоречит известная острота одной знаменитой дамы: "Аббат Рейналь слишком хорошо знает собственные сочинения; на все вопросы он отвечает словами из своих книг".

Цель моя была гораздо скромнее – я хотел развернуть перед читателем самые любопытные страницы истории плагиата и вовсе не собирался отбивать хлеб у тех, кто займется этой темой после меня. К их услугам – труды Крения, Янсона Алмеловена, Салье, отнюдь не принадлежащие к числу редких; что же до меня, то, даже имей я сейчас в своем распоряжении эти труды, я предпочел бы обойтись без цитирования и отослать тех немногих читателей, кому, в отличие от большинства смертных, интересны подобные разыскания, к книгам моих предшественников, ибо

Расскажешь обо всем – наскучишь всем сполна.

VI

О литературном грабеже

Как ни предосудительны, на мой взгляд, заимствования, описанные выше, в главе о плагиате, существуют случаи, для которых плагиат – название слишком мягкое, ибо это форменный грабеж. Я не сомневаюсь, что такие кражи совершались сплошь и рядом, особенно в эпоху возрождения словесности, когда множество сокровищ древности оказались в распоряжении нескольких лжеученых, однако меры, которые этим бездарным и бесстыжим людям пришлось принять, дабы скрыть свои подлые деяния, лишили нас возможности подтвердить наши подозрения, а тех скудных сведений, которыми мы располагаем, недостаточно для того, чтобы обосновать столь тяжкие обвинения. До того как славный Питу опубликовал сборник Федра и познакомил своих современников с одним из прекраснейших памятников латинской культуры, общественное мнение единодушно обвиняло Фаэрно в том, что он присвоил лучшие басни из имевшегося у него списка

Федра, а сам список уничтожил. Очевидно, однако, что в сборниках двух авторов совпадают лишь несколько сюжетов и деталей, меж тем, будь Фаэрно в самом деле повинен в краже, он вряд ли удовольствовался бы столь скромной добычей. Помнится, у одного из комментаторов Цицерона — возможно, это мудрый Мануций — рассказывается о том, как был обнаружен знаменитый трактат "О славе" и как человек, в чьих руках он оказался, издал его под своим именем, изменив лишь заглавие. Мои указания расплывчаты, ибо я не знаю ни названия книги, ни имени самозванного автора, что свидетельствует о том, каким скромным авторитетом пользуется в литературной республике эта книга*, а также о том, что вычитанное мною предположение ошибочно — ведь невозможно представить себе, чтобы шедевр первого из античных прозаиков прозябал в безвестности, под чьим бы именем он ни был опубликован. Правда, предположение это основывалось на особенностях стиля, которым писал обвиняемый в воровстве автор, — стиля совершенно *цицеронов-*

*Весьма вероятно, что, когда я работал над первым изданием этой книги и был, как уже говорил, лишен возможности пользоваться какими бы то ни было пособиями, память меня подвела. Вот что пишет Дювердье в предисловии к сочинению "Моя библиотека": "Даже и в недавние времена нашелся человек, именем Пьетро Алциониус, флорентиец, коий похитил из одной весьма старинной библиотеки мудрое сочинение Цицерона "Об изгнании", изготовил новое сочинение по своему вкусу, надергав кусков из Цицерона и связав их кое-какими своими измышлениями, а дабы мудрецом прослыть самому, сей новоявленный Диомед книгу свою, а вернее сказать, свою химеру отпечатал, а столь прекрасный труд Цицерона уничтожил". "Рассказ сей, — говорит Ламоннуа, — недостоверен. Возвратившись из ссылки, Цицерон произнес две речи, дошедшие до нас, — "К квиритам" и "К сенату", — но о сочинении под названием "Об изгнании" никаких сведений нет. Итак, не из этого его труда, но из трактата "О славе" переписал, надо полагать, Алциониус лучшие места двух прекрасных диалогов "Об изгнании", в чем и был заподозрен уже после смерти" (примеч. ко 2-му изд.).

ского. Однако стиль этот, повторяющий излюбленные приемы и даже недостатки Цицерона – вяловатое многословие его фраз, чрезмерное пристрастие к наречиям и нарочитую приверженность архаизмам, – отнюдь не такая редкость, чтобы обвинять автора в плагиате. Даже Мануций блестяще владел этим искусством, а иные из его современников дошли в своем премудром поклонении Цицерону до того, что исключали из своих сочинений не только слова, но и обороты речи, отсутствующие в трудах их кумира; такая молва, во всяком случае, шла о Беллендене и Томеусе.

Бесстыдство тех плагиаторов, которых я только что без обиняков назвал грабителями, заходило иной раз так далеко, что привлекало к себе внимание правосудия. Жан де Нострадамус, брат знаменитого предсказателя и автор прелестной "Истории знаменитейших и древнейших провансальских поэтов", рассказывает со слов Монаха с Золотых островов, что Альберте де Систерон, отвергнутый дамой сердца, умер от горя в Тарасконе, "а песни свои завещал другу, именем Пейре де Вальерас или де Валернас, дабы тот передал их маркизе (де Маллеспин), сей же, напротив того, продал их Фабру д'Юзу, поэту, уверив, что самолично их сочинил и продиктовал, однако нашлись ученые люди, кои сии песни узнали, и по доносу помянутого де Вальераса Фабр д'Юз схвачен был и высечен именем закона за то, что присвоил неправедно труды знаменитого поэта". Нынче почти никто уже не помнит об этом законе.

О другом, весьма пикантном, разоблачении такого рода сообщает в своем занятном "Каталоге библиотеки одного любителя книг" господин Ренуар. Во втором томе, на странице 55, он рассказывает об "Истории развития ума и вкуса" господина Эдуарда Ландье. Ставя эту книгу очень высоко, господин Ренуар берет на себя смелость приписать ее д'Агессо. "Получив право переиздать эту книгу, – говорит он, – которая показалась

мне испорченным вариантом труда, писанного человеком высочайшего ума, я стал вчитываться в нее, стремясь восстановить ее первоначальный облик. Труд столь же неблагодарный, сколь и тяжкий: ни источников, ни помощников, рукопись испещрена грубейшими ошибками и работать с ней еще труднее, чем с первым изданием 1813 года, где типограф исправил кучу глупостей, таких, как медики вместо Медичи, и тому подобное. Мне пришлось расставлять знаки препинания, определять границы фраз, начала и концы абзацев, мало того — пришлось возвращать смысл отрывкам, начисто его утратившим, отгадывать слова, перевранные бездарным переписчиком до неузнаваемости, переправлять Капую на как поэт, март на мораль, манеры на максимы, томность на точность, сапожников на сообщников, софистичность на скрупулезность, наветы на народы, семилетие на секты, бурю на букву, первородство на благородство, ливры на лавры, Немур на Невер, а также приводить в надлежащий вид множество других слов и — что еще труднее — словосочетаний. От этих трудов голова у меня шла кругом. Господин Ландье, поначалу согласившийся со всеми этими исправлениями, которые призваны были восстановить его доброе имя, находившееся после выхода первого, роскошного издания под угрозой позора, внезапно передумал и, разгневавшись, не нашел ничего лучшего, как подать на меня в суд за фальсификацию; засим последовал смехотворный судебный процесс, еще более нелепый, чем опечатки в издании трактата господина Ландье, и закончившийся тем, чем он и должен был закончиться, — постановлением об отказе этому мнимому или подлинному автору во всех его исках и происках.

Если процесс был смехотворным, то поведение мнимого автора было еще смешнее. При первой встрече с ним я услыхал такие диковинные речи: "Я распола-

гаюсь спорить с вами на любой залог, что моя книга выдержит не меньше восьми изданий; да вот и этот господин (он указал на сопровождавшего его друга) готов вам высказать без слов свое мнение об этом труде". В не слишком затянувшейся переписке с господином Ландье, а также в его собственноручных заметках я обнаружил такие открытия, как "адиннадцать часов", "аратор", "соброзовываться", "про искусность любви" и т.д. Не успело мое издание выйти в свет, как господин Ландье явился засвидетельствовать мне свое возмущение теми самыми поправками и изменениями, за которые полтора месяца назад рассыпался в благодарностях. "Я пришел жаловаться на поправления, которые вы вставили в мой труд; там есть сотни мест, противоречащих чтению". Этот любопытный разговор мы, как и в первый раз, вели при свидетелях. Чтобы человек, изъясняющийся таким несообразным языком и имеющий столь странные представления об орфографии, мог сочинить в свои двадцать пять лет (из которых несколько было отдано военной службе) книгу, правда, не всегда ровную, нередко грешащую небрежностью и манерностью, но обличающую незаурядный талант, здравый и тонкий ум и солидное образование, должно было произойти чудо. Люди, чья вера крепка, вольны верить в это чудо; я к их числу не принадлежу".

Хотя обвинения в столь неприкрытом плагиате наносят большой урон чести авторов, критики, не претендующие на изысканность манер, не раз предъявляли обвинения такого рода дамам. Они, как правило, уверены, что, если дама берется за перо, ее непременно опекает чья-то сердобольная муза. Подобную клевету очень трудно опровергнуть, и писательнице остается лишь надеяться, что она переживет того, кого молва называет истинным автором ее сочинений, и проведет последние годы жизни более плодотворно, чем вдова

Кольте, которая, "когда Кольте не стало, пророчествовать перестала". Чтобы заткнуть рот клеветникам, надо "испекать том за томом", да и это средство поможет, лишь если критики не уподобятся Криспену из "Единственного наследника" и не станут толковать о посмертных отпрысках.

Подозрений в плагиате не избежала, среди прочих, госпожа Дезульер. Почти все ее стихи приписывали Эно (хотя трудно поверить, что автор претенциозного сонета "Недоносок" мог подняться до простого языка природы), а сочинителем лучших строк очаровательной идиллии "Овечки" называют Кутеля. Меж тем госпоже Дезульер принадлежит множество других стихов, не уступающих "Овечкам" ни в чувствительности, ни в изяществе.

VII

О подставных авторах

Есть основания полагать, что в Древнем Риме не реже, чем у нас, встречались авторы, приписывавшие себе чужие строки; вспомним хотя бы знаменитое "Так-то ваше – не вам..." Вергилия; но мне не верится, что там находились наглецы, выдававшие за свои собственные целые поэмы, сочиненные другими поэтами; что же касается Теренция, то не будем осквернять его память подобной напраслиной. В отличие от Монтеня, который был абсолютно уверен, что Теренций не писал комедий, известных под его именем, и "возражал против всякой попытки разубедить его в этом" (Опыты, I, XL), я допускаю, что Теренций имел к этим пьесам некоторое отношение; однако я признаю, что видный государственный деятель может пожелать скрыть жертвы, которые он втайне приносит легкомысленнейшей из муз: поло-

жение обязывает иных людей проявлять сдержанность, примером чему служит, в частности, госпожа де Лафайет, приписавшая свои дивные творения Жану Сегре. Но будь даже авторами комедий Теренция Сципион и Лелий, Теренций не повинен ни в чем, кроме чрезмерной услужливости, не лишенной, быть может, доли тщеславия. Да и вообще мне трудно представить себе человека, который с легким сердцем отказывается от славы и уступает лавры совершенно постороннему человеку, и, если я готов поверить историкам, рассказывающим, что Лелий пожертвовал богатством ради возвышения Сципиона, мне гораздо труднее допустить, что оба они добровольно отдали богатства своего ума Теренцию. Не знаю, можно ли решиться на такую жертву даже ради друга. Всякий автор испытывает к своему творению подлинно отцовские чувства и ни за какие блага в мире не отречется от любимого детища. Гелиодор ради литературы поступился саном епископа, а Пикколомини, будь он избран папой в более молодом возрасте, скорее всего отказался бы ради литературы от тиары. Правда, Кольте уступал жалкие лавры, которых удостаивались его стихи, но уступал не кому-нибудь, а своей возлюбленной супруге; ведь любовь – самое щедрое из наших чувств. Поэтому я решительно отказываюсь верить, что Мере обязан своей славой трагического поэта исключительно великодушию Теофиля; еще меньше верю я слухам о том, что Мере злоупотребил доверием собрата по перу и присвоил его наследие. Мере и Теофиля сдружила любовь к изящной словесности, и, хотя Мере в ту пору еще не создал ничего значительного, он уже успел показать себя автором, способным сочинить несколько сносных сцен, благодаря которым его "Софонисба" вошла в историю литературы. К тому же всякий, кто обладает хоть малейшим чувством стиля, без труда отличит Теофиля от Мере; оба они

в равной мере грешили выспренностью и увлекались модными *кончетти,* но в остальном они так разительно несхожи, что перепутать их невозможно. Теофилю, дерзкому, нервному, напыщенному, случается подняться до подлинной страсти, но ему недостает продуманного плана, умения так построить сцену, чтобы раскрыть характеры героев. Зато это единственное, чем может похвастать Мере — искусный и здравомыслящий, безупречный и бесстрастный основоположник нашей классической трагедии, у которого среди двадцати четырех тысяч строк не найти ни одной, исполненной сильного чувства.

Я от души желаю поклонникам Кребийона суметь так же убедительно доказать, что пьесы его не написаны под диктовку некоего монаха-картезианца. Последняя его трагедия* настолько слабее остальных, что наводит на мысль о смерти гения-хранителя, который прежде вдохновлял автора; впрочем, так же слабы и последние пьесы Пьера Корнеля, и, коль скоро мы не подозреваем в плагиате великого поэта, мы вряд ли вправе пятнать подобным обвинением и одного из его последователей. Что же до Данкура, цинично, но правдиво живописавшего гнуснейший разврат, в каком когда-либо коснела нация, то у его недоброжелателей не было никаких оснований утверждать, что он крадет все свои сочинения у молодых авторов, ищущих его покровительства, — ведь не можем же мы предположить, что все музы тогда изъяснялись одним языком. Всем комедиям Данкура присущи одни и те же недостатки и одни и те же достоинства: среди первых — полное отсутствие

---

*Я имею в виду "Катилину", где встречаются такие удивительные строки:

В дни юности моей, чувствительной и пылкой, —
Признаюсь вам теперь — себе я слово дал,
Что всем вам грудь пронзит, отмщая, мой кинжал.

плана, смакование дурных нравов, бесстыдство в мыслях и речах; среди вторых – живость диалогов, правда характеров, выразительность картин, соль если и не аттическая, то вполне едкая и более приличествующая безудержно-буйной сатире, нежели скромной и рассудительной Талии. Невозможно предположить, чтобы этой весьма своеобразной комедийной формой владела целая толпа писателей, а поскольку комедии Данкура замечательны в первую очередь формой, то мы, как мне кажется, имеем достаточные основания снять с него подозрение в краже. Впрочем, репутация Данкура – если вкладывать в слово "репутация" его исконный смысл – в любом случае останется незапятнанной – ведь репутацию создает публика в целом, а не горстка знатоков, вникающих в тончайшие подробности истории литературы; кумирам, освященным привычкой и временем, не страшны никакие, даже самые грозные, обвинения критики. Толпа ежедневно рукоплещет блестящим шуткам "Адвоката Патлена", считая их автором Брюэйса, вся заслуга которого состоит в том, что он довольно точно переписал один старинный фарс; если же обратиться к литературе более возвышенной, разве благородная откровенность, с какой автор "Естественной истории" признал, что ему очень помог в работе господин Гено де Монбельяр, хоть сколько-нибудь поколебала престиж господина де Бюффона в глазах поклонников? "История птиц", являющаяся украшением "Естественной истории", почти целиком принадлежит перу господина Гено, но ни один луч славы, которая осеняет и будет вечно осенять господина де Бюффона, не коснулся скромного имени его помощника. Не только книги, но и авторы имеют свою судьбу.

VIII

О публикациях под чужим именем

На первый взгляд публикации под чужим именем, распространенные ничуть не меньше, чем плагиат, не имеют с ним ничего общего. Можно было бы сказать, что это вещи прямо противоположные, не будь у них общей основы — честолюбия; в одном случае люди радуются, когда чужие произведения имеют успех под их именем, в другом — когда их произведения имеют успех под чужим именем. Подлог второго рода также имеет свои отрицательные стороны, однако нельзя не признать, что он обличает большее благородство и величие духа. Им не гнушались величайшие гении: вспомним хотя бы Микеланджело, который изваял статую, отбил у нее руки и ноги, закопал торс в землю, а затем выдал за античный; когда же восторженные зрители наперебой стали приписывать статую величайшим мастерам древности, предъявил отбитые у нее конечности и доказал свое авторство. Вообще нередко оказывается легче обезоружить злопыхателей и добиться у публики справедливого или хотя бы более снисходительного отношения под чужим, а не под своим собственным именем. Вольтер рассказывал, что однажды в кругу поклонников Лафонтена прочел на память басню ненавистного им Ламотта, выдав ее за лафонтеновскую. Поначалу басня вызвала всеобщий восторг, но затем восторги поутихли — Вольтер произнес имя истинного ее автора.

Я уже говорил, что, по моему убеждению, в эпоху Возрождения немало произведений древних получило известность под именами авторов нового времени; убежден я и в другом: многие авторы той эпохи подписывали свои сочинения именами древних и славных авторов. Конечно, смешно впадать в крайности и уподобляться

отцу Ардуэну, который утверждал, что почти все сочинения древних, как греков, так и римлян, на самом деле принадлежат кружку ученых XIII столетия, во главе с некиим Севером Архонтием; из числа подделок отец Ардуэн исключал только сочинения Цицерона и Плиния, "Георгики" Вергилия, "Сатиры" и "Послания" Горация, а также творения Геродота и Гомера. И все же сомнения относительно подлинности многих древних произведений не так уж беспочвенны, и, если у меня ни в одном случае нет веских доказательств, это не лишает меня права строить предположения.

Обнародование своего творения под чужим именем – естественный выход из положения для писателя, собственное имя которого ничем не знаменито: подлог дает ему надежду получить признание. В любой словесности мы найдем тому множество примеров, начиная с книг Сифа и Еноха и кончая посмертными изданиями наших безвестных современников. Не поручусь, что сочинительством не грешил сам Адам; во всяком случае, раввины приписывают "Книгу творения" Аврааму. Так же обстояло дело во всех религиях – основателей вероучения всегда окружали пристрастные толкователи и подражатели. Мифологические и героические эпохи овеяны славой ученых и мудрецов, до которых далеко нашему варварскому Северу, – это Гермес, Гор, Орфей, Дафна, Лин, Паламед, Зороастр, Нума. Относительно последнего известно, что он настоятельно просил жрецов принять его сочинения под охрану, а спустя несколько столетий сенат республики постановил сжечь их, ибо счел изложенные Нумою идеи пагубными для человечества. На мой взгляд, эта история открывает огромный простор воображению и уму, и мне жаль, что ни один писатель нового времени не подделал сочинений Нумы, – что же касается римлян, то вполне возможно, что у них такие подделки были в ходу: вспомним хотя бы Сивиллины книги –

пророчества из тех, что можно сочинять бесконечно и без всякого труда, чем, возможно, злоупотребляли подчас первые христиане. Не скрою, мне досадно, что сенат уничтожил записки Нумы — этот драгоценнейший памятник римской культуры и законности. Как любопытно было бы прочесть завещание набожного царя, который правил своим царством, слушаясь советов богини, а перед смертью посвятил в тайны своей государственной мудрости жрецов.

Повторяю, я не могу поручиться, что никто из тех софистов, которые долгое время распоряжались наследием древних, не соблазнился возможностью легкого успеха и не выдал в свет эту подделку; но эта фальсификация не дошла до нас — вероятно, ее постигла та же участь, что и многие произведения античности. В самом деле, многочисленные творения лучших драматических, лирических и буколических поэтов Греции утрачены; исчезли многие критические, исторические и естественнонаучные труды, не говоря уже о куче велеречивых философских трактатов, недостоверные отрывки из которых мы находим у Диогена Лаэртского. Мы незнакомы со стихами Вария, Акция и Пакувия — превосходных поэтов, о которых даже их соперники отзывались с восторгом, незнакомы с лучшими комедиями античности, ибо находились филологи, которые имели смелость утверждать, будто Теренций занимал среди античных комических поэтов всего лишь шестое место (каким воображением нужно обладать, чтобы представить себе тех, кто занимал первые пять мест!). Как трудно нам примириться с невозможностью прочесть бесценные труды Варрона, которые, быть может, раскрыли бы нам все тайны римской философии, литературы и грамматики? Не легче примириться и с тем, что дошедшие до нас сочинения Тита Ливия и даже Тацита (несмотря на все старания его тезки-императора) — не бо-

лее чем пространные фрагменты. А как интересно было бы прочесть упоминаемый Плутархом исторический труд Катона-цензора, этот единственный в своем роде памятник римской доблести, где не было ни одного имени собственного, а только слова "консул", "сенатор", "армия", настолько личная слава и частные интересы отступали в те времена перед славой отечества и интересами государства! Как жаль, что среди дошедших до нас сочинений Цицерона нет уже упоминавшегося трактата "О славе", который лишь приумножил бы его славу, – а ведь сам автор, на наше счастье весьма тщеславный, неустанно заботился о распространении своих сочинений. Ценители изящной словесности горько сожалеют об утрате этого труда, и они правы, но меня гораздо больше огорчает утрата другого сочинения – "О добродетели" Брута, ибо содержанием своим, а может быть и стилем, он наверняка превосходил предыдущий; таково мое мнение, которое я позволил себе высказать, раз уж я лишен возможности узнать мнение читателей на сей счет.

Имена Цицерона и Брута возвращают меня к теме подлогов, ибо образованнейшие люди своего времени, в частности господин Танстилл, включали в число апокрифов замечательную переписку Цицерона с Брутом. Господин Миддлтон с присущим ему здравомыслием не оставил камня на камне от этого парадоксального утверждения, – впрочем, на мой взгляд, он понапрасну расточал свое красноречие, ибо в данном случае тексты говорят сами за себя. Как бы там ни было, даже если бы письма эти действительно оказались подделкой, пришлось бы признать, что автор их не менее талантлив, чем величайшие стилисты древности. Пожалуй, никогда римское красноречие не поднималось на такую высоту, как в письме Брута и Кассия к Марку Антонию, а также в письме, где Брут упрекает Цицерона, уповаю-

щего на милосердие юного Октавиана. Эти письма несравненно выше таких апокрифов, как послания Фемистокла, Фалариса и Аполлония Тианского.

Один из самых знаменитых подлогов – "Басни" Эзопа, сочиненные монахом Планудом. Приговор, вынесенный Плануду в трудах премудрого Бентли и в любопытной книге Вавассера "De ludicrâ Dictione"* так суров, что, казалось бы, не подлежит обжалованию. Однако главной уликой эти критики считали анахронизм в басне "Обезьяна и дельфин", а мне этот довод кажется совершенно неубедительным. Порт Пирей, который упоминается в басне, в самом деле был построен при Фемистокле, то есть столетием позже, чем жили Солон, Кир, Крез и другие великие люди, современником которых считается Эзоп, однако о том, что Эзоп жил именно в эту эпоху, мы знаем только со слов тех авторов, на которых опирался в жизнеописании Эзопа сам Плануд, древние же так плохо разбирались в хронологии его творчества, что иные из них были даже убеждены в существовании нескольких Эзопов. Более того, имя Эзопа превратилось в Греции в своего рода ярлык, который нацепляли на все поучительные и остроумные апологи**; так, на Востоке все притчи приписывали Пильпаю, Лукману и Соломону, из чего некоторые ученые поспешили сделать вывод, что за всеми этими именами стоит одно и то же лицо. Я полагаю, напротив, что баснописцев в древности было гораздо больше, чем

*О забавных беседах (*лат.*).

**Народная мудрость испокон веков ограничивает свои познания узким кругом общеизвестных имен. Героем всякого морского происшествия выступает Жан Барт, все вольные шутки отпускает Роклор. Есть у толпы и излюбленные сочинители, кроме которых она никого не хочет знать. Лет сто пятьдесят назад считалось, что остроумная реплика может принадлежать только Брюскамбилю или Табарену. Греки, народ остроумный и учтивый, но в общем подобный всем другим народам мира, по всей вероятности, обходились так же с баснями.

принято считать, и если до нас дошли всего три-четыре имени, то причина лишь в том, что эти трое или четверо жили раньше других и забрали себе славу всех последующих. Так что молва могла задолго до Плануда приписать Эзопу басни, ему не принадлежащие, а в их числе и ту, на которой критики Плануда основывают свои обвинения. Весьма вероятно, что долгое время эти басни передавались из уст в уста; недаром списки Эзоповых басен так редки*; другое дело, что творения Эзопа отличаются первозданной простотой, не имеющей ничего общего с болтовней Плануда, ибо, что бы ни говорили критики, стиль этого монаха не идет ни в какое сравнение со стилем легендарного баснописца.

Впрочем, если существуют жанры, где повторам и заимствованиям несть числа, то это, безусловно, басни, новеллы и сказки. Авторы их только и делают, что переписывают друг у друга сюжеты, и примеров тому не счесть. Вот один из них: "Фабльо, или Забавные речи секретаря де Клюньи", сочинение поэта XIII века Жана Шаплена, послужило прообразом первой из пятидесяти новелл Мазуччо Салернитанца. Затем этим сюжетом воспользовался анонимный автор "Рассказов о про-

---

*Античная басня легко запоминается, потому что она, как правило, немногословна и тем отличается от басни нового времени, басни лафонтеновской, где вся прелесть в подробностях. Древние басни – нечто вроде гномической поэзии в образах. Поэтому ничего удивительного, что в них обнаруживаются грубые анахронизмы. Древние филологи сохранили для нас текст Пифагора, где говорится о Юнии Бруте, а поскольку Пифагор не мог похвастаться тем, что знал будущее так же хорошо, как и прошлое, сомнительно, чтобы он стал рассказывать о человеке, который в пору переселения греческого мудреца в Италию еще лежал в колыбели и прославился только под старость. Все дело в том, что до нас дошли лишь обрывки Пифагоровых сочинений, да и те не совсем достоверны, так что, если задаться целью отобрать среди них то, что наверняка принадлежит самому Пифагору, останется меньше половины, а остальное придется отнести на счет его учеников, прежде всего Лисида.

ходимцах", который, чтобы замести следы, поставил новеллу в своем сборнике двадцать третьей по счету. Впрочем, любителей таких историй менее всего заботит их происхождение, лишь бы они были удачно выбраны и занимательно рассказаны; мало кого интересовало, правда ли, что "Новые забавы" сочинены не Бонавантюром Деперье, а Жаком Пеллетье и Никола Денизо, известным также под именем графа д'Альсинуа. Такого мнения придерживался Лакруа дю Мен, а вслед за ним Ламоннуа. Что до меня, то мне гораздо больше хотелось бы знать, прав ли Риголе де Жювиньи, утверждавший, что эти два изобретательных литератора являются вместе с Эли Вине авторами одного из наиболее любопытных и наименее известных произведений нашей старинной словесности — "Речей не слишком меланхолических, но весьма разнообразных". Следовательно, *новеллисту* обвинение в плагиате не грозит, поскольку о его таланте судят не по оригинальности сюжетов. В противном случае пришлось бы поставить на одну доску "Декамерон" Боккаччо и "Приятные дни" Габриэля Шапюи — книгу почти столь же оригинальную и ничуть не менее занимательную, но значительно хуже написанную.

Невозможно рассказать обо всех произведениях, обманом приписанных великим людям, — перечисление заняло бы целый том. Это — тема для специального библиографического труда, который был бы весьма занимателен и весьма пространен — на одного лишь Гасьена де Куртиля ушло бы несколько страниц. Последние полвека во Франции чуть ли не каждый месяц выходят в свет то записки полководца, то письма королевской любовницы, то завещание министра. Тому, кто занимается библиологической критикой, полага-

лось бы назвать признаки, по которым можно отличить подлинные мемуары или письма от фальшивок, и тем оказать неоценимую услугу светской публике, охочей до книг такого рода, но я спешу распроститься с этой набившей оскомину темой, дабы перейти к вещам более приятным и интересным.

Ничто так не способствует появлению подделок, о которых я веду речь, как стремление любителей словесности завладеть после смерти известного писателя самыми ничтожными из его *посмертных* сочинений, — стремление, превращающееся у иных почитателей в настоящую манию: так, один английский аристократ объявил несколько лет назад, что готов заплатить крупную сумму за каждую неизвестную строчку Стерна. Нередко огласке предаются при этом самые слабые произведения, от чего страдает репутация писателя, но самое страшное в другом: страсть к неопубликованному наследию открывает большой простор для мошенников, которые, пользуясь любопытством и доверчивостью публики, сбывают ей по самой дорогой цене свою жалкую стряпню. Хуже того, иногда эти фальшивки порочат покойного писателя и навлекают на него ненависть и презрение потомков. Так, бесстыдные переписчики посмели поставить под своими подлыми и грязными выдумками имя целомудренного Вергилия; безупречную репутацию скромного и безвестного Мирабо запятнала подрывающая основы общества книга, которую кто-то выпустил под его именем, а Буланже, как теперь достоверно известно, вовсе не заслуживает ненависти католиков, поскольку большая часть его язвительных памфлетов принадлежит перу Дамилавиля.

Насколько отвратителен и достоин самой суровой кары такой подлог, настолько забавен и достоин жалости подлог другого рода — тот, который совершают посредственные и невежественные литераторы, выдавая

свою писанину за творения великих писателей. Так, некий рифмоплет осчастливил Англию несколькими неизвестными трагедиями Шекспира, которые, впрочем, никого не ввели в заблуждение, равно как и басни Лафонтена, открытые господином Симиеном Депрео и замечательные, на мой взгляд, лишь своей исключительной беспомощностью да простодушием, с каким автор восхищается своими созданиями и, прикрываясь громким именем, дает волю тщеславию.

Как бы там ни было, тем, кто выдает свои сочинения за творения знаменитых авторов, нельзя отказать в смелости — ведь шедевры классиков у всех на слуху. Даже самую совершенную копию не так уж трудно отличить от оригинала, ибо у подлинного мастера всегда есть секреты, о которых подражатели и не подозревают. Так, в свое время не было поэта более популярного, чем Грессе, и множество стихотворцев с легкостью подражали его манере и тону. Откройте любую книгу той поры, и вам непременно бросятся в глаза короткие послания, написанные восьмисложным стихом с богатыми парными рифмами, послания, полные разнообразных — часто ненужных — подробностей и блистательных контрастов и антитез. Все это нетрудно скопировать, но где взять загадочное "нечто", которое составляет истинное очарование поэта, где взять щедрость воображения, которое легко и непринужденно рождает образ за образом, где взять умение так расставить слова, чтобы красота слога не нарушала строй мыслей? Автор, мудрый без высокомерия, веселый без шутовства, насмешливый без злобы, изящный без манерности, оказался бы абсолютным двойником Грессе, а таковых не существует не только в физическом, но и в духовном мире. Поэтому, даже не имея неопровержимых доказательств, я твердо убежден, что "Великодушный крестный" принадлежит Грессе, и никому другому.

Итак, у читателя всегда есть возможность сравнить подделку с оригиналом и разоблачить самые правдоподобные выдумки, но это обстоятельство ничуть не смущает мошенников, которые в меру сил борются со столь досадной помехой. Так, дабы внушить доверие к своим произведениям, они укрываются за древними, но малоизвестными, а то и вовсе выдуманными именами. Совершенно очевидно, что подлог такого рода — невиннейший из всех возможных; истина в этом случае страдает так мало, что даже люди кристальной честности не нашли бы здесь, к чему придраться. Однако публика редко прощает такой обман, ибо не любит, когда литераторы пользуются ее доверчивостью — пусть даже ради ее собственного удовольствия; самолюбие ее страдает от подобного оскорбления.

Именно самолюбие, самая чуткая струна человеческого сердца, мешает англичанам отдать должное Чаттертону, чьи стихи, будь они изданы не под именем монаха Раули, а под его собственным, безусловно, принесли бы ему славу. Этот юноша, наделенный талантом поразительным и роковым, испытал столько горя, что в восемнадцать лет ушел из жизни: вчерашний чудо-ребенок пополнил собой ряды самоубийц*. Что же удивительного, что этот младой певец угас в безвестности! Несчастный Чаттертон был уже в могиле, когда великодушный сэр Крофт** поднял голос в его защиту; годы спустя этот ученый вступился и за французского собрата Чаттертона, столь же даровитого и столь же несчастного Гренвиля ***, который прозябал в безвестности лишь

---

*Быть может, он покончил с собой по той же причине, что и некий Теренцио, который мастерски подделывал картины старых мастеров и не смог пережить разоблачения.

**Английский ученый, соратник Джонсона и комментатор Горация.

***Автор прозаической эпопеи "Последний человек", замечательной во многих отношениях.

оттого, что своенравная фортуна не желала дарить ему славу, а купить ее ему было не на что.

Неудачу Чаттертона быстро заслонили в глазах фальсификаторов успехи Макферсона, который, как было установлено в результате долгих и жарких споров, сочинил большую часть песен Оссиана. От подлинных произведений каледонских бардов до нас дошли только разрозненные бесформенные обрывки, давшие предприимчивому шотландцу лишь самое общее представление о построении и стиле кельтских поэм. Напрасно иные критики сравнивают песни Оссиана с поэмами Гомера, которые якобы были изначально столь же бессвязны и только благодаря Писистрату превратились из множества беспорядочных и несовершенных песен в целостное произведение. Имя Гомера не более достоверно, чем имя Оссиана, но это не помешало ему гордо пронести свою славу через века, и сомнения в авторстве "Илиады" и "Одиссеи" ничуть не уменьшили вызываемого ими восхищения, так что, если кому-то и приходило в голову, что это поразительное нагромождение фрагментов на различных диалектах создано несколькими поэтами, репутация Гомера от этого ничуть не страдала. Горация возмущает, что Гомеру иногда случается заснуть! Как знать, быть может, все дело в том, что, когда Гомер засыпает, слово берет кто-то другой? До сих пор критики невысоко оценивали третью и четвертую книги элегий Тибулла, но память Тибулла это никак не порочит, ибо — хотя окончательно это до сих пор не доказано — упомянутые две книги сочинил некий Лигдам. Как бы там ни было, Оссиан приобрел таких же пылких поклонников, каких имеет Гомер, быть может, даже более пылких, ибо рискованные затеи почему-то всегда приобретают больше сторонников, чем любые другие, но слава его оказалась скоротечной, поскольку критики вскоре разглядели под маской

древнего певца шотландского буржуа, имеющего вдобавок несчастье быть их современником, и сочли его недостойным тех пылких восторгов, какие вызывал у них бард III века. Впрочем, это не мешает "Поэмам" Оссиана оставаться сочинением замечательным и оригинальным, а Макферсону считаться одним из лучших поэтов своего времени.

Несколько лет назад один человек, обладавший большим вкусом и недюжинными познаниями, опубликовал стихи, якобы принадлежащие перу Клотильды де Сюрвиль, поэтессы начала XV века, и передававшиеся из поколения в поколение в роду Сюрвилей до тех пор, пока не наступила эпоха Директории и последний представитель рода не был расстрелян в Ла Флеши. Однажды стихи эти будто бы уже находились в руках лица, способного оценить их по достоинству: в XVII столетии госпожа де Валлон готовила их к изданию, но смерть помешала ей закончить работу. От этого несостоявшегося издания уцелело только "Предуведомление", частично вошедшее в состав нового издания: предисловие мнимой госпожи де Валлон не меньше стихов свидетельствует о недюжинном таланте фальсификатора, ибо это — одна из самых правдоподобных подделок, какие когда-либо существовали. Замечательной находкой является сама мысль прибегнуть к посреднице и сделать ее ответственной за все анахронизмы, проскальзывающие в "Стихотворениях" Клотильды де Сюрвиль. Легко ведь представить себе, что госпожа де Валлон, не чуждая литературных занятий, не смогла удержаться от соблазна присовокупить к стихам своей прабабки кое-какие собственные сочинения и слегка подновить стихи Клотильды; таким образом, если бы у читателей и возникли сомнения в подлинности сборника, подозрение пало бы на одну госпожу де Валлон, а столетие, прошедшее со смерти этой дамы,

значительно смягчило бы ее вину. Несмотря на все ухищрения фальсификатора, к которым издатель, по-видимому, вовсе не причастен, "Стихотворения" Клотильды де Сюрвиль привлекли к себе пристальное внимание критиков, и, оттого ли, что ранняя смерть помешала господину де Сюрвилю довести свой труд до совершенства, оттого ли, что ему оказалось не по силам обмануть прозорливость наших эрудитов, знатоки единодушно пришли к выводу, что стихи Клотильды – подделка. Не говоря о чистоте языка, разнообразии размеров, тщательности, с какой автор избегает зияний и чередует женские и мужские рифмы, хотя чередование это, ставшее законом для нынешних поэтов, было совершенно неведомо современникам Клотильды*, – не говоря, наконец, о безупречной отделке всех стихов, подлинный автор оставил в тексте и другие, более серьезные улики, выдающие его с головой.

Конечно, при желании можно поверить, что безвестная дама, жившая во времена Алена Шартье, сочиняла стихи, отличающиеся от лучших творений современных поэтов лишь старинной орфографией, зачастую изысканной до манерности; позволить убедить себя, что она совершенно случайно написала сказку на сюжет, придуманный Вольтером, и сочинила романс, очень похожий на прелестный романс Беркена; наконец, можно допустить, что явный намек на недавние события в "Послании к Беранже" на самом деле касается лишь смут далекого XV столетия. Но как объяснить появление в поэме "О Природе и Мироздании", которую

---

*Впрочем, это правило стихосложения, как и все прочие, существовало негласно задолго до того, как его признали составители трактатов по поэтике. Насколько мне известно, первым его подробно изложил Табуро в своей книге "Пестрые страницы", где это и ему подобные любопытные наблюдения затеряны среди бесчисленного множества нелепостей.

Клотильда, по словам ее издателя, начала сочинять в семнадцать лет, цитаты из Лукреция — ведь Поджо отыскал текст его поэмы много позже, а во Франции она стала известна лишь в 1473 году, когда в Брессе вышло издание Тома Феррана? Как понять, что Клотильда толкует о семи спутниках Сатурна, первый из которых был открыт Гюйгенсом в 1655 году, а последний Гершелем в 1789 году?

Да что там говорить, всякий, кто хоть немного знаком с нашей старинной поэзией, не нуждается в этих веских доводах. Он и без них поймет, что стихи Клотильды — сочинение нашего современника, рядящееся в старинные одежды, более похожие на маскарадный костюм, ибо в погоне за архаизмами фальсификатор не раз изобретает неологизмы. Он обожает придумывать слова, прибавляя к латинскому корню французское окончание, хотя такие слова никогда не приживались в нашем языке. Правда, в те далекие времена, когда сокровищница языка неспешно наполнялась новым богатством, подобные заимствования были в большом ходу; их великое множество у Ронсара, у Дю Бартаса и особенно у злополучного Эдуарда дю Монена, ухитрявшегося смешить людей на четырех или пяти языках; однако Клотильда жила раньше них и возможности ее были еще более ограничены. Есть преграды, которых не одолеть даже самому гениальному творцу. Ронсар, каким бы допотопным он ни выглядел сегодня, был не лишен таланта, но даже ему оказалось не под силу сделать для языка то, что сделал Малерб. Языки складываются постепенно: предугадать их развитие невозможно, и это ничтожное обстоятельство, почти незаметное для большинства читателей, вернее всего указывает людям сведущим, что стихи Клотильды — подделка.

Ныне всем известно, кто настоящий автор этих

любопытных стихов. Я полагаю, что ни у кого не осталось сомнений в том, что это сам господин де Сюрвиль; он, безусловно, обладал достаточным талантом, чтобы оправдать это почетное подозрение. Я дважды имел честь видеться с ним. Накануне того дня, когда жестокая судьба оборвала нить его жизни, всецело преданный своим рискованным замыслам, он не переставал думать о поэзии, и, хотя он не скрывал собственной тяги к сочинительству, на первом месте у него всегда стояли стихи Клотильды. Для тех, кто знает поэтов, это обстоятельство говорит само за себя: коль скоро поэт печется о стихах никому не ведомой родственницы больше, чем о своих собственных, значит, он имеет к ним самое непосредственное отношение. Высказывалось мнение, что стихи господина де Сюрвиля совершенно не похожи на стихи Клотильды, что его муза грешит излишней восторженностью, далекой от наивной и благородной простоты госпожи де Сюрвиль, однако никто не вспомнил, что в этих несовершенных стихах есть чудесные находки, что автор писал их в ранней юности, а к тридцати годам, счастливо обретя свою манеру, отточив талант, он вполне мог сделать большой шаг вперед. Я собственными ушами слышал от господина де Сюрвиля стихи, которые отличались от стихов Клотильды лишь современным языком, а ведь стоит убрать из ее сочинений архаизмы — и от простодушия не останется и следа. Старинный язык так дивно выражает простые чувства и трогательные мысли, что, слыша его, невозможно оставаться равнодушным: он словно переносит нас в далекое прошлое, испокон веков кажущееся людям царством невинности и счастья. Вот почему старинный язык так прекрасно рисует сладостные картины ушедших лет, меж тем как в эпопее и лирической поэзии он выглядит неуместно. Присмотревшись внимательнее, можно обнаружить в стихах Клотильды ту

самую восторженность, за которую осуждают господина де Сюрвиля, и убедиться, что в одежды золотого века рядится здесь поэзия вполне современная. Как бы там ни было, стихам Клотильды суждена долгая жизнь, и читатели будут рады, если господин де Ружу обнародует оказавшиеся в его руках неизданные стихотворения поэтессы, о которых он упоминает на странице 90 своего любопытного "Опыта о переворотах в науке и искусствах". Эти неизданные стихи, без сомнения, также написанные господином де Сюрвилем и побывавшие однажды в моих руках, заслуживают, как мне кажется, не меньшего внимания, чем уже опубликованные, и если они не вызовут столь жарких споров у критиков, то наверняка пленят читателей, и издателю не придется прибегать к мистификации (впрочем, вполне невинной), чтобы пробудить их интерес*.

IX

О вставках

Многие сочинения древних дошли до нас в искаженном виде, одни пострадали от времени, другие — от ярости варваров, третьи — от нетерпимости и фанатизма. В этих памятниках прошлого содержались, если позволительно так выразиться, бесчисленные улики, которыми спешили воспользоваться ревнители всех сект — и тех, что только зарождались, и тех, что уже сходили со сцены, поэтому нет сомнения, что фальсификаторы не раз поднимали на уличающие их тексты свою преступную руку. Одни имели дерзость вымары-

---

*С тех пор "Неизданные стихотворения" вышли в свет и подтвердили мой взгляд на историю создания первого сборника Клотильды. Это — одно из тех моих мнений, которого не изменили ни время, ни опыт, ни научные штудии (НП).

вать в старинных текстах целые страницы, другие вставляли туда куски собственного сочинения. Но нечистая совесть всегда чем-нибудь да выдает себя, особенно когда ей сопутствует грубое невежество: тем, кто вымарывал, было невдомек, что уничтоженные ими строки процитированы у других авторов и все равно дойдут до потомков, не говоря уже о том, что, творя свою разрушительную работу, фальсификаторы нарушали ход мысли автора, и неувязки выдавали их с головой. Те же, кто вписывал, действовали еще более неуклюже и нелепо — они либо вкладывали в уста древнего автора высказывания о таких вещах, которые не могли быть ему известны, либо заставляли его противоречить самому себе, либо так некстати включали в чужое сочинение собственные измышления, что даже самый неопытный глаз сразу видел подделку. Примеры подобных вставок встречаются в трудах Иосифа Флавия и даже Тацита (иные из его сочинений, возможно, только благодаря им и уцелели).

X

О дополнениях

К фальсификаторам ни в коем случае не следует причислять прилежных и великодушных авторов, которые, споспешествуя развитию словесности, восполняют пробелы в сочинениях знаменитых писателей, прямо оговаривая меру своего участия. Историческим сочинениям такие дополнения идут только на пользу, ибо читатель охотно прощает некоторые расхождения в стиле, если взамен восстанавливаются отсутствующие звенья цепи событий. Когда стиль не является главным достоинством произведения, дополнения вполне допустимы, в противном же случае дело обстоит иначе: так, я никому не посоветовал бы дописывать Тацита. Поэ-

тому я весьма признателен доброму Фрейншемиусу за то, что он сумел вовремя остановиться и ограничиться Титом Ливием и Квинтом Курцием – превосходными стилистами, которых, однако, позволительно дополнить отрывками собственного сочинения, поскольку читатель ищет в их произведениях не столько красоты слога, сколько суть событий. Иное дело Тацит. Дерзок и самонадеян тот, кто вознамерится дополнить этого великого историка, но еще беззастенчивее стихотворец, смеющий ставить свои вирши рядом со стихами великого поэта. Мафео Веджо имел наглость сочинить XIII песнь "Энеиды", а Вида вослед Горацию создал "Поэтическое искусство" на его языке.

Более того, иногда подобные дополнения переходили в подлог, ибо авторы их, возгордившись совершенством своего подражания, не могли удержаться от соблазна ввести читателей в заблуждение. Именно так, на мой взгляд, поступил Нодо, хотя опубликованные им отрывки из знаменитой книги Петрония весьма удачно воспроизводят стиль оригинала. Впрочем, нелепый подлог совершают вообще все те, кто выдают "Сатирикон" за сатиру на Нерона и его двор. На самом деле это просто собрание рискованных шуток щеголя-вольнодумца, блестяще владевшего пером. Господин Вольтер рассмотрел этот вопрос всесторонне, и мне нечего добавить к его словам, разве что сказать, что "Сатирикон" вообще не заслуживает такого внимания, поскольку принадлежит к числу книг, о которых человеку порядочному не пристало говорить вслух.

XI

О стилизациях

Поклонники литературы нежной и сладострастной, но начисто лишенной цинизма, больше, чем о неполноте

"Сатирикона", сожалели об утрате отрывка из "Дафниса и Хлои", который господам Ренуару и Курье посчастливилось разыскать во Флоренции. Роковая случайность дала недоброжелателям прекрасный повод для сомнений в подлинности находки: та самая страница, на которой находился неизвестный доселе фрагмент, оказалась залитой чернилами, но, не говоря уже о том, что оба названных ученых заслуживают самого полного доверия, подлинность восстановленного господином Курье фрагмента была неопровержимо доказана в ходе литературной распри, вызванной прискорбной утратой. Итак, новый фрагмент в самом деле принадлежит Лонгу, хотя господин Курье с равным успехом подражает и древним и новым; так, в переводе отрывка из Лонга, о котором идет речь, он очень похоже воспроизвел манеру Амио.

Точное воспроизведение чужого стиля доступно не всякому литератору, да и возможности этого рода литературы весьма ограничены. Можно повторить излюбленные обороты писателя, но не ход его мысли. Стиль сводится к некоему набору приемов, из которых каждый выбирает те, что ему по душе и по плечу, но замысел произведения вытекает из вполне определенного и присущего только данному автору взгляда на вещи, подражать которому — занятие почти безнадежное. Конечно, есть примеры, опровергающие это правило, но во всех этих случаях подражатели копировали стиль, который очень легко воспроизвести, вроде стиля Мариво — госпожа Риккобони так ловко закончила его "Марианну", что любители такого рода романов не в силах отличить подделку от подлинника. Подозреваю, что издатели "Новой Элоизы", присовокупившие к ней неизвестное доселе письмо Сен-Пре, с которым у меня никогда не возникало желания познакомиться, справились со своей задачей не так блестяще. Лучше бы они

обратились за помощью к господину Лесюиру, автору забытой книги "Француз-пройдоха", к которой я еще вернусь, – он гораздо лучше их владел искусством стилизации; впрочем, самое лучшее было бы не трогать "Новую Элоизу", ибо есть все основания полагать, что Руссо сам знал, каким должен быть его роман.

Таким образом, мне трудно поверить в существование пространных стилизаций, неотличимых от подлинника, – пусть даже каждая фраза в отдельности будет похожей, целое непременно выдаст подражателя. Так, я могу допустить, что Гийом дез Отель или кто-то из его современников, не уступавший ему в остроумии, сумел вставить в роман Рабле крохотную главку, которая естественно растворилась в пространном повествовании и не вызвала никаких подозрений; но я никогда не поверю, что Гийом дез Отель написал всю пятую книгу. Недавно я листал довольно любопытный сборник подражаний такого рода, но ни одно из них не превышает нескольких печатных страниц*.

---

*Сходным образом обстоит дело и в живописи, где такие композиции именуют *пастишами*. Подражатель схватывает какую-либо особенность манеры художника, как правило, ту, которая лежит на поверхности и первой бросается в глаза, отчего обыватель нередко принимает подделку за подлинник. Однако внимательный зритель, которого в первую очередь волнует скрытая в полотне мысль, быстро понимает, что висящее перед ним полотно не принадлежит кисти Рафаэля, Лесюэра или Жироде. На полотнах Гвидо головам не хватало объемности; Джордано из Неаполя наловчился писать плоские головы, которые сбывал дилетантам по весьма дорогой цене. Тем не менее ныне картины Джордано ценятся невысоко, и знатоки, насколько мне известно, хорошо умеют отличать их от полотен Гвидо. Замечательным мастером пастиша был Тенирс, а Бон Буллонь, подражавший Гвидо еще лучше, чем Джордано, ухитрился провести самого Миньяра, который отомстил за обман, посоветовав подражателю всегда писать, как Гвидо, и никогда – как Буллонь. Впрочем, всех этих художников мы до сих пор помним отнюдь не благодаря пастишам. Умение писать пастиши вовсе не обличает в художнике выдающиеся способности; я знал одного немецкого живописца, который

К числу самых известных принадлежат подражания Гезу де Бальзаку и Вуатюру, написанные Буало и помещаемые в некоторых изданиях его сочинений. Этот великий писатель знал толк в стилизациях, о чем позволяет судить и его подражание Шаплену (см. примечание Н), блестяще передающее варварскую, тяжеловесную гармонию образца. Такая сатирическая стилизация имеет бесспорные достоинства, поскольку обнажает смешные стороны скверного языка или мнимого таланта. Сам Мольер не гнушался ею в "Жеманницах", "Ученых женщинах" и "Мизантропе", где так забавно высмеял вычурный язык некоторых прециозных кружков и словесные выкрутасы некоторых рифмоплетов. Он следовал примеру Рабле с его грубой, но блестящей сатирой. Пародировал ли Рабле в речи лимузинского студента "Тяжелое томление" Элизены де Крен, как полагают иные критики, или, что мне кажется гораздо

был в состоянии намалевать самое большее вывеску, но внезапно открыл в себе талант копировать "Интерьеры соборов" Питера Неефа, и пастиши эти были поистине блестящими. Говоря о пастишах, я не имею в виду точную копию той или иной картины; копирование – особый, очень нужный ученикам, а подчас и мастерам труд, идущий на пользу также и публике, которая получает благодаря ему новые экземпляры прекрасных и редких произведений искусства. Копиист должен работать более тщательно, чем создатель пастишей, которому, в свою очередь, потребно больше ума и пыла; однако создания второго любопытны – и не более того, тогда как труд первого приносит несомненную пользу. Впрочем, если копиист вздумает обмануть доверие покупателей, его деятельность может из полезной превратиться в преступную. Как бы там ни было, чем точнее копия воспроизводит оригинал, тем лучше, однако большой точности копиист достигает редко, поскольку для этого он должен сравняться талантом с творцом подлинника, иначе говоря, тоже быть великим мастером. Например, когда Андреа дель Сарто копировал прекрасный портрет Льва X работы Рафаэля, копия вышла такой совершенной, что даже Джулио Романо, писавший одежды на этом портрете, не мог отличить подражание от подлинника. Сходным образом Никола Луару удавалось передать в своих копиях величие пейзажей Пуссена.

более вероятным, насмехался над засильем латыни во французском языке своего времени, очевидно, что невозможно было остроумнее высмеять причуды модных авторов. Недаром с тех пор сатирики не раз прибегали к этому приему.

Следует заметить, и это замечание послужит нам основой небезынтересной литературной теории, что искусство стилизации отличается двумя особенностями: во-первых, невозможно долго подражать манере другого писателя, ничем себя не выдав, во-вторых, что хуже всего поддаются подражанию произведения писателей великих. Легко скопировать бросающуюся в глаза погрешность — подражать достоинствам гораздо труднее. Так обстоит дело и в искусстве, и в морали. Если с картин Гвидо были сделаны превосходные пастиши, то виной тому сам художник, чье пренебрежение общеизвестными законами светотени бросается в глаза. Иначе обстоит дело с Рафаэлем — существуют тысячи копий с его картин, пастишей же совсем мало, поскольку у этого мастера и композиция, и рисунок безупрёчны.

XII

О школах в литературе

Посмотрим, что происходит в литературе. Во все времена великие писатели изъяснялись языком благородным и естественным, чуждым вычурности и словесных ухищрений. Язык этот то мощен, решителен, возвышен, то легок, мягок, нежен, и перемены эти зависят не от игры слов и оборотов, а от смысла. Можно сказать, что у великих язык соткан не из фраз, а из идей, настолько полно слиты здесь знаки, которыми пользуется писатель, с чувствами, которые он хочет донести

до читателей! Так писали Вергилий, Расин, Буало, Фенелон. Сомневаюсь, чтобы стилизаторы нашли себе здесь поживу. Другое дело, когда талантливый писатель имеет ярко выраженные стилистические пристрастия: любит неожиданные цезуры, малоупотребительные инверсии, умолчания, восклицания и тому подобные фигуры речи. Поклонникам Цицерона, как я уже говорил, удавалось очень точно выдерживать стиль Цицерона в нескольких фразах подряд. Любой мало-мальски образованный юноша может время от времени вывести на бумаге тираду в духе Лукана или звучный и пышный период в манере Флора. До какой-то степени поддается подражанию отрывистый, неровный, афористический стиль Сенеки, равно как и мощный, лаконический язык Тацита, но лишь немногим под силу вложить в эту оболочку столь же могучие и высокие мысли, так что в конечном счете подобные стилизации могут ввести в заблуждение лишь людей неискушенных или рассеянных. Другое дело, если перед нами произведение автора неглубокого, но дерзкого, возмещающего недостаток таланта смелыми нововведениями, которые на первый взгляд вполне его заменяют и, благодаря своей необычности, могут вызвать изумление, граничащее с восхищением; в этом случае стилизатор может добиться большого успеха — ведь весь секрет такого автора состоит в формальных приемах, а они доступны всякому литератору. Возьму на себя смелость утверждать, что нет лучшего способа отличить истинный талант от такого, который только и умеет, что плести словеса. Гений не создает школы. Все мастера стиля равно достойны восхищения, но ни один из них не похож на другого. Слог Вергилия далек от слога Гомера, а слог Мильтона отличается от того и от другого, хотя все трое — гениальные поэты. Однообразие манеры, рождающее школы, — удел посредственностей.

Итак, если вы хотите вынести суждение о книге и доподлинно узнать, чем она вас пленила: своими ли собственными, так сказать, внутренними качествами или же ловкими приемами, — подвергните эту книгу испытанию стилизацией.

В наши дни, например, возникли во Франции поэтическая и прозаическая школы, о которых, быть может, стоит поговорить еще прежде, чем вынесут свой приговор потомки. Однако у меня так мало прав быть судьей в этой области, что я вовсе не хотел бы навязывать кому-либо свое мнение*; я не утверждаю, что я прав, я лишь делюсь своими впечатлениями, а читатели могут принять их к сведению, но вольны с ними не соглашаться. Более того, я рад отдать должное новым поэтам и расположить к ним публику: беда этих поэтов в том, что они родились в несчастливую эпоху, эпоху упадка прекрасной литературы, когда великие писатели уже сошли со сцены; поэтому мы должны быть признательны нашим современникам, попытавшимся с помощью невинных хитростей вернуть литературе былое величие. Правда, при этом они невольно подрывают основы литературы, которую стремятся спасти, и ведут ее к окончательному крушению, но что поделаешь: так уж

---

*В юности литературные занятия услаждали мой досуг, в пору зрелости они приносят мне законные доходы, но я никогда не считал литературу своим призванием и, разумеется, никогда не обольщался относительно своих талантов в этой области. Поэтому высказанное здесь мнение, сегодня, вдобавок, совершенно устаревшее, не претендует ни на чье внимание. Это просто-напросто мои мысли; прав я или не прав, не знаю и потому с самого начала зарекся приводить примеры. Я уважаю любой талант и, более того, любое соперничество в литературе; каждый из соперников, добился он успеха или нет, достоин уважения. Если читатели догадаются, кого я имел в виду, говоря о школах, то это не моя вина. Описать таких незаурядных авторов, как вожди литературных школ, — все равно что назвать их по имени; в этом привилегия гения, а может быть, и его несчастье (НП).

устроен мир. Точно таким же образом поэты александрийской школы погубили греческий гений; так зачахли латинские музы, когда Стаций, а затем Авсоний и Клавдиан обрядили их в пышные одежды и осыпали блестящей мишурой. Литература любого народа в чем-то подобна живому существу: она начинает с лепета, однако в этих бессвязных возгласах проглядывают великие мысли. В молодости литература пламенна и вдохновенна, в зрелости – могуча и величественна, на склоне лет – серьезна и возвышенна, а под конец наступает пора, когда, дряхлая, немощная, выжившая из ума, она меняется до неузнаваемости. Тщетно искусная рука пытается с помощью новейших румян возвратить ей молодость, тщетно стремится вернуть упругость ее дряблым мускулам – слишком поздно, ничто уже не поможет отжившей свой век литературе, и она рухнет под тяжестью варварских побрякушек, которые идут ей не на пользу, а во вред. Более того, будучи осуждены жить и творить в пору агонии обреченной литературы, самые талантливые люди уподобляются жукам, которые точат поваленные деревья и тем ускоряют их гниение; они мнят, что созидают, а на самом деле лишь разрушают.

Прелесть стиля, в частности стиля поэтического, заключается прежде всего в свежести, новизне, неповторимости образов; главное здесь – нестойкий и мимолетный аромат фантазии. В эпоху зарождения языка, или, что то же самое, в эпоху зарождения поэзии, мысли живы, ярки, вдохновенны, поэтому все ощущения приятны и глубоки. В эпоху заката язык и литература вырождаются – в противоположность многим другим человеческим установлениям, которые никогда не кажутся такими процветающими и долговечными, как накануне крушения. Энний писал языком мощным, выразительным, гармоничным; народная латынь – самое жалкое из людских наречий.

Поэты, силою своего таланта хоть немного возвышающиеся над толпой, но родившиеся слишком поздно, чтобы вкусить от щедрот юной поэзии, пытаются по мере сил бороться со злым роком, который тяготеет над их эпохой. Порой их благородные чувства достигают такой силы, что творят чудеса, но случается это очень редко; великий поэт, пишущий на отжившем языке, — исключение такое разительное, что оно не столько опровергает, сколько подтверждает правило.

Если поэт не так талантлив, как Альфьери, и не в силах вдохнуть новые силы в поэзию и язык своей страны, он прибегает к ухищрениям, которые на короткое время производят то же действие, что и природный дар, но истощаются гораздо быстрее. Поэтические вольности нравятся публике до тех пор, пока поражают новизной, ибо ни одно из чувств, вызываемых литературным произведением, не является более надежным залогом одобрения, чем удивление. Однако, сделавшись привычными, те же самые вольности начинают оскорблять публику. Очарование быстро иссякает, ибо бездарная посредственность пускает однажды найденный прием в ход и кстати и некстати, раскрывая его тайну всему свету. На смену устаревшему новшеству спешит другое, третье и так далее, пока запас их не истощится. А тем временем истинная поэзия, иссушаемая этими тщетными превращениями, доживает свой век и умирает.

Литературы нового времени, зародившиеся на закате литератур древности, унаследовали большую часть их пороков. Так, Корнель перенял пристрастие к антитезам у древнего испанца Лукана и у испанца нового времени Кальдерона. Конечно, противопоставление двух идей — надежный способ поразить воображение, и пренебрегать им не стоит, но, когда видно, какого долгого и напряженного труда стоят противопоставления своему создателю, они теряют всю свою прелесть. Этот злопо-

лучный норок погубил блестящий талант Геза де Бальзака, он же в глазах многих людей со вкусом отнимает часть достоинств у корнелевского "Сида".

Прошло сто лет после триумфов Корнеля, и, вознамерившись освежить поэтический язык, Вольтер сразу вспомнил об антитезе, которая долгое время была не в чести у литераторов и потому поразила всех блеском новизны; на редкость гибкий ум Вольтера легко овладел этой симметричной и вычурной фигурой, неизвестной Гомеру и чуждой Вергилию, но изобилующей в литературах времен упадка, фигурой, которая так же несовместима с совершенством формы, как с правдой и здравым смыслом, фигурой, которая ломает, калечит, искажает мысль, придает периоду отрывистое, однообразное, монотонное звучание, ограничивает круг мыслей сравнениями и контрастами и грешит в лучшем случае манерностью, а в худшем – неточностью и надуманностью.

Неуместное обилие антитез смущает всех без исключения читателей "Генриады", поэтому поэтическая школа, пришедшая на смену Вольтеру, постаралась изыскать другие приемы или, по крайней мере, обновить антитезу. Прежде противопоставляли идеи и образы, ныне стали противопоставлять слова – способ еще более нелепый и ошибочный. Писатели возомнили, будто для того, чтобы создать шедевр, достаточно расставить на концах стихов или полустиший антонимы, словно алгебраические знаки в уравнении. Мало того, людей издавна восхищало искусство, с каким Вергилий, Корнель или Расин сочетают слова, искусство поистине чудесное, ибо в основе его лежали гениальные прозрения, а не смехотворные потуги честолюбия. Так вот, то, что у великих было счастливой находкой, сделалось у их последователей повседневной забавой. Нынче вся премудрость состоит в том, чтобы вопреки здра-

вому смыслу ставить рядом выражения, не имеющие друг с другом ничего общего, и подбирать к каждому слову такое определение, о каком прежде никто не мог и помыслить. Газеты захлебываются от восторга, Академии не успевают награждать баловней фортуны, сыплющих редчайшими поэтическими находками, и никто не осмеливается последовать примеру Альцеста и сказать им:

Игра пустая слов рисовка или мода.
Да разве, боже мой, так говорит природа?*

Вся эта мишура приводит на память посланцев варварских племен – они являлись римскому сенату в золоте и жемчугах, но разве часто могли они похвастать красноречием, достойным красноречия крестьян с Дуная? Расин писал стихи очень простые, хотя и полные самых возвышенных чувств, – нынче, когда стихотворцы шагу не могут ступить без мелиндской слоновой кости и офирского золота, никто не осмеливается ему подражать. Конечно, современные языки насчитывают от шестидесяти до восьмидесяти тысяч слов, и из них можно составлять подобные сочетания до бесконечности; однако это не прибавит жизнеспособности поэтическим поколениям, ибо попрание законов поэзии губит и язык, и саму поэзию. Как бы там ни было, всякому понятно, что поэтам новой школы очень легко подражать; понятно и другое: тот, кто написал бы на них пародию в духе Мольера или Рабле, оказал бы литературе неоценимую услугу. Я припоминаю пародийное четверостишие, описывающее деревенского священника:

С индиговой волной, с лазурью любодейной
Его тугих чулков смешался цвет лилейный.
Но алебастр снегов неправду обличил:
Их лживый блеск своим он тотчас помрачил,

---

*Мольер. Мизантроп, д. I, явл. 2; перевод Т.Л.Щепкиной-Куперник.

и сожалею, что его остроумный автор так скоро прекратил свои насмешки, ибо создатели нынешних буриме заслуживают такой же суровой взбучки, какую задал когда-то своим современникам Сарразен*. А пока наши стихотворцы наперебой пишут пародии сами на себя; иначе не назовешь эти три или четыре сотни жалких поэмок, сочиненных, кажется, одним и тем же автором, по одному плану и, более того, на одни рифмы, поэмок до того одинаковых, что разобраться, какая кому принадлежит, невозможно, и Академия, не решаясь отдать предпочтение кому-то одному, делит свое восхищение между двумя десятками поэтов. Сомневаюсь, чтобы Буало и Расин, живи они в наше время, разделили бы это восхищение.

Столь же примечательные изменения произошли в прозе; мастеров стилизации ждет здесь обширное поле деятельности. Создается впечатление, будто язык, в который Монтескье вдохнул столько ума, Бюффон – столько величия, а Руссо – столько красноречия и пыла, вдруг перестал удовлетворять новое поколение литераторов, и оно сменило его на какой-то другой, который потрясает воображение, но ничего не говорит уму, и в котором

---

*Приведу, кстати, и еще одну пародию, которая кажется мне не менее удачной:

Друг, школа новая тебе воздаст любовью:
Она к цветистому пристрастна многословью;
Известен вождь ее своим златым пером,
Что быстро взад-вперед порхает над листом
И, приправляя стих землей, водой, эфиром,
Для громозвучных рифм играет целым миром.

Если сегодня трудно почувствовать, в чем соль этих шуток, то лишь оттого, что школа, против которой они направлены, утратила многие свои позиции, а точнее говоря, вовсе сошла со сцены за те пятнадцать лет, которые отделяют первую публикацию этих строк, в ту пору звучавших весьма дерзко, от нынешнего издания; мы оставили их в книге лишь как документ, ценный для истории французской литературы начала XIX века, – стоит ли после этого толковать о *бессмертии* литературных школ? (НП).

Есть слова и звуки, и ничего более.

Прежде всего прозу стали облагораживать, но не посредством мудрых мыслей и точных выражений, как то делали великие мастера, а с помощью некоего поэтического лака, совершенно чуждого ее характеру, с помощью насильственных инверсий и изысканного колорита, который изменяет ее облик, но не украшает его. Боссюэ, который, размышляя о возвышенном, часто обращался к священным книгам и, можно сказать, напитал свои сочинения библейским слогом, порой употреблял во множественном числе слова, которые, как правило, употребляются лишь в единственном, чем придавал фразе благолепие и торжественность. Эта маленькая хитрость так полюбилась нашим новоявленным гениям, что быстро набила всем оскомину. Из высокой прозы были изгнаны все существительные в единственном числе, да и множественное число отныне появлялось чаще всего в собирательном значении: если гремел гром, то непременно разверзались хляби небесные, если трепетал зефир, то непременно среди всех пустынь, если поминались берега, то непременно всех морей*.

Иной способ изображать возвышенные чувства изобрел Паскаль: он говорил о самых серьезных вещах подчеркнуто простыми, едва ли не банальными словами. Сходным образом Фенелону и другим писателям с нежной и чувствительной душой превосходно удавалось,

---

*Следует отметить, что великий прозаик нашего времени, который так прекрасно знает гиперболизирующие возможности множественного числа, ибо не раз находил примеры тому в Библии, написал однажды, что слово Элохим, стоящее в начале Книги Бытия, является неопровержимым доказательством существования Троицы, меж тем как на самом деле это просто-напросто поэтический образ, слово, имеющее собирательное значение. В поэзии слово "боги" всегда употребляется именно в этом значении. Автор "Гения христианства" наверняка сотни раз встречал его у Платона, Ксенофонта, Цицерона и многих философов, признававших единобожие; употребляют его и современные поэ-

если можно так выразиться, *умягчать* свой стиль, рассыпая по тексту упоминания о предметах трогательных и привычных. С особенным блеском владел этим искусством Лафонтен. Названные два приема, требующие большей изобретательности, чем предыдущий, породили, однако, не меньше злоупотреблений; досаднее всего, что даже люди весьма одаренные позволяли себе извращать поэтический язык, используя эти приемы как попало и делая тайны гениев достоянием черни. Добавьте сюда несколько обрывков самого легкодоступного стиля из всех, стиля описательного, и можете считать, что вы овладели тем, что ныне именуют литературным ремеслом; это унизительное слово, которым живописцы обозначают чисто технические навыки, вполне подходит к тому рабскому копированию приемов, о котором я веду речь. Конечно, на первый взгляд у литераторов-ремесленников есть убедительное оправдание: «Чем вам не нравятся наши сочинения? — говорят они. — Ведь оборот, который вас раздражает, заимствован у Лабрюйера, инверсия, которая вам не по нраву, взята из Флешье, где она вас восхищала, а фигура речи, которую вы порицаете, извлечена из „Писем к провинциалу" либо из „Надгробных речей"». — Согласен, но не сваливайте вину на автора "Надгробных речей" и сочинителя "Писем к провинциалу". Поймите, что

ты, и не где-нибудь, а в христианских эпопеях. Множественное число всегда звучало пышно и торжественно и потому приличествовало высшему существу. Испанский король говорит о себе "я", но это исключение, наши же монархи всегда именовали себя "мы". Видеть в слове "Элохим" доказательство существования Троицы так же опрометчиво, как сделать из наших старинных указов, где употреблено слово "мы", вывод, что во Франции, как в Спарте, было два короля. К тому же между нашими документами и книгами Моисея есть некоторая разница, а Троица, я уверен, не нуждается в доказательствах такого рода; впрочем, еще больше я уверен в том, что литераторам не стоит браться за решение вопросов, которые их не касаются.

прекрасный оборот, который у них звучал совершенно естественно и, говоря вашим языком, был исполнен многочисленных гармоний, совершенно неуместен в вашем сочинении. Вспомните, что слова и состоящие из них обороты либо фигуры – не более чем одежды мысли, которые ничем не замечательны сами по себе и вызывают восхищение или смех только в зависимости от того, какое чувство за ними стоит. Каррарский мрамор – одно из прекраснейших созданий природы, но в неумелых руках осколок этого мрамора может испортить всю мозаику.

Я с радостью повторю то, с чем могут спорить только люди злонамеренные: среди основателей этих злосчастных школ есть писатели по-настоящему талантливые, ведь что ни говори, а подать в литературе пример, пусть даже дурной, может только очень яркий талант. Но на одного автора, чьи опасные нововведения оправданы множеством красот, приходится куча авторов, которые, доведя новшества до крайности, до абсурда, заходят в тупик, – и все это ничем не оправдано. У первопроходцев, по крайней мере, хватает ума скрыть от читательской толпы новый прием, на который они возлагают все надежды, однако заблуждение публики быстро рассеивается, и она с изумлением понимает, что рукоплескала жалким подделкам – ибо как еще назвать произведения такого рода? Законодатели мод могут сколько угодно захлебываться от восторга, читая эти удивительные стилизации, и сколько угодно восклицать: "Это настоящий Фенелон! Точь-в-точь Боссюэ! Как похоже на Гомера! Не отличить от Исайи!" – "Сходство, конечно, есть, – отвечу я им, – но не больше, чем между плоскими лицами Джордано и полотнами Гвидо. Чтобы написать все эти возвышенные страницы, не нужно ничего, кроме умения подражать".

Раз уж я завел речь обо всех этих курьезах, которыми,

насколько мне известно, никто всерьез не интересовался, то продолжу и скажу, что если, как я уже говорил, великие произведения – гораздо более трудный материал для подражателя, чем произведения посредственные, то, сходным образом, великим писателям подражания не даются, занимаются ли они ими всерьез или берутся за них лишь для того, чтобы набить руку и позабавиться, как Буало, и если знаменитый автор "Поэтического искусства", снисходя подчас до подобных безделиц, неизменно имел успех, то это явное исключение из правила; все дело здесь, я полагаю, в том, что, совершенствуя свой вкус, обеспечивший ему одно из первых мест в литературе его времени, Буало старательно изучал различные стили и их недостатки. Что же касается прочих стилизаторов, то велика ли заслуга – обирать древних авторов, похищать у них все лучшее, чтобы воровски присвоить ту славу, которой они были обязаны прирожденной изобретательности и уму? Кроме того, выдающийся талант всегда сочетается с неким простодушием и своеобычностью нрава, чуждающимися рабского подражания, поэтому я полагаю, что если стиль какого-либо автора хвалят за сходство со стилем другого, пусть даже самого знаменитого сочинителя, то похвалы расточаются посредственному автору и посредственным произведениям. Перечитайте великих писателей всех времен; кажется, они пишут совсем просто, но вы не найдете среди их стилей двух одинаковых, как не найдете людей с абсолютно одинаковыми чертами лица или выражением глаз. Как пять-шесть черт в разном сочетании породили такие совершенные образцы человеческой красоты, как Юпитер Мирона, Геркулес Фарнезе, Аполлон, Фокион и Венера, так различные сочетания мыслей породили безупречные стили, всюду равно прекрасные и, однако, всюду разные. Тайна стиля скрыта в идеальном соответствии слов

мыслям; здесь же естественно было бы искать и причину разнообразия стилей, если бы у этого разнообразия не было другой, не менее важной причины: стиль писателя зависит от его характера, и, если у писателя нет своего стиля, значит, у него нет и характера, – недаром мудрый афоризм гласит: "Стиль – это человек". Истина эта всеми признана, и вряд ли хоть один новатор станет с нею спорить; более того, именно из нее они и исходили, но они надеялись создать оригинальный стиль, обновляя избитые поэтические средства или употребляя на каждом шагу приемы, которые прежде использовались очень скупо, – и в этом заключалась их ошибка. Мечтали они об открытиях, а создали пародии.

Говоря короче, у настоящих мастеров есть свой стиль, а у школ – манера; ее-то и усваивают в меру сил писатели, которые не имеют собственного стиля. Писатель талантливый, берущийся за перо по вдохновению, запечатлевает в своих произведениях собственный характер; писатель посредственный, берущийся за перо из упрямства, корысти или, что, пожалуй, более простительно, из любви к приятным и невинным литературным занятиям, запечатлевает в своих произведениях слабый отсвет характера других писателей, поскольку своего характера у него сроду не было; однако со временем он непременно приобретет навык, который отчасти заменит ему талант, и научится лепить свой стиль по образцу того, который хранится в его памяти, – вот что я называю естественной, или непроизвольной, стилизацией.

Жил в конце прошлого столетия один бедный человек, автор весьма причудливых романов, любимым занятием которого было писать письма великим людям своего времени. Поскольку адресаты не спешили отвечать ему, он решил взять этот труд на себя; миссию свою он выполнял с таким успехом, что Жан Жак Руссо,

прочтя в газете один из этих ответов, подписанный его именем, готов был признать себя его автором, – случай тем более примечательный, что в обычное время стиль фальсификатора был весьма далек от стиля Руссо. Чтобы добиться такого разительного сходства, подражатель прибегал к испытанному средству: забыв обо всем на свете, он на несколько дней погружался в чтение автора, от лица которого ему предстояло писать. Затем он собирался с мыслями и начинал творить, беря краски с палитры своей модели. Он отражал стиль своего образца, подобно тому болонскому камню, который, напитавшись за день солнечным светом, мерцает в темноте. Так Кампистрон походит на Расина, а Рамсей на Фенелона; так походят на кого-либо все второстепенные писатели, ибо у всех, кроме писателей первого ряда, мы встречаем одни только заемные стили.

Я вовсе не хочу сказать, что талантливому автору не следует учиться на творениях великих мастеров и что он не может извлечь из этой учебы большой пользы для себя; ведь помимо тайн, скрытых в стиле того или иного автора, существуют красоты более общего порядка, ведомые многим писателям и доступные всякому, кто свыкся с их творениями. Так, постоянное чтение Амио и Монтеня – хорошая школа для начинающего писателя, ибо язык их эпохи отличается простодушием, выразительностью, силой, до которых далеко нашему сегодняшнему языку. Известно, что многие знаменитые авторы по нескольку раз переписывали кто Фукидида, кто Тита Ливия, кто Макиавелли, кто Монтескье. Расин выучил наизусть увлекательный роман о Теагене и Хариклее, и кто знает, не этому ли юношескому увлечению обязаны мы некоторыми нежными и трогательными сценами в его трагедиях? Кто знает, не скрываются ли истоки республиканского

красноречия Руссо в "Жизнеописаниях" Плутарха, которые он так любил читать ребенком? У Вольтера на письменном столе всегда лежали "Письма к провинциалу" и "Малые великопостные проповеди". Недавно мне попался новейший сборник басен. В предисловии автор приносит свои извинения за то, что, лишь отнеся свои творения в типографию, узнал о существовании некоего господина де Лафонтена, который также сочинял басни. Такая оригинальность кажется мне довольно неуместной; если простодушный баснописец не читал баснописца великого, хорошего в этом мало, но лучше уж не читать его вовсе, чем переписывать так, как переписывает кое-кто. Наш великий век не слишком далеко ушел от вандализма.

XIII

О профессиональных стилях и манере

Помимо стилей, характерных для той или иной школы, существуют еще особые, своего рода *профессиональные* стили, которым испокон веков хранят верность все пишущие на ту или иную тему и которые своим единообразием могут ввести в заблуждение самый проницательный ум. В науке, даже в такой бестолковой ее отрасли, как библиология, все формулы священны и неприкосновенны; как тут не потерять своего лица? Бейль, которому приписывали "Размышления о "Критике лотерей" господина Лети"*, блестяще доказал свою непричастность к этому изданию: рассуждения его имеют столь непосредственное отношение к теме данной главы, что я не могу отказать себе в удовольст-

---

*В действительности автором этих "Размышлений" был переводчик Кларка господин Рикотье.

вии их процитировать. "Юноша, чей стиль еще не сложился, – пишет он, – с легкостью перенимает стиль автора, которого только что прочел: автор "Размышлений", возможно, два-три месяца подряд штудировал мой "Словарь". В его возрасте человек быстро усваивает прочитанное и надолго его запоминает; стоило юноше почувствовать, что мои рассуждения и взгляды ему по душе, – и вот он уже впитал их, сроднился с ними; берясь за перо, он уподобляется художнику, пишущему копию. Со мной в его годы такое случалось, и не раз: из-под пера моего сами собой выходили вместо собственных моих мыслей фразы из недавно прочитанной книги, а я этого даже не сознавал". Остается добавить, что общность профессиональных стилей нигде не проявляется так ярко, как в сочинениях научных и литературно-критических, которые, как я уже говорил, пишутся в основном по одному шаблону. Я, например, очень отчетливо чувствую, как, припоминая и записывая эти бесполезные сведения, дабы скрасить свое праздное одиночество, я возвращаюсь во времена своей юности и вновь проникаюсь духом старинных библиологических книг, которыми тогда зачитывался; впрочем, я не вижу в этом ничего дурного и с легким сердцем следую примеру старых библиологов, то и дело пускавшихся в бесконечные отступления, пустопорожние разговоры и тяжеловесные рассуждения. Выходящее из-под моего пера никчемное сочинение пополнит число книг, обреченных на забвение; когда содержание столь ничтожно, не стоит особенно печься о форме. Я буду благодарен тому великодушному читателю, который сочтет его подражанием худшей из компиляций, беспомощным дополнением к неудобоваримым бредням Байе.

XIV

О контрафакциях

Тем не менее разговор о подлогах еще не кончен, и я позволю себе задержать внимание своих немногочисленных читателей на уловках, с помощью которых иные авторы и издатели пытаются сбыть свои книги, – тема более чем обширная и благодарная; я ограничусь тем, что приведу несколько забавных, хотя и не новых примеров, рассказ о которых не займет много времени. О контрафакциях – "пиратских" перепечатках без ведома и согласия автора – я распространяться не буду; это подлое воровство – тема судебного разбирательства, а не литературно-критического сочинения. Укажу лишь два вида перепечаток, для которых, в отличие от прочих, сочетающих низость замысла с беспомощностью исполнения, потребен хоть какой-то талант. Перепечатка первого рода так точно повторяет оригинал, что различить их почти невозможно; она гораздо коварнее тех небрежных перепечаток, где грубые ошибки сразу бросаются в глаза. Перепечатка второго рода обогащает оригинал интересными дополнениями или улучшает его типографское исполнение. В библиографических трудах упомянуто немало таких изданий.

XV

О поддельных рукописях

Самая старинная проделка в истории книгопечатания – это, насколько мне известно, та, которую приписывают некоему Фусту, или Фаусту, компаньону Гутенберга: по слухам, Фуст втридорога продавал в Париже первые Майнцские Библии, выдавая их за рукопис-

ные книги. Говорят, что идеально ровное начертание букв в этих Библиях и абсолютная однотипность их страниц внушили покупателям некоторые — вполне обоснованные — подозрения, и, поскольку в ту пору ослепленные суевериями люди принимали все необычное за сверхъестественное и приписывали открытия человеческого гения дьяволу, Фуста сочли колдуном и едва не сожгли. Ему удалось спастись: так книгопечатание начало свою жизнь с победы над фанатизмом, который ему предстояло рано или поздно уничтожить. Изобретатели книгопечатания, влияние которого на судьбы мира растет с каждым днем, и вправду были могущественными чародеями, но они даже не подозревали, на какие чудеса способно их детище, а инквизиторы в своем злобном невежестве знали об этом еще меньше. Иначе они наверняка помешали бы прекрасному изобретению Гутенберга дойти до потомков.

XVI

О плагиате заглавий

Я не осмелюсь обвинить в жульничестве тех авторов и издателей, которые стараются привлечь читателей модными заглавиями уподобляясь типографу, который просил всех знакомых авторов написать еще одни "Персидские письма". "Характеры" Лабрюйера породили целую плеяду книг с таким же названием, и, хотя книги эти довольно быстро изгладились из памяти читателей, в свое время они покупались нарасхват. На моих глазах читатели расхватывали толстые тома, где на обложке стояло слово "Гений", хотя гения там не было и в помине, — их авторы подражали знаменитой книге, где гений виден в каждой строчке. Еще хуже обстоит дело с пьесами: драматурги только и делают что в погоне за успехом

воруют друг у друга нашумевшие заглавия. Впрочем, кража заглавия – самая невинная из краж; гораздо печальнее, когда заглавие у книги свое, зато все остальное – заемное*, более того, заглавия, как правило, крадут незадачливые честолюбцы, и это лишь подчеркивает их полную бездарность. Я знаю немало "Опытов" в духе Монтеня, которые никто никогда не раскрывал. Все, кому не лень, сочиняют "Максимы", но на книжных полках стоят только "Максимы" Ларошфуко. Поговаривают, что один скромный стихотворец намеревается издать трагедии "в духе господина Корнеля". Я не советовал бы ему исполнять задуманное.

Среди ловкачей, заимствующих заглавия, трудно найти такого остроумного и удачливого, как Кристиан Кортхольт; своему памфлету против Гербера Чербери, Гоббса и Спинозы он дал название "De Tribus Impostoribus"**. Случайно ли, намеренно ли он так поступил, но заглавие это принесло его книге неслыханный успех, а ему самому – кучу денег. Если память мне не изменяет, это отнюдь не единственный случай, когда хитрость торжествовала победу над невежеством любопыт-

---

*Правосудие не всегда было того же мнения. В деле об Академическом словаре суд постановил считать виновным того, кто украл заглавие, однако на кражу содержания судьи часто смотрят сквозь пальцы. Все это отнюдь не означает, что правосудие бывает неправым, просто-напросто в этой области еще нет законов. Что же касается дела, о котором я упомянул, то досаднее всего, что, пока обещанный нам учеными мудрецами словарь не готов, мы принуждены пользоваться ныне существующим словарем Академии, который – приходится в очередной раз признать это – не более чем скверная компиляция. Тот словарь, который сочли плагиатом с академического, – гораздо лучше, хотя и ему далеко до совершенства, но его судьба доказывает, что всегда лучше быть самим собой и что если ставить под чужой работой свое имя бесчестно, то ставить над своей собственной работой название, придуманное другими, бессмысленно.

**О трех обманщиках (*лат.*).

ной толпы; мне смутно помнится, что и во Франции вышел пасквиль под этим заглавием, направленный против трех философов, одним из которых был Гассенди; но, судя по всему, судьба этого сочинения оказалась не такой счастливой.

XVII

О подложных книгах

Раз уж я заговорил о книге "De Tribus Impostoribus", которой, как блистательно доказал в своем исследовании господин де Ламоннуа, никогда не существовало, что не помешало ей не так давно появиться в продаже, воспользуюсь случаем и расскажу ее историю. Известно, что это удивительное сочинение вызвало жаркие споры, которые, впрочем, исчерпывающе освещены в упомянутом исследовании. Суть его сводится к следующему: данный трактат относится к числу книг, состоящих (во всяком случае, так было до последнего времени) из одного заглавия, идея его принадлежит, по слухам, одному прославленному монарху, но ни один литератор не осмелился развить его рискованную шутку на бумаге, ибо в те времена подобное вольномыслие было отнюдь не безопасно; литераторы так много толковали об этой книге, которая не была и не могла быть написана, что в конце концов поверили в ее существование; в свете даже называли имена ее издателей, поминая людей, известных своим безбожием и предприимчивостью, среди прочих — Вешелей, но все эти толки не были подкреплены ни малейшими доказательствами. Как, однако, прикажете объяснить появление известных ныне экземпляров, которые, если судить по дате, вышли в то самое время, когда, по всем предположениям, и мог быть написан пресловутый трактат? Разве не оп-

ровергает эта находка самые разумные рассуждения исследователя? Можем ли мы сомневаться в существовании книги, занесенной в каталоги нескольких публичных распродаж? На эти вопросы можно ответить двояко. Да, трактат "De Tribus Impostoribus" существует, хотя экземпляры его наперечет. Нет, трактата "De Tribus Impostoribus", лишившего покоя библиологов XVII столетия, не существует.

В детстве я владел экземпляром этой книги, идентичным тем, которые описаны в каталогах, – это была небольшая брошюрка в восьмую долю листа, объемом 46 страниц плюс фронтиспис, набранная "августином" и напечатанная на рыхлой, рассыпающейся, потемневшей бумаге (возможно, ее слегка подкрасили, но в ту пору мне не пришло в голову это проверить). На книге стояла дата издания – 1598, которую некоторые библиографы читают как 1698. Разумеется, ни та ни другая дата не верна, хотя более вероятно, что подделка была совершена в 1698 году. Во-первых, незадолго до того Кристина Шведская пообещала тридцать тысяч ливров за экземпляр этой книги – какой соблазн для мошенников! Во-вторых, свободомыслие, а в некоторых странах и свобода печати достигли в эту пору небывалого расцвета. Голландия и Германия кишели дерзкими беженцами, которым ничего не стоило изготовить такую подделку, и, хотя нападать на одно или два вероучения всегда было опаснее, чем осмеивать все религии разом, издание подобной книги встретило бы не больше затруднений, чем публикация смелых теорий Гоббса или Спинозы. С другой стороны, очевидно, что королева Кристина трактата "De Tribus Impostoribus" не получила; если же он был издан, пусть даже крошечным тиражом, после ее смерти, то как объяснить, что Ламоннуа, чье исследование вышло, по-видимому, несколько лет спустя, ничего об этом не слышал? Как объяснить, что эта книга

ускользнула от внимания ученых библиографов XVIII столетия – таких, как Проспер Маршан, Саленгр, Давид Клеман, Бауэр, Фогт, Дебюр и тысяча других, – и что мы не обнаруживаем никаких ее следов в каталогах богатейших и любопытнейших библиотек того времени? Точно узнать ее тираж невозможно, но я могу назвать четыре экземпляра, существование которых, на мой взгляд, не подлежит сомнению: это книги из собраний господина де Лавальера, господина Кревенны, господина Ренуара и тот экземпляр, что был у меня. Более того, сейчас, когда я пишу эти строки, число экземпляров, возможно, сильно выросло. Однако вот что странно: даже книги, сохранившиеся в одном-двух экземплярах, такие, как знаменитое сочинение Сервета, первое издание "Кимвала мира" Деперье, "Бич веры" Жоффруа Валле и "История Калежавы" Жильбера, были описаны в каталогах и продавались с торгов. Что же могло задержать появление на книжном рынке интересующего нас сочинения, если оно в самом деле вышло задолго до конца XVIII столетия? Известный коллекционер господин де Мокюн написал на полях принадлежавшего ему каталога библиотеки герцога де Лавальера, что герцог сам изготовил эту книгу в сообществе с аббатом Мерсье де Сен-Леже, ловким библиографом, вполне способным принять всяческие меры предосторожности против возможного разоблачения. Господин Ренуар взял на себя труд защитить герцога де Лавальера от этого позорного обвинения в мошенничестве, на которое не пошел бы, по его словам, даже самый наглый старьевщик; впрочем, надо отметить, что свою защиту господин Ренуар построил на одних предположениях и что, судя по его каталогу, он сам толком не знает, где и когда было издано находящееся в его руках библиографическое сокровище. Он лишь счел нужным добавить, что гер-

цога де Лавальера и Мерсье де Сен-Леже полностью оправдывают слова, написанные на первой странице его собственного экземпляра: Ex libris Frid. Allamand, dono Abrah. Valloton, Roterodami, 1762, поскольку эта дата противоречит обвинению господина де Мокюна. Признаюсь, поначалу этот довод не удовлетворил меня, но за время, прошедшее после выхода первого издания моей книги, я смог убедиться в его полнейшей справедливости, и если я в ту пору оставил вопрос открытым, ибо располагал лишь сведениями, которые хранила моя память, и не имел возможности их проверить, то почему злой рок помешал разобраться в судьбе "De Tribus Impostoribus" всем остальным исследователям? и как могло случиться, что три вышедших одно за другим издания прекрасного "Учебника книгопродавца" господина Брюне нимало не рассеяли окружавшую этот вопрос тьму, такую прозрачную, такую легкую, такую, выражаясь словами Мильтона, "зримую"? Да что там говорить! Господин Барбье, посвятивший нашему трактату весьма пространное рассуждение в последнем издании "Словаря произведений, выпущенных анонимно", не только не внял доводам господина Ренуара, но, напротив, усугубил путаницу, отстаивая нелепую выдумку господина де Мокюна, причем в конце своего рассуждения он, как ни странно, вдруг ненароком приводит цитату, которая не оставляет камня на камне от всего, изложенного им выше, ибо содержит единственную здравую мысль, какую когда-либо высказывали по этому поводу. Однако господин Барбье не внял этой мысли: пав жертвой собственной системы, он оказался глух к очевидной истине. Вот вам наша филология! Вернемся к тому, что мы знаем наверное. Еще шестьдесят лет назад все немецкие книголюбы, библиографы и филологи пришли к единому мнению: все экземпляры описанного в начале этой главы издания книги "De

Tribus Impostoribus" были отпечатаны около 1753 года стараниями венского книготорговца Страубия, который продавал их по двадцать золотых монет, а то и дороже, за что и был надолго заточен в тюрьму в Брауншвейге. Из этого следует, что в 1762 году господин Алламан вполне мог стать обладателем этой книги, а господин Барбье совершенно напрасно поверил тем, кто записал герцога де Лавальера и аббата Мерсье де Сен-Леже в мошенники. Между прочим, приведенные нами сведения — не просто предания и толки, они подтверждены множеством фактов, с которыми можно ознакомиться, заглянув хотя бы в "Избранную историко-литературную библиотеку" Юглера (Т. III. С. 1665).

Вероятно, экземпляр герцога де Лавальера вызвал недоверие оттого, что был продан всего за 474 ливра — сумму крупную, но явно недостаточную для единственной в своем роде книги, само существование которой долгое время находилось под сомнением. Экземпляр господина Кревенны, судя по всему, не был пущен в продажу из-за скромных размеров аукциона, во всяко случае, я никогда не встречал в каталоге, который не раз держал в руках, его цены. Ясно одно: если книга эта — подделка, то, несмотря на всю свою редкость, она не заслуживает особенного внимания, тем более в наше время, когда в защиту деизма высказались авторы множества других, более глубоких и солидных трудов. Дело, разумеется, обстояло бы иначе, будь эта книга написана в XVI веке и принадлежи она перу Доле, Анри Этьенна, Мюре или хотя бы Постеля — тогда помимо необычайной редкости она обладала бы и иными достоинствами, в частности донесла бы до нас мысли прославленного литератора, а заодно помогла решить знаменитую библиологическую загадку.

XVIII

О подложных отрывках

Обстоятельства, заставившие библиографов так долго разыскивать трактат "De Tribus Impostoridus", разительно отличаются от тех, которые принесли известность Флегону. Этот сочинитель, родом из города Траллы в Лидии, написал весьма любопытный трактат "О вещах чудесных". Евсевий Кесарийский приводит в своей истории его рассказ о тьме, накрывшей землю в миг смерти Иисуса Христа; первые христиане так охотно вставляли в рукописи, находившиеся в их распоряжении, подобные свидетельства, что сами отцы церкви не раз горько сетовали на эти подлоги. Многознающий Иоганн Мерсиус, автор стольких замечательных книг по древней истории и по лексикологии (в частности, глоссария, который, быть может, подсказал Дю Канжу идею его словарей), не включил эту цитату в свое издание Флегона, вышедшее в 1620 году в Лейдене у Эльзевира-старшего; сомневаюсь даже, что он помянул его хоть словом, впрочем, поручиться за это я не могу, поскольку лишился всех своих книг, и в их числе труда Флегона (у меня был замечательный экземпляр из библиотеки де Ту – конволют из сочинений Флегона, Антигона Каристского и Аполлония Дискола). Как бы там ни было, вся эта история вызвала огромный интерес к Флегону, и цена его труда "О вещах чудесных" (история которого, замечу в скобках, до сих пор почти неизвестна нашим библиографам) подскочила на распродаже книг господина Гуттара до 54 ливров; впрочем, если бы у Флегона в самом деле говорилось о накрывшей землю тьме, то книга его стоила бы гораздо дороже. Издание 1622 года не отличается от предыдущих ничем, кроме заглавия.

Сходные причины на несколько лет привлекли всеобщее внимание к "Mirabilis liber"*, известной также под названием "Предсказания святого Цезария", хотя святой Цезарий не имеет к ней ни малейшего отношения, а короткое уведомление, помещенное, если мне не изменяет память, на обороте титульного листа, называет автором этих пророчеств некоего епископа Бемешобия, о котором молчат и книги и легенды. Этот жалкий альманах был однажды напечатан с указанием года издания (1524) и один или два раза, по-видимому чуть раньше, без даты; набраны все издания одним и тем же скверным готическим шрифтом. Мне реже всего попадалось то издание, где на последней странице под последней строкой идут слова: "Продается на улице Сен-Жак, у Слона", напечатанные так грубо, что экземпляр на первый взгляд кажется дефектным. Вся ценность "Книги о чудесах" заключается в двух-трех страницах, где якобы предсказана вся история французской революции и даже год, когда она должна начаться (тут, впрочем, не обошлось без подтасовки). Весь секрет этой глупой книжонки заключается в том, что ее составитель, как и все подобные шарлатаны, среди сотни нелепостей случайно высказал две-три здравые мысли, но это еще не означает, что святой Цезарий читает в будущем лучше дьявола, а "Книга о чудесах" более достойна веры, чем предсказания Нострадамуса. Конечно, есть люди, умеющие предчувствовать грядущее и на основе уже свершившегося вычислять вероятность того, что может произойти, но этому искусству не научат ни Бемешобий, ни Кардано, ни Мопертюи — оно доступно лишь тем, кто хорошо знает историю и человеческое сердце, то есть не святым, не ясновидцам и не колдунам, но людям здравомыслящим и наблюдательным.

*Книга о чудесах (*лат.*).

XIX

О ложных датах

Рассказывать о тех уловках, с помощью которых взвинчивают цены на самые заурядные и бесполезные книги, можно бесконечно. Так, торговцы выдавали за древнейшую из первопечатных книг, более раннюю, чем все известные инкунабулы, издание проповедей Леонардо из Удине, вышедшее якобы в 1446 году; книга эта в самом деле замечательна, однако в 1446 году составляющие ее тексты были просто-напросто объединены в сборник, а издана она много позже. В данном случае мошенники могут сослаться в свое оправдание на собственное невежество, но известны ухищрения гораздо более предосудительные. Вспомним, например, "Гипнеротомахию" Полифила, изданную в Венеции, у Альдов, в 1499 году; автора ее, Франциска Колумну, скрывшего свое имя в начальных буквах глав, как позднее поступил Этьенн Табуро, мы не можем упрекнуть в обмане — что еще оставалось влюбленному монаху, описывающему свои видения? Хуже поступали иные торговцы редкими книгами, которые, вырвав из "Гипнеротомахии" последнюю страницу, выдавали ее за издание, вышедшее в 1467 году в Тревизо, поскольку в конце "Сна Полифила" указаны эта дата и этот город — время и место его написания. В других случаях мошенники изменяли дату, стирая одни цифры и подпечатывая на их место другие. Так, трактат Гоббса "Политическое тело" в дивном издании Эльзевиров 1653 года часто выдавали за издание 1652 года, которому коллекционеры неведомо почему отдавали предпочтение. Тем же объясняется, по мнению иных библиографов, "опечатка" в "Decor

puellarum"* Никола Йенсона, где вместо 1461 должна была бы стоять другая, верная дата – 1471; ведь не может быть, говорят эти библиографы, чтобы такой большой художник ошибся в столь памятной для него дате; однако, кто бы что ни говорил, для меня совершенно очевидно, что дата эта правильная и останется таковой, даже если будет доказано, что Йенсон, изгнанный на десять лет из Италии, лишь с десятилетним опозданием смог отстоять свое право называться основоположником книгопечатания в этой стране. У такого мастера, как Йенсон, эскизы стоят готовых работ.

На фронтисписе прелестного эльзевировского издания Шаррона нет даты, зато там изображена обнаженная Мудрость, оскорблявшая взоры иных чересчур щепетильных читателей, которые вырывали эту страницу или заливали ее чернилами; этим воспользовались мошенники – они искусно подделывали утраченный фронтиспис и сбывали его обладателям дефектных экземпляров; однако с некоторых пор этот новый фронтиспис стал встречаться и в начале изданий 1656 и 1662 годов, отчего-то считающихся менее ценными. В результате нашлись коллекционеры, которые попались на удочку и, доверившись фронтиспису, перепутали издание 1656 года с изданием без даты.

Назовем и еще один вид мошенничества – когда книге приписывают достоинства, каковыми она не обладает: сулят читателю приложения либо вставки, более занимательные, чем основной текст, но не исполняют обещанного. Так, Катулл ин-кварто, изданный в 1684 году Фоссиусом, долгое время был в большой цене благодаря слухам о том, что помимо стихов латинского поэта в это издание вошел полный текст весьма любопытного трактата Беверланда "De Prostibules

---

*О приличиях, кои следует соблюдать девицам (*лат.*).

veterum"*. Поскольку никто никогда не видел ни одного экземпляра с таким дополнением, слухи о нем можно считать чистейшей выдумкой; недаром книга эта ныне стоит не дороже, чем другие издания того времени; нечего и говорить, что, будь история о дополнении правдой, любой экземпляр Катулла 1684 года по праву занял бы место среди редчайших и драгоценнейших книг.

XX

О поддельных редкостях

Не меньше трудов затрачивали мошенники, когда, желая повысить цену на книгу, выдавали ее за редчайший экземпляр. Весьма любопытные примеры подобного шарлатанства мы найдем в каталогах, где ничем не замечательные издания превознесены до небес, что, впрочем, не мешает искушенным покупателям давать за них на аукционах истинную цену, поскольку здравый смысл, как правило, берет верх над уловками жуликов. Разумеется, я вовсе не намерен бранить здесь библиографические заметки мудрых *каталогизаторов*, — напротив, если они основательны и заслуживают доверия, я читаю их с неизменным чувством признательности и желал бы, чтобы число их росло. Именно подобным заметкам обязаны мы знанием курьезных и пикантных подробностей, многие годы ускользавших от высокоученых и многотерпеливых изыскателей. В самом деле, разве знали бы мы что-либо о первом издании "Отвоеванного Мальмантиля" Липпи, вдвойне ценном благодаря любопытному послесловию Чинелли, если бы не заметка одного миланского издателя, переписанная слово в слово почтенным господином Гамбой? А без сообщения

*О домах разврата древности (*лат.*).

Реньо-Бретеля, скромного букиниста, обладавшего обширными познаниями, мы и не подозревали бы о существовании полного издания "Каменного гостя" Мольера, которое пребывало в течение восьмидесяти лет в такой безвестности, что Вольтер, желая дать хоть какое-то представление о знаменитой "сцене с нищим", принужден был воспользоваться рукописной копией Маркассу?* Таким образом, я согласен, что встречаются замечательные книги, которые ускользнули от взоров библиофилов и библиографов и которым литератор, наделенный здравым смыслом и критическим умом, может посвятить полезную и увлекательную заметку, но из этого никак не следует, что всякое извлеченное из-под спуда сочинение непременно совершит переворот в литературе; как правило, все, что заслуживает известности, уже известно, а искатели неведомых сокровищ слишком часто и легко попадаются на удочку мошенников, которые, говоря словами Жака Ланфана, подсовывают им стекляшки вместо бриллиантов. Хуже всего, что находятся литераторы, которые, кто из тщеславия, а кто из корысти, опускаются до подлого обмана, чтобы повысить спрос на собственные сочинения. Так, Габриэль Ноде утверждал, что его "Размышления о государственных переворотах" ин-кварто, изданные в 1639 году (согласно титульному листу в Риме, а на самом деле в Париже), были напечатаны всего в двенадцати экземплярах, а между тем крупнейшие библиотеки Европы насчитывают до сорока экземпляров этой книги. Я счел бы поступок Ноде совершенно непростительным, не будь у меня всех

---

*Это открытие несколько потускнело с тех пор, как выяснилось, что та же сцена вошла и в прелестное брюссельское издание Баке 1694 г. (4 тома в 12-ю долю листа), украшенное вдобавок дивными гравюрами Харревийна, но разве могло кому-нибудь прийти в голову, что бесценное сокровище Маркассу было уже три, а может, и четыре раза напечатано, ибо все комедии Мольера до 1682 г. публиковались по отдельности?

оснований утверждать, что Ноде писал свое предисловие не для того римского издания, которое в действительности вышло в Париже, а для того, которое и вправду печаталось в Риме, где он в ту пору жил, римское же издание, если верить Ги Патену, первым обратившему внимание на эту деталь, сильно отличалось от парижского хотя бы тем, что состояло всего из двадцати восьми страниц. Я не стану останавливаться на этом вопросе подробно, поскольку рассмотрел его в другой своей книге, носящей название "Заметки об одной небольшой библиотеке". Скажу лишь, что парижское издание ни достоинствами, ни ценой почти не отличается от других любопытных и относительно редких книг; страсбургская перепечатка 1673 года с примечаниями Луи Дюме, пожалуй, интереснее.

XXI

О переменах заглавий

Издание Дюме – пример еще одного весьма нехитрого книжного жульничества, а именно перемены названия плохо расходящейся книги. В самом деле, в издании Луи Дюме "Размышления о государственных переворотах" Ноде именуются "Наукой государей"; по сути это то же самое, а по форме – нечто новое. Наши книгопродавцы так хорошо усвоили эту премудрость, что мне случалось три или даже четыре раза приниматься за чтение книги, которой я был уже сыт по горло, но всякий раз я пребывал в уверенности, что передо мной новинка, ибо всякий раз она носила новое заглавие; похожие случаи нередки и в театре, где зрителям, доверившимся новой афише, приходится смотреть давно известную им пьесу. Я знал одного литератора, любителя обновлять заглавия, который каждый раз, когда его старая книга являлась в свет в новом обличье, потирал

руки: "Теперь-то они меня прочтут, будьте покойны!" Если бы кто-нибудь не поленился собрать все придуманные этим автором заглавия и приложить к его книге, она стала бы вдвое толще*.

XXII

О хитростях некоторых фанатиков

Коль скоро мы заговорили о заглавиях и вспомнили о Спинозе, расскажем об уловках некоторых фанатиков, которые публиковали свои мысли под видом мыслей своих противников. Мне не доводилось читать "Побежденый атеизм" Кампанеллы, но я не раз слышал, что в этих диалогах доводы в пользу безбожия звучат так убедительно, а возражения так беспомощно, что намерения автора не вызывают никаких сомнений. Так же обстоит дело и с "Опровержением Спинозы" Фенелона, Лами и Буленвилье, изданным в 1731 году в Брюсселе: Буленвилье свое опровержение не закончил и лишь весьма обстоятельно изложил взгляды, которые намеревался опровергнуть, что привело к запрещению книги, хотя не сделало ее особенно редкой. Не чуждались этого

---

*Приведем один пример. У Спинозы есть книга, которая в переводе барона де Сен-Глена трижды выходила в свет под тремя разными названиями: "Ключ от Святилища", "Трактат об обрядах и суевериях иудеев" и "Любопытные размышления беспристрастного наблюдателя о спасении души". Под всеми этими названиями и разыскивают ее библиофилы, хотя вообще-то она отнюдь не является редкостью, ибо была отпечатана довольно большим тиражом, да еще и переиздана в 1731 г. вместе со знаменитым опровержением Фенелона, Лами и Буленвилье. В переиздании воспроизведены два названия, но третье – "Ключ от Святилища" – здесь опущено, что увеличивает ценность отдельного издания, озаглавленного таким образом. Впрочем, лет тридцать назад перепечатали и его.

приема и наши философы XVIII столетия; один из многих примеров тому – "Теологический словарь", не раз вводивший книгопродавцев в заблуждение.

XXIII

Продолжение предыдущих

Я уже говорил о контрафакциях – этом материальном плагиате, отнимающем у автора и издателя законные плоды их трудов. Существует, правда, разновидность контрафакции, на первый взгляд кажущаяся более невинной, – это перепечатки книг, давно ставших всеобщим достоянием. В этом случае не страдают ни сочинитель, ни издатель, а неискушенные читатели, заплатившие за подделку как за оригинал, получают тем не менее полное и точное представление о первоиздании. И все же эта уловка, к которой без зазрения совести прибегают некоторые мошенники, – такое же воровство, как и контрафакция в собственном смысле слова, и, следовательно, поступок в нравственном отношении столь же предосудительный.

Очевидно, что, перепечатывая книгу, главное достоинство которой – ее редкость, мы сильно снижаем, а то и вовсе сводим на нет ценность этой книги, однако не стоит осуждать людей, перепечатывающих книги не корысти ради, а единственно для пользы и удовольствия читателей. Именно так поступали издатели XVII и XVIII столетий, и никому еще не приходило в голову винить Ле Дюша, Лангле-Дюфренуа, Ламоннуа, Салленгра, Фожа де Сен-Фона и Бюшо в том, что они сделали более доступными сочинения Бернара Палисси, редкие трактаты Грендоржа о синьгах и Формн об адианте, а также многие другие книги. Поступки такого рода, напротив, достойны всяческих похвал, и, пока сущест-

вует наша словесность, имя регента Филиппа Орлеанского будет так же славно, как имена Лонга и Амио, с которыми оно неразрывно связано.

Совсем иначе следует расценивать перепечатки, сделанные ловкими дельцами с намерением одурачить доверчивых и неискушенных библиоманов. В 1527 году во Флоренции вышел том сочинений Боккаччо; два столетия спустя книга эта была переиздана в Венеции, причем абсолютное сходство подделки с оригиналом ввело в заблуждение не одного коллекционера.

Когда "Канские древности" сьера Бра де Бургевиля сделались величайшей редкостью, привлекающей в Кан библиофилов-чужестранцев, там нашлись книгопродавцы, которые, поставив на своей довольно грубо сработанной подделке тот же год издания, что и на первоиздании, стали продавать ее по такой же цене. В любом библиографическом сочинении вы найдете тысячи подобных примеров.

Эти перепечатки корысти ради, на которых книгопродавцы наживаются, обманывая покупателей, не надо путать с любительскими перепечатками, сделанными из любви к искусству. Любознательные читатели горячо признательны за них Карону, господину Понтье из Экса, господину Томассену из Безансона или пользующемуся заслуженной известностью господину Гамбе, чья перепечатка "Танцевальных песен" Лоренцо Медичи представляет собой настоящее факсимильное издание. Столь же невинны и рисованные копии Фьо, которые никто никогда не думал выдавать за оригинал, хотя совершенство исполнения могло обмануть самых искушенных знатоков.

Несмотря на то что прелестные издания Эльзевиров обычно почти не отличаются от допечаток (незаслуженно называемых подделками), которые, если книга хорошо расходилась, выпускали сами Эльзевиры, ставя

на титульном листе ту же дату, книги из основной и дополнительной частей тиража ценятся по-разному, чем возбуждают алчность фальсификаторов. Подделкам здесь несть числа. Поэтому мало знать, что из всех изданий "Мудрости" самое ценное – издание без даты, что Вергилия 1636 года можно узнать по красным буквицам, в Теренции 104-я страница названа 108-й, а в Цезаре 149-я перепутана со 153-й; нужно еще убедиться, что книга ваша не побывала в руках у какого-нибудь ловкого каллиграфа или беззастенчивого умельца и он не вклеил в нее страницы, вырванные из дефектного экземпляра подлинного издания. Для этого помимо библиографических познаний потребны наметанный глаз и многолетний опыт.

Должен сказать, что современная мода на факсимильные переиздания, с обескураживающей легкостью воспроизводящие драгоценные оригиналы, никогда не получит одобрения истинных ценителей книги. В первую очередь это относится к воспроизведению рукописей. Ведь знаток дорожит не начертаниями букв, не росчерком пера, он мечтает обладать листком бумаги, который принадлежал великому человеку, побывал у него в руках, послужил предметом его раздумий. Разве может факсимильное воспроизведение передать самый дух этой запечатленной мысли? Нет, оно остается всего-навсего слепком, подспорьем в работе, восковой фигурой, скелетом из анатомического театра. Кроме того, всякий собиратель – собственник, ему дороги даже самые незначительные из его приобретений, а редкости для него и вовсе бесценны; стоит, однако, этим предметам сделаться общедоступными, и коллекционер теряет к ним всякий интерес. Конечно, коллекционеры заблуждаются – но все человеческие увлечения и пристрастия, даже самые милые и невинные, зиждутся на подобных заблуждениях. Разумеется, смешно и несправедливо

питать к факсимильным копиям рукописей и книг такую ненависть, какую питал к изобретателям искусственных насекомых энтомолог Фабрициус, утверждавший, что damnandœ vero memoп John Hill et Louis Renard, qui insecta ficta proposuere*, – эта чрезмерная ярость напоминает филиппики, которые обрушивал доктор Слоп на Обадию, – однако лишь тот, кому совершенно чужда страсть к собирательству, неспособен понять эти чувства.

Подставные имена издателей и книгопродавцев встречаются на титульных листах книг ничуть не реже подставных имен авторов; я не говорю о тех авторах и издателях, которые без всякого злого умысла переиначивали свои имена, переводя их на другой язык: так Лихтенштейн превратился в Левилаписа, Винтер в Опорина, Буланже в Пистора; у истоков этого обыкновения стоят Шандье, ставший Садеелем, и арморикан-ский бретонец Пентефенион, который по-французски именовал себя Шеффонтеном, а по-латыни De capite fontium, – нет, я говорю о псевдонимах, расплодившихся в вольной печати, от подлого Барбагриджи (под этим именем скрывался Аретино) до Пьера Марто, или Дю Марто, – излюбленного псевдонима голландских пасквилянтов. Об этих превращениях можно написать целый том, не заглядывая ни в одну книгу и не отрывая пера от бумаги, но уже сама легкость этого труда доказывает его никчемность. Скажем лишь, что, если типограф скрывает свое имя, значит, у него рыльце в пушку, но поступок его не всегда равно предосудителен. Так, скрываться под вымышленным именем, таким, как Марто ("молоток"), Анклюм ("наковальня"), Веро ("истинно"), Жан Плен де Кураж (Жан

---

*Следует предать проклятью память Джона Хилла и Луи Ренара, которые изобрели искусственных насекомых (*лат.*).

Храбрец) и пр., еще не преступление, но, когда некто (предполагают, что это был Гранже) издает Мерсиуса под маркой Эльзевиров либо называет местом издания Бирмингем, – это уже клевета.

XXIV

Заключение

Хотя в этой книге я даже не упомянул о множестве "вопросов литературной законности" и, напротив, коснулся множества библиологических проблем, не имеющих к этой теме никакого отношения; хотя я не высказал ни одной идеи, представляющей интерес для знатоков, ибо мои и без того скромные возможности были ограничены возможностями моей натруженной памяти, мне, кажется, все же удалось довольно ясно показать, что лавры в литературе нередко пожинают люди грубые и бесчестные, для которых талант не более чем средство достичь успеха. Весьма печально сознавать, что бывают случаи, когда в душе литератора гений уживается с пороком, но, по счастью, подобные случаи не так уж часты; раз уж мы коснулись этой темы, осмелюсь сказать, что она заслуживает внимания правительств и законодателей. Талант дает писателям власть над умами – власть, быть может, более могущественную, чем любая другая, ибо она овеяна успехом и не вызывает того предубеждения, с которым часто сталкиваются государственные чиновники. Поэтому для совершенствования общественного строя необходимо, чтобы известные литераторы были людьми достойными – ведь благодаря своему умственному превосходству они оказывают огромное влияние на нравы. Великий писатель не может противоборствовать судьбе, назначившей ему постоянно находиться в центре внима-

ния публики; поэтому он обязан быть добродетельным. Если он использует свой гений во зло, отечеству надлежит покарать его преступления и даже проступки с большей строгостью, чем преступления и проступки людей заурядных; гений обязан быть образцом для современников и потомков.

Я полагаю, что существование подобной цензуры, которая запрещала бы людям безнравственным проповедовать свои воззрения, пошло бы на пользу нравам, не нанеся ущерба литературе, которая, впрочем, в любом случае должна подчиняться требованиям морали. Великие гении, страдающие великими пороками, встречаются чрезвычайно редко, но было бы еще лучше, если бы они вовсе не рождались на свет, пусть даже мы лишились бы при этом нескольких шедевров. Обычно природа вместе с талантом дарует великим людям добродетель; бывают, конечно, исключения, но опровергают ли они правило? вряд ли; более того, я полагаю, что ни один злой человек не одарен гением в высочайшем смысле этого слова, ибо мне не верится, чтобы гений — Божий дух, нисходящий с небес, — мог осенять злое сердце и развращенный ум. Древние мудрецы согласны в этом с философами нового времени; даже если бы Платон, Вергилий, Корнель, Расин, Фенелон умерли, не создав шедевров, которые возносят их над остальным человечеством, их почитали бы за безупречную нравственность. Греции пришлось бы краснеть лишь за Архилоха, вызывающего восхищение и презрение разом, Архилоха, которому время вынесло свой суровый приговор, покрыв мраком забвения все его добрые дела и оставив в памяти людской лишь дурные. У римлян один Саллюстий осквернил недостойной жизнью редкостный талант, а из наших лучших писателей только Жан Батист Руссо совершил больше поступков, достойных сожаления, чем создал строк, дос-

тойных подражания, ибо я не думаю, что французская литература много потеряла бы, если бы Франсуа Вийон не стал улучшать "неловкий, грубый стих тех варварских времен"* – его улучшили бы и без Вийона; если бы Ленобль не урывал время для своих скучных компиляций, отбывая наказание в тюрьме и на галерах, и если бы позорная смерть застигла Мотте в притоне разврата прежде, чем он посмел обнародовать свои жалкие домыслы о Рабле.

Когда один спартанец, известный своим дурным поведением, высказал некое дельное предложение, эфор, опасаясь, как бы мудрая мысль не связалась в памяти народной со скверным человеком, избрал для ее оглашения другого спартанца. Это обыкновение неплохо было бы перенять литераторам. Какое бы замечательное сочинение ни создал негодяй, интересы нравственности требуют, чтобы его покрыл мрак забвения, даже если бы оно не уступало "Илиаде".

ПРИМЕЧАНИЯ

Примечание А (к с. 86)

МОНТЕНЬ:

"Прежде всего, Цинна, я хочу, чтобы ты спокойно выслушал меня. Давай условимся, что ты не станешь прерывать мою речь; я предоставлю тебе возможность в свое время ответить. Ты очень хорошо знаешь, Цинна, что я захватил тебя в стане моих врагов, причем ты не то чтобы сделался мне врагом: ты, можно сказать, враг мой от рождения; однако я пощадил тебя; я воз-

---

*Буало. Поэтическое искусство, I, 118; перевод Э.Линецкой (*Ред.*).

вратил тебе все, что было отнято у тебя и чем ты владеешь теперь; наконец, я обеспечил тебе изобилие и богатство в такой степени, что победители завидуют побежденному. Ты попросил у меня должность жреца, и я удовлетворил твою просьбу, отказав в этом другим, чьи отцы сражались бок о бок со мной. И вот, хотя ты кругом предо мною в долгу, ты замыслил убить меня!" Когда Цинна в ответ на это воскликнул, что он и не помышлял о таком злодеянии, Август заметил: "Ты забыл, Цинна, о нашем условии; ведь ты обещал, что не станешь прерывать мою речь. Да, ты замыслил убить меня там-то, в такой-то день, при участии таких-то лиц и таким-то способом".

Видя, что Цинна глубоко потрясен услышанным и молчит, но на этот раз не потому, что таков был уговор между ними, но потому, что его мучит совесть, Август добавил: "Что же толкает тебя на это? Или, быть может, ты сам метишь в императоры? Воистину плачевны дела в государстве, если только я один стою на твоем пути к императорской власти. Ведь ты не в состоянии даже защитить своих близких и совсем недавно проиграл тяжбу из-за вмешательства какого-то вольноотпущенника. Или, быть может, у тебя не хватает ни возможностей, ни сил ни на что иное, кроме посягательства на жизнь цезаря? Я готов уступить и отойти в сторону, если только кроме меня нет никого, кто препятствует твоим надеждам. Неужели ты думаешь, что Фабий, сторонники Коссов или Сервилиев потерпят тебя? Что примирится с тобой многолюдная толпа знатных, — знатных не только по имени, но делающих своими добродетелями честь своей знатности?" И после многого в этом же роде (ибо он говорил более двух часов) Август сказал ему: "Ну так вот что: я дарую тебе жизнь, Цинна, тебе, изменнику и убийце, как некогда уже даровал ее, когда ты был просто моим врагом; но отныне

между нами должна быть дружба. Посмотрим, кто из нас двоих окажется прямодушнее, я ли, подаривший тебе жизнь, или ты, получивший ее из моих рук?" (Опыты, I, XXIV; рассказ Монтеня, в свою очередь, дословно повторяет Сенеку).

КОРНЕЛЬ:

Август. Сюда, о Цинна, сядь и трезвою душою
Взвесь то, что выскажу сейчас я пред тобою;
Не возражая мне, словам моим внимай
И речь мою ничем пока не прерывай.
Будь нем; но коль тебя внимание такое
Лишит хотя б на миг душевного покоя,
Когда окончу я, ты можешь возразить.
Хочу лишь этого я у тебя просить.

Цинна. Я повинуюсь.

Август. Но условия такого
Держись — тогда и сам свое сдержу я слово.
Воспитан, Цинна, был ты средь врагов моих,
И мой отец, и я зло видели от них.
Средь чуждых мне людей ты получил рожденье,
Ты, перейдя ко мне позднее в подчиненье,
Их ненависть посмел в душе своей сберечь
И на меня теперь свой обращаешь меч.
Еще с рождения врагом ты мне считался,
Потом, узнав меня, ты все же им остался.
И злоба у тебя в крови; в душе своей
Ты держишь сторону враждебных мне людей.
И с ними ненависть ко мне питаешь злую.
Но я, любя тебя, мщу, жизнь тебе даруя.
Я сделал пленником тебя, дружа с тобой,
И в милостях моих стал двор тебе тюрьмой.
Сперва я возвратил тебе твои именья,
Потом Антония дал земли во владенье.
Ты помнишь, я всегда с тобою ласков был,
Благоволение и почести дарил.
Блага, которые тебе так милы были,
Ты тотчас получал, не ведая усилий.
Ты стал знатнее тех, кто при дворе моем
Заслугами бы мог гордиться и родством,
Кто мне могущество купил своею кровью,
Кто охранял меня столь преданной любовью.

Я так был добр к тебе, что победитель мог
Завидовать тому, кто побежденным лег,
Когда же небом был лишен я Мецената
И горе пережил, томившее когда-то,
Его высокий сан тебе я передал,
Чтоб ты советником моим первейшим стал.
Еще не так давно, душой изнемогая,
От власти Цезаря уйти навек желая,
С Максимом и с тобой советовался я,
И только за тобой пошла душа моя.
На брак с Эмилией я дал тебе согласье,
Чтоб все здесь твоему завидовали счастью.
Я так тебя взыскал, что, отличен во всем,
Ты б меньше счастлив был, когда бы стал царем.
Ты знаешь это сам; такую честь и славу
Столь скоро позабыть ты не имел бы права.
Так как же можешь ты, все в памяти храня,
Стать заговорщиком, чтобы убить меня?

Цинна. Как, государь! Чтоб я бесчестное желанье
Таил в душе...

Август. Но ты не держишь обещанья.
Молчи! Ведь я не все успел тебе сказать.
Я кончу — и тогда пытайся отрицать.
Теперь же мне внимай, не прерывая боле:
Ты смерть готовил мне у входа в Капитолий,
При приношенье жертв хотел своей рукой
Над чашей нанести удар мне роковой,
И часть твоих друзей мне б выход заслонила,
Другая бы тебе помочь успела силой.
Как видишь, обо всем я извещен сполна.
Ты хочешь, чтоб убийц назвал я имена?
То Прокул, Глабирьон, Виргиниан, Рутилий,
Помпоний, Плавт, Ленас, Альбин, Марцелл,
Ицилий,
Максим, которого я другом мог считать,
А прочих, право же, не стоит называть.
Вот кучка тех людей, погрязших в преступленье,
Которым тяжело законов проявленье,
Которые, тая бесчестность дел своих,
Законов не любя, стремились свергнуть их.
Вот ты теперь молчишь, но вызвано молчанье
Смущеньем у тебя, в нем нету послушанья.

Чего же ты хотел, о чем же ты мечтал,
Когда б, поверженный, у ног твоих я пал?
Свободу дать стране от слишком тяжкой власти?
Коль мысли я твои понять мог хоть отчасти,
Спасение ее зависит от того,
Кто крепко держит жезл правленья своего.
А если замышлял ты родины спасенье,
Зачем мешал ты мне дать ей освобожденье!
Из рук моих ты б мог свободу эту взять —
И было б незачем к убийству прибегать.
Так в чем же цель твоя? Сменить меня? Народу
Опасную тогда приносишь ты свободу.
И странно, что, в душе стремленье к ней храня,
Одно препятствие находишь ты — меня!
Коль тяжкой родину я награждал судьбою,
То легче ль будет ей, забыв меня, с тобою?
Когда я буду мертв, ужель, чтоб Рим спасти,
Власть к одному тебе достойна перейти?
Подумай: вправе ль ты довериться расчетам?
Ты в Риме так любим, ты окружен почетом,
Тебя боятся все, готовы угождать,
И у тебя есть все, что мог бы ты желать,
Но и врагам своим внушал бы ты лишь жалость,
Когда бы власть тебе, ничтожному, досталась.
Осмелься возразить, скажи, чем славен ты,
Какой в достоинствах достиг ты высоты,
Чем похвалиться ты бы мог передо мною
И чем возвыситься по праву над толпою?
Тебе могущество, тебе дал славу я,
Тебе опорою была лишь власть моя.
Всеобщее не сам стяжал ты поклоненье,
В тебе моих щедрот все видят отраженье,
И если б я хотел, чтобы ты пал скорей,
Поддержки стоило б лишить тебя моей.
Но уступить хочу я твоему желанью.
Бери отныне власть, меня предав закланью.
Ужель Сервилия, Метелла славный род,
Потомки Фабия, которых чтит народ,
Потомки тех мужей, какими Рим гордится,
В чьих жилах пламенных героев кровь струится,
Забудут хоть на миг о прадедах своих
И примирятся с тем, что ты стал выше их?
. . . . . .

Дай руку, Цинна, мне! Останемся друзьями!
Врагу я жизнь дарю. Нет злобы между нами.
Пусть низким замыслом чернишь ты мысль свою,
Убийце своему я снова жизнь даю.
Начнем мы спор иной. Пусть каждый в нем
узнает,
Кто лучше: кто дает иль тот, кто получает.

(Цинна, д. V, явл. 1 и 3; перевод Вс. Рождественского) Замечу, что другой знаменитый монолог Августа, о котором я не упомянул в основном тексте, также восходит к Монтеню. Прочие плагиаты Корнеля указаны в «Замечаниях по поводу „Сида"» Жоржа де Скюдери.

Примечание Б (к с. 86)

МОНТЕНЬ:

А я хочу показать вам, насколько вера, которую я считаю своей, незлобивее той, которой придерживаетесь вы. Ваша подала вам совет убить меня, даже не выслушав, хотя я ничем не обидел вас; моя же требует, чтобы я даровал вам прощение, хотя вы полностью изобличены в том, что готовились злодейски прикончить меня, не имея к этому ни малейших оснований (Опыты, I, XXIV).

ВОЛЬТЕР:

Знай: боги разные призвали нас к служенью.
Твои велят тебе предаться злому мщенью,
А мой — хотя меня ты замышлял убить —
Велит тебя жалеть и все тебе простить.
(Альзира, д. IV, явл. I)

Примечание В (к с. 86)

МОНТЕНЬ:

Я легко могу представить себе Сократа на месте Александра, но Александра на месте Сократа я себе представить не могу. (Опыты, III, II).

РУССО:

Ты, кто отваги полн военной,

А добродетели лишен,
Представь, что смог Сократ смиренный
Занять убийцы Клита трон, —
То был бы царь благочестивый,
Любимый всеми, справедливый,
Вовек достойный алтарей.
А покорителя Евфрата
На месте бедняка Сократа
Сочли бы худшим из людей.

Примечание Г (к с. 86)

КАССЕНЬ:

Пою воителя, что взял бразды правленья
По праву доблести и большего именья.

ВОЛЬТЕР:

Пою воителя, что взял бразды правленья
По праву доблести и знатного рожденья.

Примечание Д (к с. 87)

НЕРЕЙ:

— Не страшно ль вам? Лигист вас слышит, может статься...
— Лишь Бога я страшусь; не мне людей бояться.
. . . . . .
— Покинем ли детей в годину бедствий злых?
— Бог нам их даровал, Бог сохранит нам их.
— Но без защиты их оставить невозможно.
— Кому отец — Господь, тот защищен надежно.
Не даст и воронам Всевышний умереть,
И малым птицам он приготовляет снедь,
Питает он зверей в лесах, горах и долах.
Его щедротой все живет.

Замечу, что Расин в соответствии с требованиями своего времени заменил viande (снедь) на pâture (корм, пропитание), а Вольтер, цитируя "Лигу", также счел необходимым исключить слово viande. Меж тем во времена Нерея это слово было весьма употребительным,

ибо в нем различали корень vie (жизнь); к тому же, когда речь идет о птицах, оно уместнее, чем слово pâture, которое обозначает пищу четвероногих. Такое пренебрежение драгоценными этимологическими преданиями сродни ханжеству. Если язык развивается, это не значит, что следует уничтожать все его памятники.

Что касается Нерея, то это не единственный случай, когда он подсказал Расину нужные слова. Сочиняя сон Гофолии, подобного которому нет ни у одного древнего автора, великий драматург, несомненно, держал в памяти сон тирана из поэмы Нерея. Нерей говорит о привидении:

...Его увидел я: но был неузнаваем
Тот муж, чей прежний вид — и величав, и строг —
Почтенье и боязнь внушить любому мог.
Ужасный лик его был омрачен печалью...
...Истлевшим саваном покрыты плечи были...
...Нагие кости он
Протягивал ко мне...
...Хотя он предо мной молчание хранил,
Мне сердце в тот же миг тяжелый страх сдавил,
И пронизал мороз коснеющее тело:
Я чувствовал, как кровь во мне оледенела.
Сон отлетал... Разжать я силился уста,
Но их тяжелая сковала немота,
И тщетно простирал я руки пред собою,
В объятья заключив лишь облако густое.

Между прочим, Нерей, которому посчастливилось сочинить стихи, пригодившиеся величайшему из наших поэтов, и сам черпал порой вдохновение в стихах своих предшественников. Возможно, например, что, говоря:

Кому отец — Господь, тот защищен надежно, —

он держал в памяти строки из "Шотландки" Монкретьена де Ватвиля, столь близкую и по мысли, и по форме:

О ком печется Бог, тот ввек не будет сир.

Эта трагедия о смерти Марии Стюарт, не лишенная достоинств, написана четырьмя годами раньше "Триумфа Лиги.".

Примечание Е (к с. 87)

ДЮ РИЙЕ:

Вы полагаете, что ваши судьбы можно
По внутренностям жертв предсказывать неложно;
В нечистых потрохах вы зрите чтимый храм,
Где всемогущий рок вещает что-то вам.
Все эти таинства — один обман нелепый,
И только чернь ему способна верить слепо.

ВОЛЬТЕР:

Орудие небес всегда ль непогрешимо?
Священной должностью они облечены,
Но, как все смертные, грешить обречены.
Так подобает ли нам верить простодушно,
Что истина и впрямь полету птиц послушна,
Что в силах прозревать грядущее жрецы,
Когда ревут, хрипя, под их ножом тельцы,
И что во чреве жертв, украшенных венками,
Дано им прочитать все, что случится с нами?
Нет, и еще раз нет! Божественную власть
Не вправе человек столь дерзновенно красть.
Хотя народ в жрецах не видит лицемерья,
Ничтожна мудрость их — без нашего доверья.

Примечание Ж (к с. 87)

ТЕОФИЛЬ:

Ревную ко всему: мне горько и обидно,
Что воздух уст твоих касается бесстыдно;
Не сомневаюсь я, что для тебя одной
Лучи любовные льет солнце над землей;
Цветы, которые повсюду услаждают
Тебя в погожий день, мне также досаждают.
Я и глазам твоим (моя в том воля будь)
Вовек бы не давал твою увидеть грудь;
Я б разлучил тебя с твоей докучной тенью:

Мешает нашему она уединенью.
Лишь в том, что тянется к тебе рука моя,
По правде говоря, вреда не вижу я.

КОРНЕЛЬ:

Психея

Но можно ль ревновать к родне, мой друг?

Амур

Я ко всему, Психея, вас ревную.
Целует солнце ль ваш прекрасный лик,
Иль нежит кудри ветер — в этот миг
Терплю я муку злую.
Смотреть, как воздух целый день
Любимых уст касается бесстыдно,
Как платье льнет к вам, — мне обидно.
(Психея, д. III, явл. 3)

Примечание 3 (к с. 96)

САРРАЗЕН:

В седло немедля он садится.
Земли не чует под собой
Лихой скакун: сейчас помчится
Туда, где закипел уж бой;
С губ каплет пена, очи блещут
И гневно ярый пламень мечут, —
Весь устремившийся вперед,
Он роет прах земной копытом
И, мнится, ржанием сердитым
Врагам бесстрашный вызов шлет.
(Ода на битву при Лансе)

ВОЛЬТЕР:

Мгновенья дороги, средь боевых колонн
На резвом жеребце вперед несется он.
Тот, ношею гордясь, взрывает прах копытом
И вызов свой врагу шлет ржанием сердитым.
(Генриада, песнь VIII)

Добавлю, что оба эти описания, которые сегодня показались бы весьма слабыми и которые гораздо

лучше удались господину Делилю, восходят к Библии: "Роет ногою землю и восхищается силою; идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью, и не робеет, и не отворачивается от меча. В порыве ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос: "гу! гу!" – и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик" (Иов, 39, 21–22 и 24–25).

Что же касается плагиатов Вольтера, то о них много любопытного говорит Фрерон; я приведу его слова, хотя упреки его кажутся мне не вполне справедливыми; читатель сразу поймет, что многие из этих плагиатов не более чем невинные подражания. Понятия "плагиат" и "подражание" я употребляю здесь в том смысле, в каком они определены в моей книге.

"Письмо господину Фрерону о стихах, приписываемых господину Вольтеру

Милостивый государь!

Всем памятны стихи, ходившие в свете лет семь-восемь назад под именем господина де Вольтера, – стихи прелестные, как и все, что написано этим автором.

Послушна вашей воле вся страна;
От вас зависит, солнцу быть иль грому.
Моя же участь, вижу, вам смешна:
Как двор не предпочесть селу глухому!
Но худо ль самому себе служить
И безмятежно дни свои дожить,
Равно забыв и страх, и упованье?
О! если небо, слыша голос мой,
К вам и к французам явит состраданье,
Блаженством вы сравняетесь со мной!

Несколько дней назад я был в гостях у друга и случайно наткнулся в его библиотеке на томик под названием "Сборник нравственных и религиозных стихотворений от Малерба до наших дней"; сборник этот, открываю-

щийся посвящением герцогу Орлеанскому, издан в Париже, у Бриассона с улицы Сен-Жак, в 1740 году. Я был весьма удивлен, когда прочел там сонет Менара:

Покорна вашей воле вся страна;
Лишь в вашей власти, солнцу быть иль грому.
Моя же участь, видно, вам смешна:
Как двор не предпочесть сельцу глухому?
Клеомедон, доволен я вполне.
Мне, право, нравится пустыня эта,
И в ней отшельничать приятно мне
Вдали от суеты большого света.
Хочу я без тревог мой век дожить
И мирно самому себе служить,
Равно забыть и страх, и упованье.
И если небо, слыша голос мой,
К вам и к французам явит состраданье,
Блаженством вы сравняетесь со мной.

Итак, первое стихотворение — плагиат до того беззастенчивый, что с ним может сравниться только идиллия "Овечки", принесшая столько славы госпоже Дезульер, хотя автором ее несомненно является Кутель; разумеется, было бы несправедливо подозревать в том же грехе господина де Вольтера, известного своими блестящими способностями, плодовитостью и гением.

Честь имею оставаться и проч.

Монизо, адвокат".

"В мадригале маркизе дю Шатле, сыгравшей в 1747 году в Со, у герцогини дю Мэн, роль Иссе, господин де Вольтер говорит:

Стать Фебом всей душою я желаю
Не с тем, чтоб править прозой и стихом —
Он эту власть отдал дю Мэну, знаю —
Иль мирозданье обходить кругом:
Я жить оседло в Со предпочитаю
Иль петь на лире и родному краю
Восторг внушать созвучьем дивных слов.
Затем лишь, чтобы слышать ежечасно
Иссе, которая влюбилась страстно
В него, счастливейшего из богов.

Мадригал этот, бесспорно, прелестен. Впрочем, он не стоил господину де Вольтеру большого труда. В его расторопной и услужливой памяти просто-напросто всплыло стихотворение Феррана, даровитого поэта, который умер в 1719 году, оставив среди прочих сочинений следующий мадригал, рядом с которым стихи господина де Вольтера кажутся пародией:

Амуром стать я всей душой желаю
Не с тем, чтоб править небом и землей —
Я и богов, и смертных забываю,
Когда Темиру вижу пред собой —
Иль взор закрыть повязкою глухой —
Темире в сердце не войдет измена —
Иль наслаждаться славою нетленной:
Я жить хочу, пока она жива.
Затем, чтоб, обретя колчан бесценный,
В нее послать все стрелы божества.

Господин де Вольтер без лишних церемоний извлекает из сочинений древних и новых авторов все, что найдет изящным, остроумным и любезным своему сердцу; не может быть никаких сомнений, что, следуя этому достохвальному обыкновению, он позаимствовал идею мадригала у Феррана. Вглядевшись внимательно в литературный венец господина де Вольтера, мы найдем там очень мало цветов, взращенных им самим. Впрочем, и сам Ферран в мадригале, о котором идет речь, недалеко ушел от Вольтера, ибо мысль и форму своего творения он почерпнул из прелестного десятистишия, которое еще в 1524 году, то есть двести сорок четыре года назад, посвятил предмету своей сердечной склонности, Диане де Пуатье, наш изящный Маро; в третьем томе его "Сочинений" (Гаага, у П. Жосса и Жана Неольма, 1731) оно напечатано на странице 123:

Стать Фебом непрестанно я желаю
Не с тем, чтобы постигнуть свойства трав, —
Недуг, которым я давно страдаю,

Не уврачует ни один состав —
Иль в небе мчаться, ярко воссияв, —
Лишь на земле избавлюсь я от мук —
Иль на Амура навести свой лук:
Восстать на государя было б странно.
Затем хочу я Фебом стать, мой друг,
Чтоб быть любимым нежною Дианой.

Вы сами можете убедиться, сударь, что Ферран списал свое стихотворение у Маро. Впрочем, мадригал господина де Вольтера походит на Маро даже больше, чем на Феррана, ибо Ферран хотел быть Амуром, а Маро и господин де Вольтер — Фебами.

Фрерон".

"Вы, конечно, читали, сударь, прелестный роман "Задиг", и среди глав, поразивших вас своей изобретательностью, наверняка была глава "Отшельник". Так вот, эта очаровательная глава, каковую вы полагали большой удачей господина де Вольтера, почти дословно списана с оригинала, о котором этот великий копиист не проронил ни звука. Листая на днях прекрасные английские книги, которые Про-младший, книгопродавец с набережной Конти, выписывает из Лондона, я обнаружил небольшой томик под названием "The works in verse and prose of dr. Thomas Parnell, late Archdeacon of Clogher" ("Сочинения в стихах и в прозе доктора Томаса Парнелла, архидьякона из Клогхиэ"); автор его скончался пятьдесят лет назад. В книге этой есть небольшая поэма в сто с лишним строк под названием "Отшельник"; она-то и является тайной сокровищницей, откуда почерпнул свои богатства господин де Вольтер. Вы убедитесь в этом, сравнив двух "Отшельников".

ПАРНЕЛЛ:

В далекой пустыне жил с юных лет почтенный отшельник. <...> Однажды он покинул свою обитель,

дабы узнать людей. <...> Он отправился в путь и шел целое утро, а в полдень, когда солнце высоко поднялось над землей, повстречал юношу. "Здравствуйте, отец мой", – сказал незнакомец. "Здравствуй, сын мой", – отвечал старец. Они разговорились и за увлекательной беседой не замечали трудностей пути. Несмотря на разницу в летах, они привязались друг к другу. Вскоре солнце зашло. В свете луны глазам путников предстал великолепный дворец; к нему вела роскошная аллея – кроны деревьев смыкались, образуя свод, внизу расстилался травяной ковер. Высокородный хозяин дворца всегда радушно встречал странников, однако гостеприимство его проистекало не из человеколюбия, а из тщеславия и суетности – ему нравилось выставлять напоказ несметные сокровища. Когда путники подошли к дворцу, слуги в богатых ливреях проводили их к хозяину, а тот пригласил их в роскошно убранную залу. Стол ломился от самых изысканных кушаний, щедрость хозяина превосходила все ожидания странников, мечтавших лишь о скромном ужине и крыше над головой. Затем старца и юношу проводили в предназначенные им покои; опустившись на пуховые перины и укрывшись шелковыми одеялами, они забыли об усталости и погрузились в глубокий сон. Когда они проснулись, на столе уже стоял завтрак. Хозяин велел подать путникам ароматнейшее вино в золотой чаше: отведав его, они покинули замок, исполненные довольства и признательности. Однако хозяину замка пришлось вскоре пожалеть о своей доброте, ибо он обнаружил пропажу золотой чаши – юный спутник отшельника украл ее. Отшельник был потрясен, когда юноша спустя некоторое время показал ему свою драгоценную добычу. Ужаснувшись в сердце своем, он от волнения не мог вымолвить ни слова, но не посмел расстаться с юношей. Он только сокрушенно пробормотал

что-то сквозь зубы и взглядом дал юноше понять, как огорчает его низкий и подлый поступок, которым тот отплатил за гостеприимство.

Тем временем солнце внезапно скрылось, небо заволокли темные тучи. Поднялся ветер. Надвигалась буря, испуганные стада метались с жалобными криками, словно моля о пощаде.

Странники задумались о пристанище; оглядевшись кругом, они увидели вдали высокую гору, а на ней дом; там в полном одиночестве жил скупец, недоверчивый и жестокосердый. Не успели путники добраться до дома, как разразилась страшная буря: лил дождь, сверкали молнии, грохотал гром. Юноша и старик долго стучались в дверь, умоляя хозяина пустить их под крышу. Наконец в сердце скряги проснулось что-то похожее на сострадание; он осторожно приоткрыл дверь и впустил продрогших странников в дом. В очаге, освещая голые стены, горела жалкая охапка хвороста. На ужин хозяин дал им по ломтю черного хлеба и по глотку прокисшего вина; лишь только гроза начала стихать, он поспешил выпроводить незваных гостей. Отшельника поразило, что такой богатый человек ведет нищенскую жизнь. "Отчего, — размышлял он, — этот человек владеет столькими сокровищами и не пользуется ими, меж тем как многие люди лишены самого насущного?" Но еще сильнее его поразило то, что его юный спутник достал из-за пазухи чашу, принадлежавшую давешнему богачу, и подарил ее скряге — невеже и грубияну. Меж тем на лазурном небосклоне вновь засияло солнце, воздух наполнился благоуханием, поникшая было природа вновь засверкала всеми своими красками, и путники покинули убогий приют, хозяин которого с радостью закрыл за ними дверь.

Душу отшельника раздирали противоречивые чув-

ства: он не мог объяснить поступков своего спутника и не понимал, кто перед ним – преступник или безумец. Если преступник, он был достоин ненависти, если безумец – жалости; отшельник терялся в догадках. Снова настала ночь, землю окутал мрак. Путникам опять понадобился кров, и они нашли его. Дом этот был простой и опрятный, не слишком большой и не слишком маленький; ничто здесь не свидетельствовало ни о расточительности, ни о скупости: все говорило о том, что хозяин дома живет в покое и довольстве, что он рад гостям по доброте душевной, а не потому, что алчет похвал. Путники поздоровались и попросили хозяина приютить их, на что он ответствовал: "Добро пожаловать; вы – служители того, кому мы обязаны всем в этой жизни, и я с радостью отдам ему свою лепту. От всего сердца приглашаю вас разделить нашу скромную трапезу". Он приказал накрыть на стол. Зазвонил колокол, семья собралась за столом, и весь вечер гости и хозяева беседовали о добродетели, а перед сном вместе прочли молитву.

На заре путники поднялись; перед уходом юноша проскользнул в комнату, где спал в колыбели сын хозяина, его отрада и надежда. Какая неблагодарность! – он задушил младенца, единственного сына столь милосердного хозяина. О ужас! Что же сталось с нашим отшельником, на глазах которого свершилось убийство? Адские муки – ничто в сравнении с его страданиями. В изумлении и страхе он со всех ног бросился прочь; юноша бежал следом. Сбившись с пути, отшельник спросил дорогу у повстречавшегося ему слуги. Внезапно путь им преградила река; не зная, где брод, странники пошли вперед по бревну; внизу клокотала и пенилась вода. И тут юноша, который, казалось, только и ждал случая совершить новое злодеяние, столкнул доброго слугу, указавшего им путь,

в реку. Тот на мгновение вынырнул и снова ушел под воду, на этот раз навсегда. Чаша терпения отшельника переполнилась; глаза его засверкали от ярости. "Гнусный злодей!" – вскричал он. Но не успел он договорить, как облик его странного спутника изменился: юноша стал выше ростом, лицо его просветлело, платье превратилось в длинные белые одежды, вокруг головы воссиял нимб, от волос повеяло сладостным ароматом. За спиной юноши выросли сверкающие крылья. Без сомнения, то был посланник неба; из глаз его струилось сияние, взгляд их был полон величия. Как ни силен был гнев отшельника, он тотчас прошел; изумленный старец не знал, кто перед ним, но на душу его снизошел покой. Ангел заговорил; речь его была исполнена божественной гармонии: "На Олимпе узнали о твоих молитвах и достоинствах, о твоей праведной жизни; добродетели твои удостоились похвал в наших сверкающих чертогах; решено было послать на землю ангела, дабы он возвратил покой твоей душе; выбор пал на меня!.. Не преклоняй колен, ибо мы равны; узнай волю господню и отбрось сомнения. Создатель правит миром, и все пребывает в его священной власти, хотя порой он добивается своей цели с помощью случайностей. Провидение правит вами незаметно, оно руководит вашими поступками, не сковывая вашей воли и не разуверяя тех сынов человеческих, которые сомневаются в его всесилии. Что может быть удивительнее событий, недавно тобою виденных? А между тем в них выразилась Господня воля, и если вы не в силах понять ее, научитесь по крайней мере покоряться ей, не ропща. Гордец, который вкушал заморские яства и утопал в роскоши, не оставляющей места добродетели, который укладывал гостей спать на шелковых простынях и подавал им вино в драгоценных сосудах, вместе с чашей лишился гордыни; он и впредь будет принимать

чужестранцев, но уже без чванства. Злой и подозрительный скряга, чья дверь всегда была заперта для бедных путников, узнает теперь, когда я оставил ему эту чашу, что небо вознаграждает за милосердие; незаслуженный дар пробудит в его сердце признательность и сострадание. Наш набожный друг долго шел по стезе добродетели, но сын отвратил его сердце от Господа. Предавшись душою этому ребенку, он жил в вечной тревоге, забывал о небе и устремлял все свои помыслы к грешной земле. Ради ребенка безумец был готов на все. Дабы спасти отца, Господь отнял у него сына. Ты увидел в моем поступке тяжкое преступление, но мне было приказано нанести этот удар. Простершись во прахе, несчастный отец признает теперь со слезами смирения, что покаран по заслугам. Ты хочешь знать, чем провинился слуга? Теперь, когда он утонул, он уже не сможет промышлять по ночам разбоем. Итак, небеса в милосердии своем преподали тебе урок; будь благодарен за него, будь послушен господней воле, живи в мире и не греши". Тут юноша взмахнул крылами и воспарил. Отшельник застыл от изумления, не сводя глаз с серафима: тот поднялся ввысь, взошел на небесную колесницу и вскоре скрылся из виду. Всем сердцем желая последовать за ангелом, отшельник преклонил колена и обратил к Господу такие слова: "Да свершится воля твоя на небесах и на земле". С легким сердцем возвратился он в обитель и весь остаток дней провел в молитвах*.

ВОЛЬТЕР:

Дорогой он [Задиг] встретил отшельника с почтенной седой бородой, доходившей тому до пояса. Старец держал в руках книгу и внимательно ее читал. Остановившись, Задиг отвесил ему глубокий поклон. Отшельник приветствовал его с таким достоинством и кротостью, что Задига охватило желание побеседовать

*Здесь и далее "Задиг" цитируется в пер. Н.Дмитриева.

с ним. <...> В словах отшельника заключалась как будто высокая мудрость. <...> Задиг стал настоятельно упрашивать старика не оставлять его до возвращения в Вавилон. "Я сам хотел просить вас об этом как о милости", – сказал отшельник. <...> Вечером путники подошли к великолепному замку. Отшельник попросил гостеприимства для себя и своего молодого друга. Привратник, похожий скорее на знатного барина, впустил их с видом презрительного снисхождения и провел к дворецкому, который показал им роскошные комнаты хозяина. За ужином их посадили в конце стола, и владелец замка не удостоил их даже взглядом. Однако их накормили столь же изысканно и обильно, как остальных. Для умывания им подали золотой таз, украшенный изумрудами и рубинами, спать их уложили в прекрасном покое, а на другое утро слуга принес каждому из них по золотому, после чего обоих отправили на все четыре стороны.

– Хозяин дома, – сказал Задиг дорогой, – кажется мне человеком гордым, но великодушным; гостеприимство его исполнено благородства. – Говоря это, он заметил, что сума отшельника чем-то битком набита, и краем глаза увидел в ней украденный старцем золотой таз. Задиг был поражен тем, что старец его украл, но не решился ничего сказать.

Около полудня отшельник подошел к небольшому домику, в котором жил богатый скряга, и попросил у него гостеприимства на несколько часов. Старый, одетый в поношенное платье слуга принял их грубо, отвел на конюшню и принес им туда несколько гнилых оливок, черствого хлеба и прокисшего пива. Отшельник ел и пил с не меньшим удовольствием, чем накануне, потом обратился к старому слуге, смотревшему в оба, чтобы они что-нибудь не украли, и торопившему их

уйти, дал ему два золотых, полученных утром, и поблагодарил его за оказанное внимание.

– Прошу вас, позвольте мне поговорить с вашим господином, – сказал он в заключение.

Удивленный слуга отвел их к хозяину.

– Великодушный господин, – сказал отшельник, – я могу лишь очень скромно отблагодарить вас за ваше благородное гостеприимство. Соблаговолите принять этот золотой таз как слабый знак моей признательности.

Скупец чуть не упал наземь. Не дав ему времени прийти в себя, отшельник поспешно удалился со своим молодым спутником.

– Отец мой, – спросил его Задиг, – как объяснить все то, что я вижу? Вы совсем не похожи на других людей: вы крадете золотой таз, украшенный драгоценными камнями, у вельможи, оказавшего вам великолепный прием, и отдаете его скряге, который принял вас самым недостойным образом.

– Сын мой, – отвечал старик, – этот гордец, принимающий странников из одного только тщеславия и желания похвастать своими богатствами, станет разумнее, а скряга научится оказывать гостеприимство. Не удивляйтесь ничему и следуйте за мной.

Задиг не мог понять, с кем он имеет дело – с безрассуднейшим или мудрейшим из смертных, но отшельник говорил так властно, что у Задига, связанного к тому же клятвой, не хватало духа покинуть его.

Вечером они пришли к небольшому, изящной архитектуры, но скромному дому, в котором не было ничего ни от расточительности, ни от скупости. Хозяин оказался философом, который, удалившись от света, целиком посвятил себя занятиям добродетельным и мудрым и, несмотря на это, нисколько не скучал. Он с радостью построил это убежище, где принимал чуже-

странцев с достоинством, чуждым тщеславия. Он сам встретил путешественников и прежде всего повел их отдохнуть в уютный покой, а немного погодя пригласил к опрятно и вкусно приготовленному ужину, во время которого сдержанно говорил о последних событиях в Вавилоне. <...> В ходе беседы сотрапезники единодушно признали, что события в этом мире не всегда происходят так, как того желали бы наиболее разумные из людей. Но отшельник все время утверждал, что никто не знает путей провидения и что люди не правы, когда берутся судить о целом по ничтожным крупицам, доступным их пониманию. <...> Задиг удивился, что отшельник, делавший столь сумасбродные вещи, может так здраво рассуждать. Наконец после беседы, и поучительной и приятной, хозяин проводил обоих путешественников в отведенный для них покой, благословляя небо, пославшее ему столь мудрых и добродетельных гостей. Он с такой непринужденностью и благородством предложил им денег, что они не могли этим оскорбиться. Отшельник от денег отказался и сказал, что хочет проститься с ним, так как еще до рассвета намерен отправиться в Вавилон. Попрощались они очень тепло; особенно был растроган Задиг, который проникся уважением и симпатией к этому достойному человеку.

Когда отшельник и Задиг остались в приготовленном для них покое, они долго восхваляли хозяина. На рассвете старец разбудил своего спутника.

— Пора отправляться, — сказал он ему. — Пока все спят, я хочу оставить этому человеку свидетельство своего уважения и преданности. — И с этими словами он взял факел и поджег дом.

Задиг в ужасе вскрикнул и попытался помешать ему совершить столь ужасное дело, но отшельник со сверхъестественной силой повлек его за

собой. Дом был весь в огне. Отшельник, уже далеко отошедший с Задигом, спокойно смотрел на пожар.

– Хвала богу, – сказал он, – дом нашего хозяина разрушен до основания! Счастливец!

При этих словах Задигу захотелось одновременно и рассмеяться, и наговорить дерзостей почтенному старцу, и прибить его, и убежать от него. Но ничего этого он не сделал и, против воли повинуясь обаянию отшельника, покорно пошел за ним к последнему ночлегу.

Они пришли к одной милосердной и добродетельной вдове, у которой был четырнадцатилетний племянник, прекрасный юноша, ее единственная надежда. Вдова приняла их со всем возможным гостеприимством. На другой день она велела племяннику проводить гостей до моста, который недавно провалился и стал опасен для пешеходов. Услужливый юноша шел впереди. Когда они взошли на мост, отшельник сказал ему:

– Подойдите ко мне, я хочу засвидетельствовать мою признательность вашей тетушке. – С этими словами он схватил его за волосы и бросил в воду. Мальчик упал, показался на минуту на поверхности и снова исчез в бурном потоке.

– О чудовище! О изверг рода человеческого! – закричал Задиг.

– Вы обещали мне быть терпеливым, – прервал его отшельник. – Узнайте же, что под развалинами дома, сгоревшего по воле провидения, хозяин нашел несметные богатства, а отрок, который по воле того же провидения свернул себе шею, через год убил бы свою тетку, а через два – вас.

– Кто открыл тебе все это, варвар? – воскликнул Задиг. – Да если бы ты даже прочел это в книге судеб, кто дал тебе право утопить дитя, которое не причиняло тебе зла?

Произнеся эти слова, вавилонянин вдруг увидел,

что борода у старца исчезла и лицо его стало молодым. Одежда отшельника как бы растаяла, четыре великолепных крыла прикрывали величественное, лучезарное тело.

– О посланник Неба! О божественный ангел! – воскликнул Задиг, падая ниц. – Значит, ты сошел с высоты небес, дабы научить слабого смертного покоряться предвечным законам?

– Люди, – отвечал ему ангел Иезрад, – судят обо всем, ничего не зная. Ты больше других достоин божественного откровения.

Задиг попросил дозволения говорить.

– Я не доверяю своему разумению, – сказал он, – но смею ли я просить тебя рассеять одно сомнение: не лучше ли было бы исправить это дитя и сделать его добродетельным вместо того, чтобы утопить?

Иезрад возразил:

– Если бы он был добродетелен и остался жить, судьба определила бы ему быть убитым вместе с женой, на которой бы он женился, и с сыном, который родился бы от нее. <...> Люди думают, будто мальчик упал в воду случайно, что так же случайно сгорел и дом, но случайности не существует – все на этом свете либо наказание, либо награда, либо предвозвестие. Вспомни рыбака, который считал себя несчастнейшим человеком в мире. Оромазд послал тебя, дабы ты изменил его судьбу. Жалкий смертный, перестань роптать на того, перед кем должен благоговеть!

– Но... – начал Задиг. Но ангел уже воспарял на десятое небо.

Задиг упал на колени и покорился воле провидения.

№ Читая корректурные листы, я заметил у господина де Вольтера несообразность. Отшельник говорит о юноше, сброшенном в реку: "Узнайте же, что отрок, который по воле того же провидения свернул себе шею..." Утонуть и

свернуть себе шею — вещи разные, но, поскольку в оригинале был младенец, которого задушили, господин де Вольтер, соединивший два события в одно, запутался; ему пришел на память ребенок из поэмы Парнелла, и он безотчетно воспользовался выражением "свернуть себе шею", говоря об утонувшем юноше. Надо признать, что блестящая память господина де Вольтера на этот раз сыграла с ним злую шутку.

Фрерон".

"Письмо господину Фрерону

Вы неопровержимо доказали, сударь, что глава "Отшельник" из романа "Задиг" списана слово в слово из книги Томаса Парнелла. Думаю, что вам небезынтересно будет узнать о другом плагиате господина де Вольтера; я имею в виду главу "Собака и лошадь" из того же романа. Эта глава, в которой восхищенные поклонники увидели плод неиссякающей творческой силы автора, — не что иное как подражание одному забытому сочинению, которое господин де Вольтер прочел, потому что он читает все подряд, читает не без умысла и не без пользы, обращая особенное внимание на те книги, о которых, как ему кажется, никто уже не помнит. К числу таких книг относится изданный в 1716 году маленький томик под названием "Путешествие и приключения трех принцев из Серендипа, перевод с персидского". Господин де Вольтер разыскал этот рудник, нашел там драгоценный камень, отшлифовал его и украсил им своего "Задига", заменив — какой полет фантазии! — верблюда на собаку и лошадь. Прочтите, сударь, и судите сами! Следуя вашему примеру, я переписал оба текста.

ПЕРЕВОД С ПЕРСИДСКОГО

Три принца, покинувшие пределы своих владений, прибыли в государство, которым правил могущественный император по имени Бехрам. На пути в столицу империи они встретили погонщика, который потерял од-

ного из своих верблюдов; погонщик спросил принцев, не видели ли они случайно пропавшее животное? Юные принцы, которым попадались на дороге следы, похожие на верблюжьи, отвечали, что видели, причем для вящей убедительности старший из принцев поинтересовался, не кривой ли тот верблюд, второй, перебив брата, сказал, что у верблюда не хватает одного зуба, а младший добавил, что верблюд хром. Погонщик узнал своего верблюда, поблагодарил принцев и, обрадованный их словами, отправился на поиски по дороге, которую они ему указали. Он проехал целых двадцать миль, но верблюда не нашел. Опечаленный, двинулся он в обратный путь и назавтра снова повстречал принцев; они отдыхали под чинарой близ живописного источника. Погонщик пожаловался, что долго искал, но так и не нашел потерянного верблюда. "И хотя вы назвали мне все его приметы,— сказал он, — я не могу отделаться от мысли, что вы посмеялись надо мной". Старший из принцев отвечал ему: "По названным приметам вы сами можете судить, собирались ли мы смеяться над вами, а чтобы у вас не осталось сомнений, я спрошу у вас, не гружен ли ваш верблюд маслом и медом?" — "А я, — вступил в разговор второй брат, — скажу вам, что на вашем верблюде ехала женщина". — "И что женщина эта в тягости, — добавил третий брат, — судите же сами, обманываем мы вас или нет". Услыхав эти речи, погонщик подумал, что принцы украли его верблюда.

Он решил обратиться за помощью к судье и, как только принцы въехали в столицу, обвинил их в краже. Судья приказал взять их под стражу и начал разбирательство. Император, узнав, что обвиняемые — юноши благородной наружности и, судя по всему, знатного происхождения, повелел привести их к себе; призвал он также и погонщика, чтобы услышать от него, как было дело. Погонщик рассказал все, что знал, и император,

сочтя принцев виновными, обратился к ним с такой речью: "Вы заслуживаете казни, но я милосерден и подарю вам жизнь, если вы вернете украденного верблюда, если же вы этого не сделаете, вас ждет позорная смерть". – "Государь, – отвечали принцы, – мы странствуем по свету, дабы узнать обычаи и нравы разных народов; мы начали с вашей страны и на дороге встретили погонщика, который спросил нас, не видали ли мы случайно верблюда, которого он потерял. Хотя мы не видели верблюда, мы в шутку ответили, что видели, а чтобы погонщик поверил, перечислили ему приметы потерянного животного. Не найдя верблюда, погонщик решил, что мы его украли, и потому мы оказались в тюрьме. Вот, государь, как было дело, и если это ложь, мы готовы умереть самой позорной смертью". Император, не в силах поверить, что принцы могли так точно угадать приметы верблюда, сказал: "Вы не колдуны, и раз вы так точно назвали шесть примет верблюда, значит, вы его украли; выбирайте одно из двух: либо вы вернете верблюда, либо умрете". Сказав это, он приказал отвести принцев в тюрьму и закончить разбирательство.

Тем временем сосед погонщика нашел заблудившегося верблюда и привел его к хозяину. Погонщик очень обрадовался верблюду, но устыдился, что юноши страдают без вины из-за его навета; он бросился к императору и стал умолять его отпустить пленников. Император тотчас отдал приказ об их освобождении; призвав принцев во дворец, он сказал, что рад убедиться в их невиновности и очень сожалеет, что обошелся с ними так сурово. Затем он пожелал узнать, как удалось принцам так точно описать животное, которого они никогда не видели. Старший сказал: "Я понял, государь, что верблюд крив, потому что скверная трава по одну сторону дороги, которой он шел незадолго до нас, была вся

выщипана, а гораздо более густая и сочная трава по другую сторону дороги осталась нетронутой; вот я и решил, что у верблюда только один глаз, иначе он никогда не променял бы хорошую траву на дурную". Средний принц прервал его. "Я, государь, – сказал он, – понял, что у верблюда не хватает одного зуба, потому что он на каждом шагу оставлял непережеванные пучки травы, по длине совпадающие с зубом этого животного". "А я, – сказал третий брат, – понял, что верблюд хром, потому что следы от одного из копыт не такие глубокие, как от остальных". Ответы принцев пришлись императору по душе; ему стало любопытно узнать продолжение истории. Старший принц сказал: "Я понял, государь, что верблюд гружен маслом и медом, потому что справа вдоль дороги сновало множество муравьев, лакомых до жира, а слева летали тучи мух, обожающих мед". Средний продолжал: "Я, государь, понял, что на верблюде ехала женщина, потому что в том месте, где верблюд опустился на колени, остался след женской туфельки и маленькая лужица; по резкому неприятному запаху женской мочи я догадался, откуда она". "А я, – сказал младший, – решил, что женщина эта в тягости, потому что заметил на песке отпечатки ее ладоней – только очень располневшая женщина будет, вставая, опираться на руки". Император обласкал принцев, пригласил их погостить в его стране подольше, поселил их во дворце и всякий день виделся и беседовал с ними.

ВОЛЬТЕР*

Однажды, когда Задиг прогуливался по опушке рощицы, к нему подбежал евнух царицы, которого со-

---

*Я полагаю, никто не станет осуждать Вольтера за то, что он опустил многие подробности, которые я сохранил, дабы не исказить этот любопытный текст. Если остроумный Задиг в самом деле повинен в плагиате, он достоин снисхождения: победителей не судят.

провождали еще несколько дворцовых служителей. Все они, видимо, находились в сильной тревоге и метались взад и вперед, словно искали потерянную ими драгоценную вещь.

– Молодой человек, – сказал ему первый евнух, – не видели ли вы кобеля царицы?

– То есть суку, а не кобеля, – скромно отвечал Задиг.

– Вы правы, – подтвердил первый евнух.

– Это маленькая болонка, – прибавил Задиг, – она недавно ощенилась, хромает на левую переднюю лапу, и у нее очень длинные уши.

– Значит, вы видели ее? – спросил запыхавшийся первый евнух.

– Нет, – отвечал Задиг, – я никогда не видел ее и даже не знал, что у царицы есть собака.

Как раз в это время, по обычному капризу судьбы, лучшая лошадь царских конюшен вырвалась из рук конюха на лугах Вавилона. Егермейстер и другие придворные гнались за ней с не меньшим волнением, чем первый евнух за собакой. Обратившись к Задигу, егермейстер спросил, не видел ли он царского коня.

– Это конь, – отвечал Задиг, – у которого превосходнейший галоп; он пяти футов ростом, копыта у него очень маленькие, хвост трех с половиной футов длины, бляхи на его удилах из золота в двадцать три карата, подковы из серебра в одиннадцать денье.

– Куда он поскакал? По какой дороге? – спросил егермейстер.

– Я его не видел, – отвечал Задиг, – и даже никогда не слыхал о нем.

Егермейстер и первый евнух, убежденные, что Задиг украл и лошадь царя, и собаку царицы, притащили его в собрание великого Дестерхама, где присудили к наказанию кнутом и пожизненной ссылке

в Сибирь*. Едва этот приговор был вынесен, как нашлись и собака и лошадь. Судьи были поставлены перед печальной необходимостью пересмотреть приговор; но они присудили Задига к уплате четырехсот унций золота за то, что он сказал, будто не видел того, что на самом деле видел.

Задигу пришлось сперва уплатить штраф, а потом уже ему позволили оправдаться перед советом великого Дестерхама. И он сказал следующее:

— Звезды правосудия, бездны познания, зерцала истины, вы, имеющие тяжесть свинца, твердость железа, блеск алмаза и большое сходство с золотом! Так как мне дозволено говорить перед этим высочайшим собранием, я клянусь вам Оромаздом, что никогда не видел ни почтенной собаки царицы, ни священного коня царя царей. Вот что со мной случилось. Я прогуливался по опушке той рощицы, где встретил потом достопочтенного евнуха и прославленного егермейстера. Я увидел на песке следы животного и легко распознал, что их оставила маленькая собачка. По едва приметным длинным бороздкам на песке между следами лап я определил, что это сука, у которой соски свисают до земли, из чего следует, что она недавно ощенилась. Следы, бороздившие песок по бокам от передних лап, говорили о том, что у нее очень длинные уши, а так как я заметил, что след одной лапы везде менее глубок, чем следы остальных трех, то догадался, что собака нашей августейшей государыни немного хромает, если я смею так выразиться.

Что касается царя царей, то знайте, что, прогуливаясь по дорогам этой рощи, я заметил следы лошадиных подков, которые все были на равном расстоянии друг от

---

*Действие происходит в Вавилоне, а не в России, меж тем автор говорит о кнуте и о Сибири.

друга. Вот, подумал я, лошадь, у которой превосходный галоп. Пыль с деревьев вдоль узкой дороги, шириною не более семи футов, была немного сбита справа и слева, в трех с половиной футах от середины дороги. У этой лошади, подумал я, хвост трех с половиною футов длиной: в своем движении направо и налево он смел эту пыль. Я увидел под деревьями, образующими свод в пять футов высоты, листья, только что опавшие с ветвей, из чего я заключил, что лошадь касалась их и, следовательно, была пяти футов ростом. Я исследовал камень кремневой породы, о который она потерлась удилами, и на этом основании определил, что бляхи на удилах были из золота в двадцать три карата достоинством. Наконец, по отпечаткам подков, оставленным на камнях другой породы, я пришел к заключению, что ее подковы из серебра достоинством в одиннадцать денье.

Все судьи восхитились глубиной и точностью суждений Задига, и слух о нем дошел до царя и царицы. В передних дворца, в опочивальне, в приемной только и говорили что о Задиге, и, хотя некоторые маги высказывали мнение, что он должен быть сожжен как колдун, царь приказал возвратить ему штраф в четыреста унций, к которому он был присужден".

"Письмо господину Фрерону

Путешествие в далекую страну на некоторое время лишило меня, сударь, удовольствия читать ваш журнал. Теперь я вернулся домой и возобновил чтение. Только что я прочел подшивку за 1770 год. В рецензии на "Бумаги человека со вкусом", составленные аббатом без вкуса, вы упоминаете остроумную басню господина де Вольтера "Лев и марселец" и цитируете самые удачные места, в частности вот это:

С товаром в Африку приплыл купец марсельский.
Однажды, в местности прогуливаясь сельской,

Забрел случайно он под сень густых дерев, —
Вдруг прямо перед ним возник огромный лев...
<...> У бедного купца перехватило дух.
Недолго думая, он на колени бух! —
Не всякий ведь Геракл — и стал просить пощады.
Приятным голосом, без гнева и надсады,
Но паче прежнего купца ввергая в дрожь,
Царь леса отвечал: "Смешной зверок! Ну что ж
(Лев, кстати, говорил отменно по-французски),
Ты хочешь, чтобы я остался без закуски, —
Так докажи, что впрямь закон на свете есть,
Где сказано, что львам нельзя марсельцев есть".
В душе несчастного затеплилась надежда,
Он был весьма смышлен и не простой невежда...

Он толкует о том, что человек — царь природы, что Бог заключил со львом договор, которым

Смиренномудрие вам заповедал сторого:
Да не коснется лев вовек подобья Бога... —

на что лев отвечает:

"Кто видел договор между Творцом и мной?
Где был написан он? Когда и чьей рукой?
Я ж предъявить тебе сумею достоверный:
Вот этот ряд зубов (все — остроты безмерной)
И когти, чтоб тебя на части разодрать,
И глотка мощная, чтобы тебя пожрать...
Премудрость Божия не воздержанью учит,
Коль скоро нам нутро голодным зудом мучит.
Зубами мелкими ты сам терзать готов
Барашков слабеньких и глупых индюков,
Хоть созданы они и не тебе в угоду.
Желудок вялый твой, позорящий природу,
Цыпленка б не сварил, когда б — о стыд и срам! —
Ты денег не платил наемным поварам..."
"Сир, мы наделены бессмертною душою,
Из уваженья к ней не ужинайте мною!
Два сына и жена меня в Марселе ждут,
Лишь ради них, клянусь, я очутился тут.
Коль буду съеден я, несчастные сиротки
Должны носить суму... Молю вас: будьте кротки..."
"Но разве о семье печешься ты один?
Жену кормлю и я, и у меня есть сын.

Еще не по зубам ему ваш род лукавый;
Питать его — мой долг. Все жить имеют право.
Зачем покинул ты, невесть куда уплыв,
Блаженную страну лимонов и олив?
Оставил ли жену, и город свой прекрасный...”

Сюжет и детали этой басни взяты из ”Басни о пчелах” Мандевиля. Дабы вы в этом убедились, шлю вам копию этого аполога, переписанную из издания 1750 года, вышедшего в Лондоне у Джона Ноурса (Т. I. С. 258; примеч. 2).

”Во время одной из Пунических войн некий римский купец потерпел кораблекрушение у берегов Африки. Он сам и его раб с величайшим трудом выбрались на берег и, бродя в поисках помощи, встретились с огромным львом. Он оказался представителем той породы львов, что водилась во времена Эзопа, и не только изъяснялся на нескольких языках, но, судя по всему, неплохо разбирался в людских делах. Раб влез на дерево, а хозяин его, не полагая сию меру достаточной и будучи наслышан о великодушии львов, простерся ниц перед зверем, изъявляя все признаки страха и покорности. Лев, который в сию пору был сыт, велел купцу встать и на время отбросить страх, добавив, что не тронет его, если он сможет привести какие-либо разумные причины, по которым есть его не следует. Купец, завидев призрачную надежду на спасение, в мрачных тонах живописал кораблекрушение, жертвой коего стал, а затем, силясь пробудить жалость в сердце льва, стал молить его о пощаде со всем красноречием, на какое был способен; однако по всему было заметно, что лесть и уговоры производят на зверя весьма малое впечатление, и купец прибегнул к аргументам более солидным: он показал, что боги создали человека и даровали ему превосходство над всеми живыми существами вовсе не для того, чтобы он служил пищей диким зверям. Тут лев стал слу-

шать купца более внимательно и время от времени даже удостаивал его ответом, так что в конце концов между ними состоялась следующая беседа:

– О суетное и алчное животное (сказал лев), из гордости и жадности покинувшее родную землю, могущую удовлетворить все твои естественные потребности! Ты блуждаешь по бурным морям, карабкаешься по опасным скалам, дабы удовлетворить потребности неестественные и излишние, и смеешь ставить свой род выше нашего?! А коль скоро боги даровали тебе превосходство над всеми существами, отчего же ты умоляешь о спасении существо, которое ниже тебя? – Наше превосходство (отвечал купец) состоит не в физической мощи, а в силе разума; боги наделили нас душой разумной, хотя и невидимой, и это – лучшая наша часть. – Мне нужно от тебя лишь то, что годится в пищу, но отчего ты так высоко ценишь себя из-за той части, коя невидима? – Оттого что она бессмертна и после смерти получит воздаяние за земные дела; праведники вместе с героями и полубогами будут вкушать в полях Елисейских вечное блаженство и покой. – Какую жизнь вел ты? – Чтил богов и старался приносить пользу людям. -- Тогда отчего же ты страшишься смерти, ведь не думаешь же ты, что боги обойдутся с тобой не по справедливости? – У меня жена и пятеро малых детей; без меня они впадут в нищету. – У меня два детеныша, они еще слишком малы, чтобы самостоятельно добывать пищу; если я им сегодня ничего не принесу, они будут голодать. О твоих детях кто-нибудь позаботится, во всяком случае, если я тебя съем, им будет ничуть не хуже, чем если бы ты утонул в море. <...> Лев рождается без чувства сострадания; мы следуем своей природе; боги назначили нам питаться падалью или убивать других животных, дабы употребить в пищу их мясо. <...> Вы, люди, созданы так, что могли бы обходиться одной

лишь растительной пищей, однако, повинуясь неистовой любви к переменам и новизне, вы стали без права и необходимости истреблять животных, извратив тем самым вашу природу и желания в угоду гордости и тяге к роскоши. Желудок льва способен переварить самую жесткую шкуру и самые твердые кости, следовательно, лев может есть мясо всех животных без исключения. Ваш привередливый желудок переваривает пищу так вяло, что не может справиться даже с самыми нежными кусками, если они не будут заранее приготовлены с помощью искусственного тепла. <...> Если, по твоим словам, боги сделали человека господином над всеми прочими созданиями, то что же это за жестокосердый господин, который уничтожает подданных из-за слабости собственной природы! <...> Если бы богам было угодно, чтобы человек превосходил всех других животных и правил ими, тогда тигр – да что там! даже кит и орел повиновались бы его голосу".

Как видите, сударь, философическая идея басни или сказки о марсельце не принадлежит господину де Вольтеру; в этом жанре вообще трудно стать первооткрывателем, однако вы не станете отрицать, что поэт делается поэтом в первую очередь благодаря своим идеям, что именно в них выражается его гений, а тот, кто умеет лишь разукрашивать чужие мысли и находки, – всегонавсего литератор. Боже упаси кого бы то ни было заподозрить меня в желании умалить достоинства господина де Вольтера. Среди множества окружающих нас мастеров и подмастерьев он по праву славится умением с блеском воплощать чужие идеи.

Честь имею быть и проч."

Примечание И (к с. 96)

ДОРА:

Святая музыка, укрась мой скромный стих,

Пусть он исполнится волшебных тайн твоих.
Тебе подвластно все. Когда гроза над судном,
Ты можешь аквилон сдержать ветрилом чудным;
Ты жителей морских способна чаровать
И на младенцев сон умеешь навевать.
В полночной тишине тебя любовным бденьем
Чтит Амфион лесов, измученный томленьем, —
Печален, одинок, среди густых ветвей
Поет, забыв себя, он о любви своей.
Ты нравы грубые смягчила повсеместно:
Какой бы ни был край — и дикий, и безвестный —
Все ж оглашается он голосом твоим.
И в варварской глуши знакомо эхо с ним.
Чуть бранная труба пред битвой заиграет,
Тревожный конь тотчас окрестность озирает,
Ржет, удила грызет и, гриву распустив,
Летит стрелой туда, куда влечет призыв.
Нередко смертного ты утешаешь в горе,
Ты скрашиваешь труд, ты — средство против хворей.
Что делают все те, кого судьба гнетет,
Чья жизнь исполнена лишений и невзгод, —
На зрелой ниве жнец, от жажды изнемогший,
Пастух средь пажити, под ливнем злым промокший?
Что делает кузнец, вздымая молот свой,
Иль виноградарь в дни, когда несносен зной,
Невольник в кандалах, гребец над зыбью водной,
Раб в темном руднике, усталый и голодный,
Бродяга, зябнущий в дырявом шалаше?
Поют. Часы летят, и легче на душе.

ДЕЛИЛЬ:

Святой гармонии я предаюсь душой...
Гармония! Навек ты овладела мной.
История и баснь тебя недаром славят,
Недаром власть твою всего превыше ставят!
Сколь муза к нам щедра была в своих дарах!
Ты можешь выразить и торжество, и страх,
Ты на войну зовешь, ты праздник согреваешь,
С надгробным воплем ты уныльй звук сливаешь
И ввысь от алтаря, напевом полня храм,
Молитвы пылкие возносишь к небесам.
Внимая пение бесстрашного Тиртея,
Воспламенялся Марс, а лира Тимофея
На сотни голосов звенела, говорят:

Познал он и хвалы, и нежной страсти лад.
Он пел, как Александр Таисою пленился,
Как Вавилон пред ним в развалинах дымился,
Как Дарий изнемог под гнетом неудач
И как надменного умилостивил плач...
В угрюмых мастерских, в заброшенных подвалах
Ты помощь подаешь, ты веселишь усталых, —
Что пахарь делает, взрывая дол сохой,
Иль виноградарь в дни, когда нещаден зной,
Пастух средь пажити, гребец над хлябью водной,
Рабочий-рудокоп, усталый и голодный,
Кузнец, чья целый день напряжена рука?
Поют. Часы летят, и жизнь не так горька.

Примечание К (к с. 108)

МОНТЕНЬ:

Можно подумать также, что судьба намеренно подстерегает порою последний день нашей жизни, чтобы явить пред нами всю свою мощь и в мгновение ока низвергнуть все то, что воздвигалось ею самою годами; и это заставляет нас воскликнуть подобно Лаберию: "Ясно, что на один этот день прожил я дольше, чем мне следовало жить". <...> Не следует судить о человеке, пока нам не доведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудный акт той пьесы, которая выпала на его долю. Во всем прочем возможна личина. <...> Но в этой последней схватке между смертью и нами нет больше места притворству; приходится говорить начистоту и показать, наконец, без утайки, что у тебя за душой:

Ведь из сердечных глубин лишь тогда вылетает невольно
Истинный голос, личина срывается, суть остается*.

Вот почему это последнее испытание — окончательная проверка и пробный камень всего того, что совершено

---

*Лукреций. О природе вещей, III, 57–58, перевод Ф.Петровского.

нами в жизни. Этот день – верховный день, судья всех остальных наших дней. <...> Эпаминонд, когда кто-то спросил его, кого же он ставит выше – Хабрия, Ификрата или себя, ответил: "Чтобы решить этот вопрос, надлежало бы посмотреть, как будет умирать каждый из нас". <...> Оценивая жизнь других, я неизменно учитываю, каков был конец ее (Опыты, I, XIX).

ШАРРОН:

Постоянная готовность к смерти – признак мудрости. День смерти – верховный судья, судья всех остальных наших дней, окончательная проверка и пробный камень всего того, что совершено нами в жизни. <...> Чтобы судить о жизни, надо посмотреть, каков был ее конец. Мы не можем вынести справедливое суждение о человеке, пока нам не доведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудный акт той пьесы, которая выпала на его долю. Эпаминонд, первый полководец Греции, когда спросили его, кого он ставит выше – Хабрия, Ификрата или себя, ответил: "Чтобы решить этот вопрос, нужно прежде всего посмотреть, как каждый из нас будет умирать". Ибо во всем прочем возможна личина, но в этой последней схватке нет места притворству: Nam verae voces* и т.д.

К тому же можно подумать, будто судьба порою намеренно подстерегает последний день нашей жизни, чтобы явить пред нами всю свою мощь и в мгновение ока низвергнуть все, что мы воздвигали и копили долгие годы, и это заставляет нас воскликнуть подобно Лаберию: Nimirum hac die una plus vixi** и т.д.

МОНТЕНЬ:

Вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся в конечном итоге к тому, чтобы научить нас не

---

*Ведь истинный голос... (*лат.*).

**Ясно, что на один этот день прожил я дольше... (*лат.*).

бояться смерти. <...> Вы видели многих, кто умер в самое время, ибо избавился, благодаря этому, от великих несчастий. Но видели ли вы хоть кого-нибудь, кому бы смерть причинила их? <...> Хирон отверг для себя бессмертие, узнав от Сатурна, своего отца, бога бесконечного времени, каковы свойства этого бессмертия. Вдумайтесь хорошенько в то, что называют вечной жизнью, и вы поймете, насколько она была бы для человека более тягостной и нестерпимой, чем та, что я даровала ему [говорит природа]. Если бы у вас не было смерти, вы без конца осыпали б меня проклятиями за то, что я вас лишила ее. Я сознательно подмешала к ней чуточку горечи, дабы, принимая во внимание доступность ее, воспрепятствовать вам слишком жадно и безрассудно устремляться навстречу ей. <...> Конечная точка нашего жизненного пути — это смерть, предел наших стремлений, и если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя бы один-единственный шаг, не дрожа при этом, как в лихорадке? Лекарство, применяемое невежественными людьми, — вовсе не думать о ней. Но какая животная тупость нужна для того, чтобы обладать такой слепотой! <...> Люди снуют взад и вперед, топчутся на одном месте, пляшут, а смерти нет и в помине. Все хорошо, все как нельзя лучше. Но если она нагрянет, — к ним ли самим или к их женам <...> захватив их врасплох, беззащитными, — какие мучения, какие вопли, какая ярость и какое отчаянье сразу овладевают ими! <...> Чтобы отнять у нее главный козырь, изберем путь, прямо противоположный обычному. Лишим ее загадочности <...> если вы прожили один-единственный день, вы видели уже все. Каждый день таков же, как все прочие дни. Нет ни другого света, ни другой тьмы. Это солнце, эта луна, эти звезды, это устройство вселенной — все это то же, от чего вкусили пращуры ваши и что взрастит ваших потомков. <...> И, на худой конец, все

акты моей комедии, при всем разнообразии их, протекают в течение одного года. Если вы присматривались к хороводу четырех времен года, вы не могли не заметить, что он обнимает собою все возрасты мира: детство, юность, зрелость и старость. По истечении года делать ему больше нечего. И ему остается только начать все сначала. И так будет всегда (Опыты, I, XX).

ШАРРОН:

Превосходная вещь — учиться умирать; к этому и сводится вся наша мудрость. <...> Никогда еще смерть никому не причинила зла; ни один из тех, кто испробовал ее и знаком с нею, на нее не жаловался. <...> Если бы смерти не существовало и нам волей-неволей пришлось бы остаться в этом мире навсегда, мы бы наверняка осыпали природу проклятиями. Представьте, насколько более тягостной и нестерпимой была бы жизнь, которую называют вечной, чем та, с которой можно расстаться. Хирон отверг для себя бессмертие, узнав от Сатурна, своего отца, бога времени, каковы свойства этого бессмертия. С другой стороны, что произошло бы, если бы к смерти не было подмешано чуточку горечи? Все слишком жадно и безрассудно устремились бы ей навстречу. <...> Люди невежественные поступают очень глупо; они применяют вот какое лекарство — совсем не думать о смерти, никогда не поминать ее. Не говоря уже о том, что подобная беспечность не пристала разумному существу, она еще и дорого ему обходится, ибо, когда смерть приходит внезапно, сколько мучений, воплей, ярости и отчаяния! Мудрец поступит иначе: он будет ждать ее без страха, дабы сразиться с ней; мудрость, не в пример невежеству, советует всегда помнить о смерти, размышлять о ней, свыкаться с ней, приручать ее. <...> Ты все видел; каждый день таков же, как все прочие; нет ни другого света, ни другой тьмы, ни другого солнца, ни другого мира; на худой конец, все

можно увидеть за один год. За этот год можно увидеть младенчество, юность, зрелость и старость мира. Затем остается лишь начать все сначала.

МОНТЕНЬ:

Самая добровольная смерть наиболее прекрасна. <...> Подобно тому, как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что мне принадлежит, или сам беру у себя кошелек, и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни. <...> Однако далеко не все в этом вопросе единодушны. Многие полагают, что мы не вправе покидать крепость этого мира без явного веления того, кто поместил нас в ней. <...> Больше стойкости – в том, чтобы жить с цепью, которой мы скованы, чем разорвать ее, и Регул является более убедительным примером твердости, чем Катон. Только неблагоразумие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Никакие злоключения не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной. <...> Спрятаться в яме под плотной крышкой гроба, чтобы избежать ударов судьбы, – таков удел трусости, а не добродетели (Опыты, II, III).

ШАРРОН:

Самая добровольная смерть – самая прекрасная. Ведь я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что мне принадлежит, или сам беру у себя кошелек. Точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни. Впрочем, многие осуждают добровольную смерть, не одни лишь христиане и иудеи <...> но также и философы, такие, как Платон и Сципион, которые почитают ее следствием трусости, малодушия и нетерпения, ибо умереть добровольно значит спрятаться, схорониться, дабы избежать ударов судьбы. Меж тем истинная добродетель не сдается; невзгоды и страдания питают ее; гораздо больше

стойкости в том, чтобы жить с цепью, которой мы скованы, чем в том, чтобы разорвать ее, и больше твердости в Регуле, чем в Катоне.

Примечание Л (к с. 108)

МОНТЕНЬ:

Чувства обманывают наш разум, но и он, в свою очередь, обманывает их. Наша душа иногда мстит чувствам; они постоянно лгут и обманывают друг друга (Опыты, II, XII).

ПАСКАЛЬ:

Чувства обманывают разум, одурманивают его, но и он, в свою очередь, обманывает их; он мстит им. Страсти души смущают чувства и доставляют им неприятные ощущения. Они постоянно лгут и обманывают друг друга (Мысли, № 83).

МОНТЕНЬ:

Что это за благо, которое я вчера видел в почете, но которое уже не будет пользоваться им и которое переезд через какую-нибудь речку превращает в преступление? Что это за истина, которую ограничивают какие-нибудь горы и которая становится ложью для людей по ту сторону этих гор! (Опыты, II, XII).

ПАСКАЛЬ:

Понятия справедливого и несправедливого меняются с изменением географических координат. На три градуса ближе к полюсу — и вся юриспруденция летит вверх тормашками. Истина зависит от меридиана. <...> От многовековых установлений не остается камня на камне; право подвластно времени. <...> Хороша справедливость, которую ограничивает река! Истина по сю сторону Пиренеев становится заблуждением по ту. "За что ты меня убиваешь?" — "Как за что? Да ведь ты живешь на том берегу реки!" (Мысли, № 294 и № 293)*.

---

*Здесь и далее "Мысли" Паскаля (кроме № 83 и № 417) цитируются в переводе Э.Линецкой.

МОНТЕНЬ:

Убийство детей, убийство родителей, общность жен, торговля краденым, всякого рода распутство – нет такого чудовищного обычая, который не был бы принят у какого-нибудь народа. Весьма вероятно, что естественные законы, как они именуются у некоторых других созданий, существуют, однако у нас они утрачены по милости этого замечательного человеческого разума, который во все вмешивается и повсюду хочет распоряжаться и приказывать, но вследствие нашей суетности и непостоянства лишь затемняет облик вещей: "Нам уже ничего не принадлежит; то, что я называю нашим, – понятие условное" (Опыты, II, XII).

ПАСКАЛЬ:

Кража, кровосмешение, дето- и отцеубийство – что только не объявлялось добродетелью! <...> Естественное право, разумеется, существует, но как его извратил этот замечательный человеческий разум: "Нам уже ничего не принадлежит; то, что я называю нашим, – понятие условное. Преступления совершаются на основании сенатских решений и плебисцитов. Некогда мы страдали из-за наших пороков, теперь страдаем из-за наших законов" (Мысли, № 294).

МОНТЕНЬ:

Достаточно одного порыва противного ветра, крика ворона, неверного шага лошади, случайного полета орла, какого-нибудь сна, знака или звука голоса, какого-нибудь утреннего тумана, чтобы сбить человека с ног и свалить на землю. Одного солнечного луча достаточно, чтобы сжечь и уничтожить его (Опыты, II, XII).

ПАСКАЛЬ:

Ум верховного судии подлунной юдоли так зависит от всякого пустяка, что малейший шум его помрачает. Отнюдь не только гром пушек мешает ему мыслить

здраво: довольно скрипа какой-нибудь флюгарки или блока (Мысли, № 366).

МОНТЕНЬ:

Если посадить какого-нибудь философа в клетку с решеткой из мелких петель и подвесить ее к верхушке башни собора Парижской богоматери, то, хотя он будет ясно видеть, что ему не грозит опасность из нее выпасть, он не сможет не содрогнуться при виде этой огромной высоты (Опыты, II, XII).

ПАСКАЛЬ:

Поставьте мудрейшего философа на широкую доску над пропастью: сколько бы разум ни твердил ему, что он в безопасности, воображение все равно возьмет верх (Мысли, № 82).

МОНТЕНЬ:

Эта наблюдающаяся у нас изменчивость и противоречивость, эта зыбкость побудила одних мыслителей предположить, что в нас живут две души, а других – что в нас заключены две силы, из которых каждая влечет нас в свою сторону: одна – к добру, другая – ко злу, ибо резкий переход от одной крайности к другой не может быть объяснен иначе (Опыты, II, I).

ПАСКАЛЬ:

Эта двойственность человека настолько очевидна, что иные мыслители предполагали, будто в нас живут две души, ибо им не верилось, что одна-единственная личность способна на такие резкие и неожиданные переходы от чрезмерного самодовольства к безнадежному отчаянию (Мысли, № 417).

МОНТЕНЬ:

Ничто на свете не несет на себе такого тяжкого груза ошибок, как законы. Тот, кто повинуется им потому, что они справедливы, повинуется им не так, как должно (Опыты, III, XIII).

ПАСКАЛЬ:

Всего ошибочнее законы, исправляющие былые ошибки: кто подчиняется им потому, что они справедливы, тот подчиняется справедливости, им самим вымышленной, а не сути закона (Мысли, № 294).

Примечание М (к с. 109)

ТИМЕЙ ЛОКРСКИЙ:

Бог – это огромный круг, центр которого везде, а окружность нигде.

(№ Сознаюсь, что приписываю эту мысль Тимею Локрскому только на основании многочисленных свидетельств античных авторов. В тексте Платона я ее не обнаружил.)

ПАСКАЛЬ:

Сколько бы мы ни раздвигали пределы наших представлений, все равно мы познаем не сущее, а лишь его частицы. Вселенная – это не имеющая границ сфера, центр ее всюду, периферия – нигде (Мысли, № 72).

Примечание Н (к с. 141)

БУАЛО:

Будь проклят сей творец, терзающий Палладу:
Насилуя свой мозг, он рифмовал без складу
И, плюща здравый смысл тяжелым молотком,
Премерзостных стихов наделал целый том.

ПРИМЕЧАНИЯ

От составителя

В настоящий сборник вошли далеко не все библиофильские произведения Нодье; из огромного количества написанных им на эту тему работ отобраны те, которые, на наш взгляд, представляют наиболее общий интерес, затрагивают основные проблемы книжного собирательства и истории книги, содержат наибольшее количество занимательных и любопытных сведений из истории книжного дела и библиофильства.

Нодье упоминает в своих книгах и статьях мельком, без специальных разъяснений, множество книг и фактов, неизвестных русскоязычному читателю. Сведения о них (необходимый реальный комментарий, краткие библиографические описания упоминаемых книг и проч.) даны в примечаниях; сведения о лицах, упоминаемых в тексте, даны в аннотированном именном указателе (общеизвестные имена не аннотируются). В тех случаях, где это необходимо, примечания предваряет короткая преамбула.

При подборе иллюстраций использована книга: Devaux Y. Dix si`ecles de reliure. P., 1981.

Комментатор приносит благодарность П.Скобцеву за помощь в переводе латинских цитат.

БИБЛИОМАН

Впервые: Париж, или Книга ста одного автора. 1831, т. 1. На рус. яз. в изд.: Сын отечества, 1834. Ч. 164. № 16 (пер. О.Сомова); Альманах библиофила. Л., 1929 (в пер. Л.Судаковой под ред. В.К.Охочинского); Корабли мысли. М., 1980 (в пер. Е.Любимовой).

С. 34. *Тринадцатая глава первой книги Рабле* – "О том, как Грангузье распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку".

П.Ж.Гара, певец, был известен своим пристрастием к модным туалетам.

С. 35. *Наполеон... безумный поход на Север...* – Имеется в виду война наполеоновской Империи с Россией (1812–1814).

Кансьонеро – название нескольких сборников народной средневековой испанской поэзии.

Трокадеро – форт на побережье Кадисского залива, 31 августа 1823 г. захваченный французским экспедиционным корпусом, который был отправлен в Испанию для подавления революции и восстановления на троне короля Фердинанда VII.

Романсеро – совокупность или собрание испанских народных романсов, понятие, параллельное кансьонеро.

Л. де Бурмон командовал французскими войсками, которые 4 июля 1830 г. захватили Алжир.

Карлистами называли сторонников Карла X, свергнутого в ходе Июльской революции (27–29 июля 1830 г.); военная экспедиция в Африку была начата, когда Карл был еще на троне.

...голландцам, которые угнетают поляков... – На самом деле имеется в виду не Польша, а Бельгия, провозгласившая в 1830 г. свою независимость от Голландии; попытка голландцев вернуть утраченные территории окончилась неудачно из-за введения в Бельгию французских войск.

С. 37. *Ж.М.Монгольфье,* изобретатель аэростата, был владельцем фабрики, где впервые во Франции начали изготовлять веленевую бумагу по образцу голландской.

Альдины – книги конца XV–XVI вв., изданные в Венеции в "Доме Альда" (по имени родоначальника издательской династии Альда Мануция).

С. 38. *...побросали в воду книги из библиотеки архиепис-*

конства. – Парижское архиепископство было разграблен. 14 февраля 1831 г. в отместку за торжественное богослужение в память о наследнике престола герцоге Беррийском, убитом в 1820 г. шорником Лувелем.

С. 39. *Дворец* – дворец юстиции, где Монмерке часто бывал, поскольку в 1822 г. был председателем суда присяжных департамента Сена. *Собор* – Собор Парижской богоматери, викарием которого был Лабудри.

...почтенный Булар... – Об А.-А.Буларе и его коллекции см подробнее наст. изд., т. 2, с. 178–179.

...angulus Горация... – У Горация (Сатиры, II, 6, 9) ненасытный проситель молит благодетеля: "О, хоть бы этот еще уголок мне прибавить к владенью" (перевод М.Дмитриева).

Жанно – комический тип глупца, созданный в 1779 г. актером Дорвинью (наст. имя и фам. Луи Аршамбо, 1734–1812); в одной из комедий Жанно рассуждает о ноже, у которого он не раз менял и лезвие, и рукоятку – "а нож все тот же".

...мухи с берегов Гипаниса – "существа-однодневки", упомянутые в "Тускуланских беседах" Цицерона (I, 94); *Гипанис* – древнее латинское название реки Буг.

Ш.Лавока выпустил в свет большую часть произведений французской романтической литературы.

С. 40. *...невежественная орфография...* – Имеется в виду реформа французской орфографии, предложенная в середине XVIII в. Вольтером, – написание ait вместо oit. Нодье был убежденным противником этого нововведения (узаконенного в 1835 г. Французской Академией), поскольку считал, что всякое изменение написания слова затемняет его "генеалогию".

...напишу главу для его сборника... – Нодье приписывает Теодору слова, которые должен был произнести сам: сборник "Книга ста одного автора", для которого был написан "Библиоман", вышел у Лавока.

...лавка почтенного Крозе... – в некрологе Ж.Крозе (1841) Нодье писал, что покойный был "не только ученым книгопродавцем, но и образованным, здравомыслящим, требовательным собирателем, который искал совершенства и обратил любовь к прекрасной книге в страсть и культ".

Репрессалии – в международном праве принудительные меры, применяемые одним государством в ответ на неправомерные действия другого; Нодье иронически характеризует так действия Крозе, приобретающего старинные французские книги, купленные некогда на французских распродажах английскими коллекционерами.

...на его бесполезных перилах... – Мост Искусств, построенный в начале XIX в., отличался от старых мостов, таких, например, как знаменитый Новый мост, тем, что на нем ничем – в том числе и книгами – не торговали, тогда как на Новом мосту в XVI и XVII вв. шла оживленная торговля книгами, затем переместившаяся на набережные.

...от замка к Институту... – *Замок* – Лувр, *Институт* – совокупность пяти академий (осн. 1795).

С. 41. *...деятельного и изобретательного издателя...* – Речь идет о Ж.-Ж.Текне; он специализировался на продаже и переиздании редких книг и каталогов, в 1834 г. вместе с Нодье основал журнал "Бюллетен дю библиофиль", где, помимо перечня продающихся в его лавке книг, печатал статьи на самые разные книговедческие и библиографические темы.

...Птолемеи... сжег вовсе не Омар... – По преданию, арабский калиф Омар приказал сжечь в 641 г. богатейшую александрийскую библиотеку, собранную при династии Птолемеев; в настоящее время считается, что библиотека была уничтожена позже, при взятии города мусульманами в 868 г.

С. 42. *...библиотеки де Ту и Гролье...* – Об этих библиотеках еще не раз пойдет речь в статьях Нодье. Библиотека казначея Гролье, насчитывавшая более трех тысяч томов, известна роскошными переплетами; после смерти владельца она около ста лет пролежала в особняке его наследников в темноте и сырости, а в 1676 г. была продана с молотка. До нас дошло около пятисот книг из собрания Гролье. О богатстве этой библиотеки может свидетельствовать хотя бы тот факт, что в ней было не менее шести экземпляров такого шедевра полиграфического искусства, как альдовский "Сон Полифила" (см. о нем в наст. изд. в новелле "Франциск Колумна"). Библиотека историка Жака Огюста де Ту к моменту его смерти насчитывала тысячу рукописей и восемь тысяч книг в переплетах коричневой телячьей кожи с золотыми рамками или красного, зеленого либо лимонного сафьяна. Де Ту завещал не продавать и не разрознивать библиотеку, но уже в 1679 г. наследники его второго сына вынуждены были устроить распродажу; часть книг и рукописей отошла к Королевской библиотеке, а остальные приобрел, дабы сохранить целостность собрания, маркиз де Менар; после смерти Менара так же поступил кардинал де Субиз; борьба за сохранение библиотеки де Ту продолжалась до 1789 г., когда наследники кардинала решились распродать ее. Распродажа длилась 4 месяца (январь-май), причем в напряженную предреволюционную пору книги продавались

по смехотворно малой цене (в среднем по четыре с половиной франка за том).

Это доля британского льва. – Нодье обыгрывает одновременно и фразеологизм "львиная доля", и символику английского герба.

С. 44. *Князь де**** – Имеется в виду Франсуа-Виктор Массена, князь Эсслингский (? – 1847).

О коллекции *Солейна* см. наст. изд., т. 2. с. 100–101.

Корнель мелодрамы – Р.-Ш.-Г. де Пиксерикур, друг Нодье и знаменитый собиратель, "классик" мелодрамы – жанра, который Нодье высоко ценил.

Эльзевириометр – линейка из слоновой кости, на которую с одной стороны нанесены сантиметры и миллиметры, а с другой – дюймы и линии (см. примеч. к т. 2, с. 205). Полуфут равен 0,15 м , или 6 дюймам.

С. 45. *Вергилий 1676 г.* – В библиотеке Нодье не было Вергилия, ибо он сам желал иметь именно издание 1676 г. (Амстердам, 12°). В письме от 23 декабря 1830 г. к книгопродавцу Мерлену Нодье сообщает о своем страстном желании приобрести на ближайшем аукционе Вергилия 1676 г., "если, конечно, высота его достигает 6 дюймов и 8–9 линий при соответствующей ширине" (Bulletin du bibliophile, 1845. P. 72), и признается, что готов отдать за эту книгу 300 франков. Очевидно, книга ему не досталась или оказалась не так хороша, как он надеялся.

Аякс (греч. миф) – участник Троянской войны, потерявший разум по вине Афины Паллады; *Капаней* (греч. миф.) – царь Аргоса, сраженный молнией Зевса за надменность и нечестивость.

Гомер в издании Нерли вышел во Флоренции в 1488 г.; это было первое печатное издание легендарного древнегреческого поэта, подготовленное греческим грамматиком Деметрием Халкондилом. Распродажа библиотеки Л.Котта состоялась в 1804 г. См. также наст. изд., т. 2. с. 204.

С. 45–46. *"Треть линии!"* – Здесь и далее повторение некстати этих двух слов, возможно, является реминисценцией из мольеровского "Тартюфа" (д. I, явл. 5), где Оргон на все вопросы, жалобы и проч. отвечает так же невпопад: "А как Тартюф?"

С. 46. *"Трактат о происхождении и древности мира"...* – Точное название этой книги, изданной анонимно, – "Мир, его происхождение и древность" (1751); автором ее был, по-видимому, Ж.-Б.Мирабо (Mirabaud; не путать с деятелем Великой французской революции, графом Г.-О. де Мирабо – Mirabeau).

Ж.-Б.Лемакрье, по мнению А.А.Барбье, был автором предис-

ловия к этой книге. Сам Нодье, впрочем, полагал, что вся она написана философом А.Куром де Жебеленом (1725–1784).

С. 47. *Stromates* – пестрые ковры (лат.); первоначально – название труда раннехристианского философа Климента Александрийского (ок. 150– ок. 215).

Кто же в таком случае создал Америку? – Обыгрываются разные значения словосочетания parties du Monde – части трактата "Мир..." и "части света".

...знаменитый труд Сервета De Trinitate – М.Сервету принадлежат несколько сочинений о Троице; в них этот философ, убежденный пантеист, осмеивает христианские представления о Троице. В данном случае, по-видимому, имеется в виду труд Сервета "Восстановленное христианство" (см. примеч. к наст. изд., т. 1. с. 163) – книга столь редкая, что тот, кто не видел ее "своими глазами", может сомневаться в ее существовании. В "Восстановленном христианстве" Сервет также касается вопроса о Троице.

...на распродаже библиотеки господина Маккарти... – Распродажа этого книжного собрания, небольшого по объему, но исключительного по редкости и красоте входящих в него книг, состоялась в 1817 г.

...на распродаже собрания Лавальера... – Распродажа этой библиотеки состоялась в 1784 г.; большую часть книг приобрел герцог д'Артуа (будущий король Карл X) и они попали в библиотеку Арсенала, хранителем которой стал впоследствии Нодье.

"Родословие Иисуса" – апокрифическое и недоброжелательное изложение евангельской истории, известное со II в.; в новое время одна из его версий была опубликована И.К.Вагенсейлем в книге "Огненные стрелы Сатаны" (1681). Вольтер упоминает это сочинение в "Философском словаре" (статья "Мессия", 1764).

С. 48. *В богословии он разбирался хуже сенсимонистов.* – Сенсимонисты, проповедовавшие "обновленное" христианство, были в вопросах веры очень далеки от католической догмы.

С. 49. *...с остроконечными "а..."* – Флорентийское издание "Декамерона" 1527 г. отличается от переиздания 1729 г. удлиненной формой буквы "а".

"Свидетель" – страница, не обрезанная переплетчиком (см. наст. изд., т. 2, с. 205).

...обходятся без обеда! – Если верить заметке, помещенной в 1836 г. в "Бюллетен дю библиофиль", эту фразу произнес пе-

ред смертью в ответ на рассказ приятеля об упущенном "Декамероне" 1527 г. английский книгопродавец Пейн.

С. 50. *...пародируя Франклина...* – Эпитафия Франклина звучит так: "Здесь покоится отданное во власть червей тело Бенджамина Франклина, типографа; оно подобно старой книге с вырванными страницами, облетевшей позолотой и стершимся титулом. Но книге этой суждено вновь выйти в свет в новом, улучшенном издании, исправленном и дополненном автором".

Франциск Колумна

Впервые – отдельное издание в феврале 1844 г. у Ж.Ж.Текне. Первый рус. пер. – Пчела. 1876. № 33. С. 2–7. Рус. пер. В.Мильчиной впервые: Корабли мысли. М., 1986.

С. 51. *Лоурих* – эту фамилию носил итальянский литератор Джованни Лоурих (Ловрик), автор брошюры «Замечания на <...> "Путешествие по Далмации" аббата Фортиса» (Венеция, 1776), хорошо известной Нодье.

С. 52. *"Сон Полифила, или Битва любви во сне"* – книга, личность автора которой до сих пор остается загадкой. В начале XVIII в. полагали, что ее написал венецианский доминиканец фра Франческо Колонна (1433–1527); существует предположение, что автор ее – веронский собиратель древностей Феличе Феличеано, но все это лишь гипотезы. Неизвестно и имя художника; возможно, что гравюры выполнил Джованни Беллини, а 38 украшенных инициалов созданы, по-видимому, гравером Франческо Гриффо (см. о нем в примеч. к т. 2, с. 209). Подробнее см. в кн.: Лазурский В.В.Альд и альдины. М., 1977.

С. 58. *...о крайне причудливом языке...* – ср. характеристику этого языка в наст. изд., т. 2, с. 126–127.

Я берусь перечислить тебе начальные буквы... – В статье "Об ухищрениях, к которым прибегали некоторые авторы, дабы скрыть свое имя" (1835) Нодье рассказывает, что однажды он сам точно таким же образом потряс воображение некоего книгопродавца, назвав ему первые буквы всех глав "Сна Полифила", однако, в отличие от Лоуриха, ограничился моральным удовлетворением.

С. 59. *"Всемирная биография"* – "Древняя и новая всемирная биография", 52-томная энциклопедия, которую выпускал в 1810–1828 гг. Л.Г.Мишо; Нодье – автор некоторых статей в ней.

Аньяни – правильно Ананьи – город в Италии, где 3 сентября 1303 г. гибеллин (то есть сторонник власти императора, в отличие от гвельфов – сторонников власти пап) Шарра Ко-

лонна арестовал папу римского Бонифация VIII и, как гласит легенда, дал ему пощечину; папа не вынес оскорбления и месяц спустя скончался. Сведения Нодье о всех представителях рода Колонна, кроме Франческо, достоверны.

С. 61. *Гомериды* – аэды или рапсоды, исполнявшие поэмы Гомера и считавшие себя его потомками.

Пизани – знаменитый венецианский род.

С. 62. *Лидо* – полуостров в Венеции, отделяющий лагуну от моря.

С. 77. *...как переводит господин Женгене...* – Нодье ошибся; в "Истории итальянской литературы" Женгене (т. 8, 1819) название "Сна Полифила" переведено как "Битва любви во сне".

Вопросы литературной законности

С XVII в. во Франции было в ходу выражение "литературная республика". Однако от настоящего государства эта "метафорическая" республика отличалась почти полным отсутствием законности: законы, охраняющие авторские права, были приняты во Франции лишь в середине XIX в., а до этого автор, выпускавший в свет свое творение, был практически бесправен: если книга его пользовалась успехом, любой типограф и у него на родине, и в соседних странах мог немедленно ее перепечатать и заработать кучу денег (это были так называемые контрафакции – бич писателей и издателей); если книга попадала в руки к литературному противнику автора, тот мог переиздать ее в исковерканном виде, с издевательскими комментариями (так, например, поступил с историческим трудом Вольтера "Век Людовика XIV" его большой враг Ла Бомель). Сочиняя свою книгу, Нодье не ставил перед собой цель выработать подлинное "законодательство" для "литературной республики", он выступал лишь классификатором разнообразных случаев литературного воровства, но для того, чтобы лучше понять "Вопросы литературной законности", необходимо помнить о том состоянии книжного дела, которое явилось их питательной средой. Решает Нодье и две другие задачи: во-первых, напоминает читателям о многих забытых и малоизвестных авторах, чьи находки и открытия пригодились гениям изящной словесности; во-вторых, язвительно критикует литературную школу, в начале XIX в. еще весьма влиятельную, – школу, в которую входили приверженцы подражательного, выродившегося классицизма (так называемого "пост-классицизма"). Благодаря этому "Вопросы литературной законности" можно

рассматривать как одну из книг, подготовивших триумф романтизма в конце 1820-х годов.

Однако, о чем бы Нодье ни рассказывал – о литературных заимствованиях и подражаниях, о забытых авторах или о бездарных стилизаторах, он всегда пользуется случаем познакомить читателя с множеством редких и малоизвестных книг, с их сложной судьбой, – что, собственно, и делает "Вопросы литературной законности" книгой истинно библиофильской.

Первое издание вышло в 1812 г., второе – в 1828 г. Перевод выполнен по второму изданию.

С. 78. *...в доме друга, где я скрывался ...незаслуженных гонений...* – В 1810–1812 гг. Нодье жил в деревне Кентиньи (в горах Юра) в доме, принадлежащем родителям его жены; в эту пору он уже был совершенно свободен от преследований полиции (см. об этом эпизоде во вступ. статье, с. 7–8).

Сколь многое... исчезло с лица земли... – В 1815 г. наполеоновскую империю сменила вернувшаяся на престол монархия Бурбонов.

С. 79. *Недостатки литературной школы, бывшей в моде...* – Имеется в виду пост-классицистические поэзия и проза, подражательность и нежизнеспособность которых Нодье остро чувствовал.

...в голове моей поселилась навязчивая идея... – Навязчивым идеям, или "мономаниям" как одному из типов безумия в психиатрии 1820-х гг. придавали большое значение; Нодье, которого всегда привлекали фигуры чудаков и одержимых, испытывал к "мономаниям" большой интерес (см., в частности, статью 1837 г. "Пиранези").

...провел юные годы в тюрьме... – На самом деле Нодье провел в тюрьме Сен-Пелажи около месяца (в конце 1803 – начале 1804 г.), но вспоминал об этом всю жизнь (см. его очерк "Парижские тюрьмы в эпоху Консульства", впервые напечатанный в "Ревю де Пари" в мае-июле 1829 г.).

С. 80. *Ш.Г.Этьенн*, в защиту которого Нодье выступил на страницах "Вопросов литературной законности", в 1813 г. устроил Нодье в газету "Журналь де л'Ампир" (в будущем "Журналь де Деба"), которую возглавил в 1810 г. по приказу Наполеона.

...ту из них, что касается меня самого... – Нодье всю жизнь любил печататься анонимно или под псевдонимами. Знаменитый роман "Жан Сбогар" он выпустил в 1818 г. без имени автора, фантастическую повесть "Смарра" (1821) выдал за произведение знатного жителя Рагузы Максима Одена.

С. 82. *...Цицерону, вымаливающему у Цезаря прощение Лигария...* – В 46 г. до н.э. Цезарь приговорил Лигария, выступившего в гражданских войнах на стороне его противников, к смерти, но Цицерон произнес в защиту Лигария столь вдохновенную речь, что Цезарь Лигария простил. Нодье сравнивает с Лигарием, нуждающимся в защите, свою книгу.

...завещанием вроде Евдамидова... – В диалоге древнегреческого писателя Лукиана "О дружбе" рассказывается о некоем Евдамиде из Коринфа, бедняке, который дружил с двумя богачами; перед смертью он завещал одному из друзей содержать его мать, а другому – выдать замуж его дочь; если бы один из друзей тоже умер, "наследство" должно было бы целиком перейти к оставшемуся в живых. Так и случилось, и оставшийся в живых друг исполнил все наказы Евдамида.

С. 83. *...чтобы они в моем лице обрушивались на Сенеку...* – Монтень, Опыты, II, X.

С. 84. *...великий Корнель... слово в слово повторил... находку Кальдерона...* – "Ираклий" Корнеля был поставлен в самом конце 1646 или самом начале 1647 г.; в 1724 г. новая постановка трагедии послужила поводом к публикации в журнале "Меркюр" двух анонимных статей, где указывалось на поразительное сходство трагедий Корнеля и Кальдерона и плагиатором назывался Корнель; однако в предисловии к изданию "Сочинений" Корнеля в 1738 г. литератор Ф.А.Жолли, ссылаясь на знатока литературы иезуита Турнемина, оспорил эту точку зрения, настаивая на том, что пьеса Кальдерона была издана после 1647 г. Точная дата первой постановки пьесы Кальдерона "В этой жизни все правда, все ложь" неизвестна, опубликована же она была лишь в 1664 г., в третьем томе "Сочинений" Кальдерона, причем приложенное к этому тому письмо издателя к драматургу дает основания считать данную публикацию первой. Слова "прославленная комедия" традиционно характеризовали в Испании все знаменитые пьесы. Вольтер, переведший пьесу Кальдерона и включивший ее в свои "Комментарии к Корнелю" (1764), озаглавил свой перевод "Ираклий, прославленная комедия". Как и Нодье, Вольтер отводил от Кальдерона упрек в плагиате, хотя оба, вероятно, ошибались.

..."Сиде" ...следующем трагедии Гильена де Кастро... – Трагедия П.Корнеля "Сид" (1636) была написана по мотивам трагедии испанского драматурга Гильена де Кастро "Юность Сида" (1618). Трагедия другого испанского драматурга, Х.Б.Диаманте, "Тот, кто чтит своего отца", была написана позже, в 1658 г. и сама является подражанием "Сиду". Подражани-

ем Гильену и Диаманте корнелевский "Сид" назван в "Философском словаре" Вольтера, в статье "Преувеличение" (1771).

...пишет Скюдери... – Цитата взята из предисловия Ж. де Скюдери к его эпической поэме "Аларих" (1654); ее приводит Бейль в цитирующейся у Нодье ниже статье "Эфор", входящей в "Исторический и критический словарь" (1695–1697).

С. 86. *...переписал этот кусок из Сенеки...* – Из трактата Сенеки "О милосердии" (55 г., кн. I, гл. 9).

...у никому не ведомого Кассеня... – Две первые строки поэмы Вольтера "Генриада" (1723) заимствованы из поэмы Ж.Кассеня "Генрих Великий" (1661); это, равно как и некоторые другие заимствования Вольтера, упомянутые у Нодье, указано в «Суждениях о "Генриаде"», опубликованных в приложении к книге литературного противника Вольтера Л.А. де Ла Бомеля «Комментарий к "Генриаде"» (1775).

С. 87. *Оба эти автора... обвиняют Расина...* – О том, что строки из трагедии Расина "Гофолия" (д. II, явл. 7) заимствованы из трагедии П.Матье "Лига" (1589; точное название – "Гизиада"), Вольтер писал в статье "Драматическое искусство" (1770), входящей в состав его "Философского словаря"; А.Сабатье де Кастр повторил это мнение в книге "Три века литературы" (1772); об упреках в плагиате, который навлек на себя Сабатье, см. ниже, т. 1, с. 105. Что касается сходства стихов Расина и Нерея, о котором говорится в примечании Д, то оно, возможно, объясняется общим источником (146-й псалом).

...чьи имена довольно странно видеть рядом... – Сабатье де Кастр в начале своей карьеры пользовался покровительством "энциклопедистов", но вскоре перешел на сторону их противников; в 1771 г. он выпустил клеветнический памфлет под названием "Философический обзор мыслей господина де Вольтера".

О *"Всемирной биографии"* см. примеч. к наст. изд., т. 1, с. 59; статья "Пьер Матье" в т. 27 написана другом Нодье Ш.Вейссом, который во втором издании учел замечания, высказанные автором "Вопросов литературной законности".

"Дю Рийе сказал ...пишет Мармонтель... – Имеется в виду статья "Плагиат" из книги Мармонтеля "Основы литературы" (1787); здесь упоминаются трагедия Дю Рийе "Сцевола" (1646) и Вольтера "Эдип" (1718), трагедия Теофиля де Вьо "Пирам и Тисба" (1623) и трагедия-балет "Психея" (1671), написанная П.Корнелем в соавторстве с Мольером и Ф.Кино.

С. 88. *...из Энниевой навозной кучи...* – Хотя в художествен-

ном отношении эпическая поэма Энния "Анналы", посвященная истории Древнего Рима, была весьма несовершенна, Вергилий использовал некоторые строки своего предшественника в "Энеиде", назвав их "жемчужинами, извлеченными из Энниева навоза".

"Сатурналии" – сочинение Макробия, написанное в форме застольных бесед и содержащее сведения о древнеримских обычаях, мифах и языке.

"Проделки Скапена" Мольера поставлены в 1671 г., "Проученный педант" Сирано де Бержерака опубликован в 1654 г.; из этой комедии Мольер заимствовал знаменитую фразу: "Кой черт понес меня на эту галеру?" Об отношении Нодье к Сирано де Бержераку см. во вступ. статье, с. 22–23, и в т. 2, с. 139–141.

"Подсвечник" (1582) – комедия Д.Бруно, "Любовная досада" (1656), "Брак поневоле" (1664) и "Графиня д'Эскарбаньяс" (1671) – комедии Мольера; в последней из них в эпизоде с учителем Бобине (сцена VII) воспроизведена острота из "Подсвечника", касающаяся латинской грамматики Депотера (см. примеч. к т. 2, с. 168), где якобы говорится о грамматическом роде: "Все, что относится только к мужчине, да будет мужским"; у Д.Бруно эти слова произносит смешной педант профессор Манфурио.

"Игру любви и случая" (1730) *Мариво* и *"Взаимное испытание"* (1711) *М.А.Леграна* роднит мотив переодевания слуги и служанки в господское платье; в комедии Мариво введена также существенно новая линия – переодевание знатных молодых героев в платье слуг.

С. 89. *"Два зятя"* – стихотворная комедия Ш.Г.Этьенна, впервые поставленная 11 августа 1810 г. Сразу после премьеры критик Оффман обвинил Этьенна в том, что он списал свою комедию с пьесы А.Пирона "Неблагодарные сыновья" (1728); затем по Парижу поползли слухи, что источник "Двух зятьев" – хранящаяся в Императорской библиотеке "школьная" (то есть без женских ролей) комедия некоего реннского иезуита "Конакса, или Обманутые зятья" (1710). Дабы все убедились в лживости этих обвинений, Этьенн на свои деньги поставил "Конаксу", которая в самом деле имеет с его комедией некоторое сюжетное сходство, однако в художественном отношении гораздо слабее. В конце концов обвинение в плагиате с Этьенна было снято.

...посвятивший себя трудам иного рода... – С середины 1810-х гг. Этьенн полностью посвятил себя журналистике, а

в 1820-х гг. занялся политической деятельностью (был избран в Палату депутатов).

...ее окружают змеи... – Геракл (греч. миф.) был сыном Зевса и смертной женщины Алкмены; ревнивая супруга Зевса Гера подослала к колыбели Геракла двух чудовищных змей, но младенец задушил их.

Л.Капилупи с братьями и племянником складывал из стихов Вергилия центоны о монахах, о женщинах, о дурных болезнях; они были опубликованы в 1588 г. в Риме вместе с составленной из стихов Вергилия поэмой о Ветхом и Новом завете, написанной *Фальконией (Фальтонией) Проба* (первое изд. – в 1472 г. в Венеции). См.: Гаспаров М.Л., Рузина Е.Г. //Памятники книжного эпоса. М., 1978, с. 190–211.

Авсоний был автором "Свадебного центона", составленного из стихов и полустиший Вергилия.

С. 91. *По свидетельству Дювердье и Ламоннуа...* – Имеются в виду "Библиотека Антуана Дювердье, содержащая каталог всех авторов, писавших по-французски или переводивших на этот язык" (1585) и примечания Б.Ламоннуа, опубликованные в переиздании этой книги, вышедшем в 1772–1773 гг. ("Французские библиотеки Лакруа дю Мена и Дювердье, т. VI).

Жан де Корр выпустил в 1575 г. "Сочинения нравственные и прочие", списанные из "Антологии" (1574) Пьера Бреслау и некоторых других сочинений, в том числе из брошюры об одном нашумевшем судебном процессе, изданной в 1561 г. Жаном де Кора.

Бейль упоминает... Стригелия... – По словам Бейля, Стригелий, "кажется, выступал за общую собственность" и предлагал тем, кого обокрал: "если вам что-либо нравится в моих сочинениях, пользуйтесь этим смело; все написанное мною к вашим услугам" ("Исторический и критический словарь", статья "Стригелий").

...философа Хрисиппа... переписал целиком "Медею"... – См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, VII, 7; здесь же приведены слова Аполлодора Афинского о Хрисиппе: "Если бы из книг Хрисиппа изъять все, что он повыписал из других, у него остались бы одни пустые страницы!"

"Комментарии к латинскому языку" Э.Доле вышли в 1536–1538 гг. (т. 1–2); в плагиате из трактата Л.Баифа об античном мореплавании (1536) обвинял Доле Шарль Этьенн.

...современники хвалили Эпикура... – По словам Диогена Лаэртского (указ. соч., X, 26), книги Эпикура "составляют око-

ло 300 свитков. В них нет ни единой выписки со стороны, а всюду голос самого Эпикура".

С. 92. *Интиме* – персонаж комедии Расина "Сутяги" (1668), секретарь судьи; приведенная строка (д. I, явл. 5) – пародийная цитата из трагедии П.Корнеля "Сид"(д. I, явл. 1).

Флешье произнес речь над гробом *Тюренна* 10 января 1676 г.; в начале ее он ссылается на второканонические Книги Маккавеев из Ветхого Завета, где описывается народное восстание в Иудее против царя Сирии Антиоха IV Епифана под предводительством Иуды Маккавея.

С. 93. *Филипп де Коммин ... сходится с Тацитом...* – Слова Коммина из его "Мемуаров" (1489–1498; опубл. 1524) и близкие к ним мысли Тацита, Сенеки и Квинта Цицерона приведены в "Опытах" Монтеня (III, VIII).

С. 94. Дени *Ламбен* выпустил в 1566 г. четырехтомные "Сочинения" Цицерона; Ламбен отличался такой обстоятельностью и медлительностью, что имя его даже стало нарицательным: во французском языке есть глагол lambiner – "волынить"; *Д.М.Бруто* выпустил в 1570 г. приписывавшуюся Цицерону "Риторику для Геренния".

"Менажиана" – сборник высказываний ученого и поэта Жиля Менажа и анекдотов о нем, собранный после его смерти друзьями (1-е изд. – 1693, 2-е, дополн. – 1713–1716, т. 1–4).

С. 95. *Шевалье Д'Асейи* – один из поэтов, к которым Нодье питал живой интерес; в 1825 г. он издал миниатюрную (16°) книгу его сочинений, а в своих "Новых заметках об одной небольшой библиотеке" (1844) рассказал историю его сборника "Мелкие стихотворения" (1667): автор шутки ради поставил на титульном листе при указании имени книгопродавца вместо слов "продается" слова "отдается даром"; покупатели приняли это за чистую монету и книгопродавцу пришлось вырывать титульный лист из всего тиража.

...в классической пьесе Расина... – Нодье сопоставляет строки из трагедии "Британик" (1669, д. IV, явл. 2) со строками из 8-й песни поэмы "Генриада".

С. 96. *...с Ламоттом, который... переписал... Вольтера...* – Ошибка Нодье: приведенная строка взята из трагедии Вольтера "Меропа" (1743, д. I, явл. 3), которую Ламотт никак не мог переписать, поскольку скончался в 1731 г.

"Бланш и Гискар", трагедия *Б.Ж.Сорена*, была поставлена в 1763 г.; поэма *Ж.Делиля "Воображение"* вышла в 1806 г.

"Декламация", точнее, "Театральная декламация" (1766) –

поэма *К.Ж.Дора*, к творчеству которого Нодье относился скептически (ср. в наст. изд., т. 2, с. 192).

С. 97. *...неправы те, кто искал... источник великой поэмы Мильтона.* – Шотландский критик Вильгельм Лодер (ум. 1771) в книге "Разоблачение великого обманщика" (1754) вставил пассажи из поэмы Мильтона "Потерянный рай" (1667) в поэму Масения "Плоть" (о грехопадении) и некоторые другие произведения, а затем обвинил Мильтона в плагиате, но вскоре был разоблачен. Что же касается драмы Д.Андреини "Адам" (1613), представляющей собой переработку латиноязычной трагедии голландского писателя Гуго Гроция "Адам-изгнанник" (1601), то известно, что Мильтон видел ее во время путешествия по Италии (1638–1639).

...уже Соломон знал... – Нодье очень любил и часто повторял мысль, высказанную в ветхозаветной книге Екклесиаст (I, 9–10), автором которой считается царь Соломон: "нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "Смотри, вот это новое", но это было уже в веках, бывших прежде нас".

С. 98. "Шотландские вожди" *Д.Портер* вышли в 1809 г., "Семейство Пополи" М.Гамильтон впервые опубликовано во французском переводе Нодье в 1810 г.

...выдать самое неуклюжее... детище нашего... языка... за источник "Генриады"?... – В 1770 г. враги Вольтера переиздали очень слабую поэму С.Гарнье (ок. 1545–1607) того же названия (1593), пытаясь выдать ее за источник эпопеи Вольтера.

"Сравнительные жизнеописания" *Плутарха* в переводе *Амио* вышли в 1559 г.

С. 99. *Ж.Момон* перевел "Сочинения Святого Юстина, философа и мученика" (1538) с греческого, а не с латыни, как полагал Нодье.

...перелагателю Лонга и Гелиодора... – Роман Лонга "Дафнис и Хлоя" в переводе Амио вышел в 1559 г., роман Гелиодора "Теаген и Хариклея, или Эфиопика" – в 1547 г. (2-е, исправл. изд. – 1559). Эти античные романы послужили образцом для пасторальных и авантюрно-галантных романов Нового времени.

Пьер Белон выпустил "Естественную историю диковинных морских рыб" в 1551 г., "Естественную историю птиц" и книгу "О природе и разнообразии рыб" – в 1555 г.; в 1546–1549 г. совершил путешествие по Греции, Малой Азии, Египту; степень доктора медицины получил в 1540 г.

С. 100. "Исторические и литературные курьезы" *Ж.Лирона* вышли в 1734–1740 гг. (т. 1–4), "Записки о прославленных деятелях литературной республики" *Ж.П.Нисерона* – в 1727–

1745 (т. 1–43), "Занимательная, историческая и критическая библиотека, или Толковый словарь редких книг" *Д.Клемана* – в 1750–1760 гг. (т. 1–9).

Томасий... Обер Ле Мир... – Нодье перечисляет эрудитов-библиографов, писавших о плагиате.

"История моего времени" *Ж.О. де Ту* выходила в 1604–1620 гг.

"Трактат о рыбах" Г.Ронделе опубликован в Лионе в 1554 г.

"Христианская Галлия" (1715–1865, т. I–XVI) – история городов и селений Франции со времен распространения здесь христианства до новейших времен.

С. 101. *...о злополучной тяжбе Академии с Фюретьером...* – Французская Академия была основана в 1635 г., прежде всего для создания словаря французского языка; А.Фюретьер, член Академии с 1662 г., взялся составить одновременно с академиками свой словарь, но академики увидели в этом посягательство на свою монополию (в 1674 г. был издан указ, запрещающий публикацию любого словаря французского языка, кроме академического). Кроме того, Фюретьера, имевшего доступ к гранкам большей части словаря, готовой к 1672 г., заподозрили в плагиате. О полемике по этому поводу см. в наст. изд., т. 2, с. 116–121. Словарь Фюретьера был опубликован посмертно, в 1690 г., первое издание словаря Академии – в 1694 г.

...доверила сочинение словаря одному из самых образованных... литераторов нашего времени... – Шестое издание словаря Академии (1835) было доведено до конца Ф.К.Ж.Дрозом, моралистом и историком, у которого Нодье учился в 1796 г. в Безанонской Центральной школе.

С. 102. *...созданием бессмертным...* – намек на название Французской Академии – "сорок бессмертных".

...расширенный в 1701 году Банажем... – А.Банаж не только расширил словарь Фюретьера, но одновременно "очистил" его от многих слов, которые счел неприличными.

"Тревуский словарь" издавался в городе Треву, где ранее заседала Академия иезуитов; 1-е изд. – 1704 (т. 1–3), 5-е изд. – 1771 (т. 1–8).

Ф.Ж.М.Рейнуар выпустил в 1836–1844 гг. шеститомную "Романскую лексику, или Словарь языка трубадуров в сравнении с другими языками латинской Европы".

С. 105. *...легкомысленные предположения "Духа журналов"...* – На страницах "Духа журналов" в январе 1779 г. (дата 1759 – ошибка или опечатка в книге Нодье; "Дух журналов"

начал выходить только с 1772 г.) аббат Мерсье де Сен-Леже высказал предположение, что книгу А.Бандури "Восточная империя" (1711) написал в действительности коллега Бандури по Академии надписей Л.-Ф.-Ж. де Ла Барр. Предположение это считал рискованным и бездоказательным не только Нодье, но и Ж.-Ш.Брюне.

"Нравы" энциклопедиста *Ф.Туссена* вышли в 1748 г.; книга была приговорена к сожжению, поскольку в ней проповедовалась естественная мораль, независимая от религии.

"Энциклопедия" Э.Чеймберса, вышедшая в 1728 г. (т. 1–2), – первый английский энциклопедический словарь.

"Методическая энциклопедия" *Панкука и Агасса* (1782–1832, т. 1–201, в том числе 47 томов иллюстраций) представляет собой материалы Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера, перегруппированные в отдельные словари по 48 наукам.

С. 106. *Л.Морери* в 1674 г. выпустил "Большой исторический словарь", который изобиловал грубыми ошибками и содержал, по словам Вольтера, много сведений, но мало суждений.

Что же касается Скапулы... – И.Скапула, работая в типографии А.Этьенна, вычитывал гранки его "Сокровищницы греческого языка" (1572) и, сделав оттуда обширные выписки, выдал их за собственное сочинение. Его "Греко-латинский лексикон" (1579) был меньше и дешевле книги Этьенна, и потому лучше продавался; все протесты Этьенна были напрасны.

С. 107. *...Рабле... забавных сцен в комедиях Расина...* – Расин опирался на некоторые эпизоды "Гаргантюа и Пантагрюэля" в комедии "Сутяги" (см. подробнее: Расин. Сочинения. М., 1984, т. 1, с. 419–421).

"Кум Матье, или Превратности человеческого ума" (1766) – роман А.Ж.Дюлорана (1719–1793), известный проповедью безбожия и обилием вольных сцен.

...Маро, чей стиль создал новый род литературы... – Для стиля К.Маро характерны, по словам известного критика Лагарпа, "веселая, приятная, простая и естественная манера", а также смесь современных слов с архаизмами; традиции Маро, которые развивали в эпиграммах Расин и Ж.-Б.Руссо, а в стихотворных сказках-новеллах Лафонтен, были так заметны, что во французский язык даже вошли слова "маротический", "маротизм" и "маротизировать". Нодье ценил Маро очень высоко: он говорил, что готов отдать все стихи XVII века за одну его эпиграмму.

Л.Леруа именовал себя *Регюсом*, переводя свою фамилию на латынь (по-французски le roi – король). Его книга, вышед-

шая в 1575 г., называлась "О превратностях, или о разнообразии вещей в мире <..> А также о том, правильно ли поступают те, кои только и делают, что повторяют сказанное до них, и о том, что подобает нам собственными нашими открытиями дополнять учения древних, не ограничиваясь переводами, толкованиями, исправлениями их трудов и выжимками из оных"; трактат *Ф.Бэкона* "О достоинстве и приумножении наук" вышел в 1623 г., книга Э.Брервуда вышла в 1614 г.

П.Шаррон в 1601 г. выпустил "Книгу мудрости"; *бордосский богослов* – Монтень, который служил в Бордо и жил неподалеку в своем поместье; называя Монтеня, скептика и эпикурейца, богословом, Нодье, очевидно, иронизирует.

С. 109. *...по словам знаменитого писателя наших дней...* – Нодье имеет в виду мысль, высказанную Ф.Р. де Шатобрианом в трактате "Гений христианства" (1802; ч. 3, кн. 2, гл. 6).

...более пристали богу, нежели человеку... – Близкая мысль встречается в "Параллели между Боссюэ и Паскалем" французского моралиста маркиза де Вовенарга (1715–1747).

Тимей Локрский – персонаж диалога Платона "Тимей"; см. также примеч. к т. 1, с. 224.

...в особенности Монтеню... – Паскаль сам ощущал свою зависимость от Монтеня, однако толковал ее так: "Во мне, а не в писаниях Монтеня содержится все, что я в них вычитываю" («Мысли» № 64, по классификации Бруншвига).

С. 110. *Афтоний* был автором сборника "прогимнасм" – подготовительных упражнений ритора, в число которых входили басни, сентенции и т.д.; *Публий Сир* сочинял мимы (короткие сценки); извлеченные из них афоризмы издавались вместе с сочинениями Сенеки и Федра; *Эразм* Роттердамский был автором сборника изречений и поговорок, извлеченных из античных писателей, – впервые эти "Пословицы" вышли в 1500 г., а пополнял их Эразм всю свою жизнь.

"Путешествия Кира", воспитательный роман *А.-М. де Рамсея*, вышел в 1727 г. (т. 1–2); Рамсей был другом и учеником Фенелона; о романе Фенелона "Приключения Телемака" (1699) см. подробнее в примечаниях к т. 2, с. 61–67.

С. 111. *"История Карла XII"* Вольтера вышла в 1731 г., *"История Германии"* Ж.Барра – в 1748 г.

Г.Мабли, вслед за Руссо, исходил из теории общественного договора и естественного права, а также настаивал на уменьшении имущественного неравенства за счет ограничения людских потребностей, переходя к проповеди аскетического коммунизма. Руссо в "Исповеди" (кн. 12) назвал книгу Мабли "Беседы

Фокиона об отношении морали к политике" (1763) бесстыдной компиляцией из своих сочинений.

"Философская и политическая история европейских учреждений в обеих Индиях" *аббата Рейналя* вышла впервые в 1770 г. (т. 1–4). Об участии Дидро в работе над этой книгой сохранились свидетельства литераторов М.Гримма и Ж.-Ф.Лагарпа; у дочери Дидро хранился даже, по преданию, экземпляр, где были отмечены все написанные им фрагменты; помогали Рейналю и другие энциклопедисты, а во второе издание книги (1780, т. 1–5) он просто включал целые страницы чужих сочинений, не указывая, что это цитаты.

С. 112. *...книги Крения... Салье...* – Нодье перечисляет написанные в новое время на латыни труды о плагиате.

Все высказав, наскучишь непременно. – Вольтер. Рассуждения в стихах о человеке, IV (Послание об умеренности).

...Питу опубликовал сборник Федра... – Рукопись басен Федра была неизвестна европейцам до конца XVI в., когда Франсуа Питу обнаружил ее, а его брат Пьер Питу опубликовал (1596).

Г.Фаэрно написал по просьбе папы римского Пия IV, своего покровителя, сотню басен на латыни по мотивам эзоповских, и опубликовал их в 1564 г. в Риме; в том, что он обладал рукописью Федра и уничтожил ее, его обвинял Ж.О. де Ту.

С. 113. *Пьетро Алционио* (или *Алциониус*), некоторое время работавший корректором в типографии Альда Мануция Старшего, написал и издал в 1522 г. диалог "Об изгнании", до того блистательный по форме, что Павел Мануций заподозрил автора в присвоении неизвестной рукописи Цицерона. В XVIII в. итальянский ученый Д.Тирабоски доказал ложность этих обвинений.

О "Библиотеке" А.Дювердье см. выше, примеч. к с. 91.

...сей новоявленный Диомед... – Аргосский царь Диомед вместе с Одиссеем похитил из Трои палладий Афины (греч. миф.).

С. 114. В.Белленден издал в 1608 г. книгу "Cicero princeps", составленную из фрагментов сочинений Цицерона, посвященных управлению государством и обязанностям правителя. Н.Л.Томеус был автором написанных в духе Цицерона "Диалогов" (1524).

О *Нострадамусе* и его предсказаниях см. примеч. к т. 2, с. 40; книга *Ж. де Нострадамуса* "Жизнеописания знаменитейших и древнейших провансальских поэтов" вышла в 1575 г.; процитированная Нодье история рассказана на стр. 165–166. *"Каталог библиотеки одного любителя книг,* с библиографическими примечаниями" *А.-О.Ренуара* вышел в 1819 г.

Книгу Э.Ландье, впервые вышедшую в 1813 г. у Фирмена Дидо, Ренуар выпустил в 1814 г.; он считал, что она принадлежит перу Д'Агессо, поскольку нашел в ней дословные совпадения с сочинениями этого автора.

С. 116–117. Клодина *Кольте,* жена поэта Гийома *Кольте,* при жизни мужа блистала остроумием, а лишившись его помощи, стразу утратила весь свой ум; Нодье цитирует написанное на эту тему стихотворение Лафонтена "На госпожу Кольте, которая сочиняла стихи при жизни мужа и перестала сочинять после его смерти".

"Единственный наследник" (1708) – комедия Ж.Ф.Реньяра; здесь, в д. III, явл. 6, слуга Криспен изображает безутешную вдову, которая родила "посмертного ребенка" через два года после смерти мужа.

С. 117. *Жан Эно,* поэт, прославившийся из-за вызывающей тематики сонета "Недоносок", учил будущую поэтессу *госпожу Дезульер* стихосложению; стихотворение *А.Кутеля* "Тоска" имеет много общего с "Овечками" госпожи Дезульер, однако кто из сочинителей списывал у другого, определить трудно: сочинения Дезульер впервые были изданы в 1687 г., а книга Кутеля "Прогулки" – около 1661 г. в Блуа, однако по уровню "Тоска" настолько выше всех остальных стихов в сборнике, что напрашивается вывод о плагиате (Кутель мог читать "Овечек" в списках); впрочем, и госпожа Дезульер могла воспользоваться текстом изданного в провинции сборника. Впервые на сходство двух стихотворений обратил внимание в 1735 г. журнал "Меркюр сюисс" ("Швейцарский Меркурий").

"Так-то ваше – не вам..." – строки из стихотворения, которое, по преданию, написал Вергилий, когда некий посредственный поэт выдал себя за автора Вергилиева двустишия, посвященного императору Августу: "Я сочинил стихи, а слава досталась другому. Так-то ваше – не вам, птицы, строители гнезд..." (перевод М.Гаспарова).

...Теренций не писал комедий... – Римский историк Светоний (ок. 69 – ок. 140 н.э.) в жизнеописании Теренция высказал предположение, что Теренцию помогали писать его знатные друзья и покровители Сципион и Лелий; намек на это Светоний видит в прологе к комедии "Братья" (см.: Теренций. Комедии. М., 1985, с. 500).

С. 118. *Ж.Сегре* был другом *госпожи де Лафайет* и, по-видимому, помогал ей в литературной работе; под его именем вышло первое издание знаменитого романа "Принцесса Клевская" (1678).

Гелиодор ради литературы поступился саном епископа... – Достоверных сведений о жизни Гелиодора нет; по преданию, сохранившемуся в историческом труде Никифора Каллиста (XIV в.), синод города в Фессалии, где Гелиодор был епископом, счел роман "Теаген и Хариклея" развращающим читателей и предложил автору либо сжечь книгу, либо отказаться от священнослужительства; Гелиодор выбрал второе (этот эпизод биографии Гелиодора Нодье, вероятно, почерпнул из Монтеня – Опыты, II, VIII).

Ж.Мере был одним из зачинателей французской классицистической драматургии, автором первой "правильной" трагедии "Софонисба" (пост. 1629, изд. 1635); друг Теофиля де Вьо, он издал его посмертный сборник "Новые сочинения" (1642).

С. 119. *Кончетти* (от итал. concetti) – вычурные, утонченные и неожиданные метафоры или аналогии.

"Катилина", трагедия *П.Ж. де Кребийона* была поставлена в 1748 г., после двадцатидвухлетнего молчания драматурга; она имела успех у зрителей, но, будучи напечатана, вызвала нарекания критиков. Это не последняя трагедия Кребийона, за ней в 1754 г. последовал "Триумвират".

Ф.К.Данкур, в отличие от Мольера, изображал в своих комедиях не вечные человеческие характеры-типы, а причуды, моды и пороки своих современников, подданных Людовика XIV.

С. 120. *Талия* – муза комедии (греч. миф.).

О.Д.Брюэйс в ответ на пожелание Людовика XIV посмотреть комедию, не похожую на все прочие, сочинил в подражание анонимному фарсу XV в. комедию "Адвокат Патлен" (1706).

Бюффон в *"Истории птиц"*, вошедшей в состав его *"Естественной истории"* (1749–1789, т. 1–36) не только благодарит Гено де Монбельяра за помощь, но даже приписывает ему куски, которые Гено набрасывал, оставляя их обработку Бюффону.

С. 121. *...вспомним хотя бы Микеланджело...* – Эта история о статуе "Уснувший Амур", крайне популярная во Франции в период так называемого "Спора Древних и Новых" конца XVII в., восходит к "Жизнеописаниям наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих".Д.Вазари.

Вольтер рассказывал... – Этот эпизод Нодье скорее всего почерпнул из "Основ литературы" Мармонтеля (глава "Стилизация"). Удар де Ламотт ратовал за наглядность и однозначность басен, а Лафонтена критиковал за несоответствие содержания его басен их морали.

С. 121–122. *...уподобляться отцу Ардуэну...* – Свою парадоксальную идею, изложенную у Нодье, отец Ардуэн высказал

в книге "Хронология, объясненная с помощью медалей" (1693).

С. 122. *Сиф* – в ветхозаветной традиции третий сын Адама и Евы, от которого происходят все народы; согласно "Иудейским древностям" Иосифа Флавия, Сиф и его дети запечатлели на двух стеллах свои астрономические познания; *Енох* в религиозно-мифологических представлениях иудаизма и христианства – либо старший сын Каина, либо потомок Адама в седьмом колене, прадед Ноя; ему посвящены несколько произведений иудейской литературы, предшествовавшей раннему христианству и современной ему, в том числе Книга Еноха, дошедшая до нас в эфиопском переводе, и Книга Еноха праведного, дошедшая в славянском переводе.

"Книга творения" (VI в.), знаменитая почти так же, как Библия, – своего рода руководство по творению чудес с помощью определенных комбинаций мистических букв, соответствующих всем явлениям природы; ее приписывали Аврааму, слывшему астрономом и астрологом.

Гор (егип. миф.) – божество, воплощенное в соколе; с именем *Орфея,* певца и музыканта, наделенного магической силой, связана целая система религиозно-философских взглядов (орфизм), сформировавшаяся в VI в. до н.э. в Аттике; *Дафна* (греч. миф.) – нимфа, которую боги, чтобы спасти от преследований Аполлона, превратили в лавр; в одном из "гомеровских гимнов" говорится о прорицаниях, раздававшихся из лаврового дерева; *Лин* (греч. миф.) – сын музы Урании, знаменитый музыкант и певец, соперник Аполлона, убитый им; *Паламед* (греч. миф.) – сын царя Эвбеи Навплия; ему приписывается изобретение (или упорядочивание) алфавита, введение чисел, мер длины и веса, счета времени по годам, месяцам и дням и другие изобретения; *Зороастр* (древнегреческая форма имени иранского пророка Заратуштры) – основатель религии зороастризма; *Нума* Помпилий – легендарный римский царь-законодатель; по преданию, провел много лет в пещере, где его посещала дававшая ему мудрые советы нимфа Эгерия.

...просил жрецов принять его сочинения под охрану... – См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Нума, XXII.

Сивиллы (греч. миф.) – пророчицы; предсказания сивиллы из Кум, записанные на пальмовых листах, составили сивиллины книги; они считались тайными и хранились особой жреческой коллегией в храме Юпитера Капитолийского; Нодье сравнивает их с трудами первых христиан, также исполненными пророческого духа.

С. 123. *Варий* – друг Горация и Вергилия (последний, умирая, поручил ему привести в порядок и опубликовать "Энеиду"); из стихов Вария до нас дошло всего 15 строк, хотя он был известным трагическим и эпическим поэтом (его трагедию "Фиест" высоко оценил знаменитый теоретик ораторского искусства Квинтилиан). *Акций* и *Пакувий* – известные в свое время трагические поэты; из наследия первого сохранились заглавия и отрывки 43 драм; из творчества второго – 13 заглавий.

Варрон – римский ученый энциклопедического характера, автор 74 трактатов в 620 книгах, посвященных различным наукам – от филологии до сельского хозяйства; до нас дошли лишь фрагменты его трудов.

Тит Ливий – автор "Истории от основания Рима", состоявшей из 142 книг; до нас дошли полностью лишь 35 книг: первая, третья, четвертая и половина пятой "декад".

...несмотря на все старания его тезки-императора... – Римский император Тацит считал себя потомком великого историка и будто бы принимал меры к распространению его произведений, которые были в Древнем Риме малопопулярны (см.: Вописк. Тацит, 10; Монтень. Опыты, II, XIX), однако от "Истории" Тацита до нас дошли только четыре первые книги и фрагмент пятой, а от "Анналов" – I–IV и XII–XV книги целиком, V, VI, XI и XVI – с пропусками и в отрывках.

С. 124. *...исторический труд Катона-цензора...* – "Начала", древнейшее сочинение по истории Италии и Рима на латинском языке (см.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания, Марк Катон, XX). Цензором в Риме называлось должностное лицо, оценивавшее имущество граждан для деления на податные разряды и следившее за политической благонадежностью.

"О добродетели" Брута... – Сходные сожаления об утрате этого трактата, с которым полемизировал Цицерон в "Тускуланских беседах" (кн. V) и в сочинении "О высшем благе и высшем зле", высказывает Монтень в "Опытах" (II, X).

К.Миддлтон выпустил в 1741 г. "Жизнь Цицерона", *Д.Танстилл* в том же году откликнулся на нее "Письмом к ученому мужу Конису Миддлтону", а в 1743 г. издал "Переписку Цицерона с Брутом", к которой приложил рассуждение о ее подлинности. До нас дошли две книги цицероновых "Писем к Бруту", вместе с которыми принято публиковать и сохранившиеся письма Брута.

...письме Брута и Кассия к Марку Антонию... – от конца мая 44 г. до н.э.; Брут и Кассий отождествляют здесь собственную гибель с крушением всего дела республиканцев.

...Брут упрекает Цицерона... милосердие юного Октавиана... – в письме от сер. мая 43 г. до н.э.; Октавиан Август, внучатый племянник Цезаря, после убийства этого последнего выступил против республиканской оппозиции, возглавлявшейся Брутом и Кассием; Брут называет обращение Цицерона к Октавиану "просьбами раба к царю".

С. 125. *...послания Фемистокла, Фалариса и Аполлония Тианского...* – Поддельность писем Фемистокла, изданных в 1626 г. в Риме, доказал упоминаемый ниже английский филолог Р.Бентли; апокрифом считаются и 146 писем, сохранившихся под именем агригентского тирана Фалариса; "Письма" Аполлония Тианского собрал автор его жизнеописания, греческий литератор, живший в Риме Флавий Филострат (ок. 170– между 244 и 249); о степени их подлинности см.: Рабинович Е.Г. // Филострат Флавий. Жизнь Аполлония Тианского. М., 1985. С. 305.

..."Басни" Эзопа, сочиненные монахом Планудом... – Неизвестно, был ли Эзоп историческим лицом; первый сборник эзоповых басен, о котором мы знаем из упоминаний, был составлен на рубеже IV и III вв. до н.э.; дошедшие до нас позднейшие записи существуют в трех редакциях; византийский ученый Плануд, автор жизнеописания Эзопа (фр. перевод Лафонтена, 1668), имел дело с редакцией, созданной в IX или XIV в. См.: Гаспаров М.Л. Античная классическая басня. М., 1971, с. 17–22.

Р.Бентли выпустил в 1697 г. "Рассуждение о посланиях Фемистокла, Сократа, Еврипида, Фалариса и о баснях Эзопа", где доказывал апокрифичность всех названных сочинений.

"О забавных беседах" – сочинение *Ф.Вавассера* (1658).

...все вольные шутки отпускает Роклор... – Маркиз, затем герцог де Роклор по прозвищу "самый некрасивый человек во Франции" слыл великим остроумцем; сборник приписываемых ему острот был опубликован в 1717 г. в Кельне под названием "Забавные похождения герцога де Роклора".

С. 126. *...списки эзоповых басен так редки...* – На самом деле до нас дошло свыше ста рукописей, но все они сравнительно поздние.

...лишь обрывки Пифагоровых сочинений... – О сочинениях Пифагора и о тех, что ему приписываются см.: Диоген Лаэртский. Указ. соч., кн. VIII, 6–8.

Мазуччо Салернитанец издал книгу "Новеллино" в 1476 г.

"Рассказы о проходимцах" (1555) – сборник новелл неизвестного автора; 19 новелл из 54 заимствованы из Мазуччо.

С. 127. *"Новые забавы и веселые разговоры"* были изданы

уже после смерти *Б.Деперье,* в 1558 г. Во втором, дополненном изд. (1568) 37 или 39 последних новелл наверняка не принадлежат Деперье; их-то, вероятно, и сочинили *Пеллетье* и *Денизо.* Деперье был одним из любимых авторов Нодье; ему посвящена статья 1831 г. (опубл. в "Ревю де Пари"), перепечатанная в 1843 г. как предисловие к изданию "Новых забав".

"Речи не слишком меланхолические..." (1557) – вышедший анонимно сборник новелл; в 1843 г. Нодье приписал их Деперье; современные французские филологи считают авторами "Речей" Жака Пеллетье и Эли Вине.

"Приятные дни" Г.Шапюи вышли в 1584 г.; Шапюи подражал не столько "Декамерону" Боккаччо, сколько ориентированному на него сборнику Д.Страпаролы "Приятные ночи" (1550–1553).

Гасьену де Куртилю де Сандра принадлежат многочисленные мемуары, написанные якобы от лица исторических лиц, в том числе "Записки господина д'Артаньяна" (1700, т. 1–3), послужившие источником романа А.Дюма "Три мушкетера".

С. 128. *...своими подлыми и грязными выдумками...* – Вергилию приписывали так называемые "приапеи" – небольшие стихотворения непристойного содержания, посвященные богу сладострастия Приапу.

Ж.Б.Мирабо (см. о нем т. 1, с. 46 и примеч.) иногда приписывали атеистическую и материалистическую "Систему природы" Гольбаха (1770).

...Буланже... принадлежит перу Дамилавиля... – После смерти Н.А.Буланже барон Гольбах издал под его именем книгу "Разоблаченное христианство" (1761); современные библиографы полагают, что издатель не только выпустил в свет, но и сочинил эту книгу, однако в XVIII в., основываясь на свидетельствах Вольтера и Лагарпа, ее автором считали Дамилавиля, вольнодумца, находившегося в приятельских отношениях со многими энциклопедистами.

С. 129. *...некий рифмоплет осчастливил Англию...* – Имеется в виду *У.Г.Айрленд,* который подделывал документы, связанные с Шекспиром, и написал псевдошекспировскую трагедию "Вортигерн и Ровена" (1796). См. о нем: Уайтхед Д. Серьезные забавы. М., 1986. С. 51–75.

С.Депрео де Ла Кондамин опубликовал апокрифические басни Лафонтена в книге "Продолжение посмертных публикаций Лафонтена" (1799).

...поэта более популярного, чем Грессе... – Нодье посвятил Грессе вступительную заметку к его "Сочинениям" (1839),

где, среди прочего, сказано о стихах Грессе, что "их можно не переиздавать, ибо строки их навсегда врезаются в память".

"Великодушный крестный" – поэма в 10 песнях, которую отыскал в Амьене и опубликовал в 1810 г. с помощью Нодье его старший друг и учитель Г.Крофт.

С. 130. *Т.Чаттертон* выдавал свои архаизированные стихи за сочинения монаха XV в. Т.Раули; при его жизни из "стихов Раули" была напечатана лишь одна эклога; трактат "Подъем живописи в Италии", также написанный от лица Раули, Чаттертон послал видному литератору Х.Уолполу, но тот разоблачил подделку. Английский филолог Герберт Крофт стал одним из первых, кто обратился к образу Чаттертона – он использовал в романе "Любовь и безумие" (1780) его неопубликованные письма к родным. В 1809–1810 гг. Нодье был секретарем Крофта, который, надолго покинув Англию, жил в Амьене. Под именем сэра Роберта Гроу он вывел Крофта в повести "Амелия" (1832).

Ж.Б.Ф.Гренвиль выпустил в 1805 г. поэму в прозе "Последний человек", где показал, как непрестанные технические усовершенствования приводят к катаклизму, губящему человечество. Поэма продавалась плохо, и Гренвиль в припадке отчаяния покончил с собой; вскоре в Амьен, где он жил, прибыл Крофт, который прочел поэму и пришел от нее в восхищение; своими чувствами он заразил и Нодье, который в 1811 г. переиздал "Последнего человека" со своим предисловием.

С. 131. *Д.Макферсон* в 1760 г. выпустил в свет "Отрывки старинных стихотворений", которые выдал за подлинные песни легендарного кельтского воина и барона III в. Оссиана. О спорах по поводу их подлинности см.: Макферсон Д. Поэмы Оссиана. Л., 1973, с. 475–492.

...и только благодаря Писистрату... – В VI в. до н.э. афинский тиран Писистрат или его сын Гиппарх назначил специальную комиссию для записи текстов "Илиады" и "Одиссеи", которые до этого передавались устно; сомнения в едином авторстве поэм ("гомеровский вопрос") возникли в конце XVII в.; идея, что обе поэмы являются "творением народного гения", была научно обоснована немецким филологом Ф.А.Вольфом в "Пролегоменах к Гомеру" (1795).

Горация возмущает... – "Но рассержусь, когда задремать случится Гомеру – Хоть и не грех ненадолго соснуть в столь длинной поэме" (Гораций. Наука поэзии, 359–360; перевод М.Л.Гаспарова). Гораций упрекает Гомера за то, что тот иногда пишет скучно и вяло.

...третью и четвертую книги элегий Тибулла... – Под именем Тибулла до нас дошли четыре книги элегий: две, написанные Тибуллом, и две, в которые наряду со стихами Тибулла входят элегии некоего Лигдама, поэтессы Сульпиции и др.

...Оссиан приобрел... пылких поклонников... – К их числу относился в юности и сам Нодье, выпустивший в 1804 г. "Опыты юного барда", куда вошла "Похоронная песнь над могилой скандинавского воина", навеянная Оссианом.

С. 132. *...расстрелян в Ла Флеши...* – В Ла Флеши находилась военная школа; Сюрвиль был расстрелян за то, что тайно вернулся во Францию, которую покинул во время революции, для подготовки роялистского мятежа на юге страны. Рукопись "Стихотворений" Клотильды де Сюрвиль получил от его вдовы и в 1803 г. опубликовал Шарль де Вандербург.

С. 133. *...избегает зияний...* – Зияние, то есть стечение двух гласных на стыке слов, стало решительно недопустимо во французской поэзии лишь после Малерба.

"Пестрые страницы" (1582) – книга Э.Табуро, посвященная акростихам, ребусам и другим причудливым стихотворным формам.

...на сюжет, придуманный Вольтером... – на сюжет стихотворной сказки Вольтера "Три способа" (1764).

...романс Беркена... – "Жалобы женщины, покинутой любовником" (1787; пер. В.А.Жуковского под назв. "Песня матери над колыбелью сына").

"Послание к Беранже" обращено Клотильдой к мужу, Беранже де Сюрвилю, скитающемуся на чужбине; в этом легко усмотреть намек на судьбу эмигрантов времен Французской революции, среди которых был сам Ж.Э. де Сюрвиль.

С. 134. *...начала сочинять в семнадцать лет...* – По предисловию Ш. де Вандебурга, Клотильда родилась около 1405 г.

С. 136. *"Опыт о переворотах..." П.Г. де Ружу* вышел в 1811 г.

"Неизданные стихотворения" Клотильды де Сюрвиль опубликовали в 1826 г. Ружу и Нодье (ср. наст. изд. т. 2, с. 59–61).

С. 137. *...встречаются и у Иосифа Флавия, и даже у Тацита...* – Имеются в виду знаменитые упоминания об Иисусе Христе в "Иудейских древностях" Иосифа Флавия (кн. XVIII, гл. V) и в "Анналах" Тацита (XV, 44). Впрочем, далеко не все историки считают эти отрывки позднейшими вставками.

С. 138. *И.Фрейншемиус* – автор "Дополнений" к Квинту Курцию и Титу Ливию, где очень точно имитирован стиль этих римских историков и восполнены лакуны в содержании их историй.

М.Веджо выпустил в 1507 г. дополнение к "Энеиде", которое

не раз публиковалось вместе с подлинными 12 книгами, принадлежащими перу Вергилия.

М.-Д. Вида выпустил в 1527 г. "Поэтику" на латыни, хотя на этом языке уже существовала поэтика Горация ("Наука поэзии", или "Поэтическое искусство").

...знаменитой книги Петрония... – До 1663 г. были известны только лишенные заглавия отрывки "Сатирикона" Петрония; (изд. 1499 и 1500); затем была найдена в Далмации и издана в 1664 г. более полная рукопись; Ф.Нодо в 1693 г. опубликовал "полный" текст "Сатирикона" по рукописи, которую ему якобы удалось найти, однако скверный стиль сделанных им "связок" между подлинными фрагментами выдает подделку.

Вольтер рассмотрел этот вопрос всесторонне... – В статье "Петроний", входящей в состав "Вопросов, связанных с Энциклопедией" (1774) Вольтер писал, что Гай Петроний, приближенный Нерона, по прозвищу "арбитр изящного", не может считаться автором такого грубого произведения, как "Сатирикон". Позднее в статье "О некоторых сатирических книгах и ключе к ним" (1834) Нодье, соглашаясь с Вольтером в том, что "Сатирикон" – не сатира на двор Нерона, ибо такую сатиру римляне, безусловно, опасались хранить и она бы до нас не дошла, возражал против передатировки "Сатирикона" и приписывания его "безвестному вольнодумцу позднелатинской поры".

С. 139. *...об утрате отрывка из "Дафниса и Хлои"...* – В конце 1800-х гг. П.Л.Курье нашел в одном из флорентийских монастырей рукопись романа Лонга, более полную, чем все известные до той поры; рукопись была передана в Лорентинскую библиотеку во Флоренции, а Курье готовился опубликовать греческий текст романа и свой перевод, но случайно опрокинул чернильницу на страницу с неизвестным фрагментом; находившийся рядом библиофил А.О.Ренуар попытался спасти фрагмент, но лишь испортил его окончательно. Тем не менее Курье в 1810 г. издал (по снятой им ранее копии) "Дафниса и Хлою" в полном варианте. Тогда хранитель Лорентинской библиотеки Фуриа опубликовал брошюру, где обвинил Курье и Ренуара в том, что они нарочно испортили рукопись, чтобы стать единственными обладателями неизвестного текста Лонга. Ренуар возразил на обвинение в посвященной этой истории "Заметке" (5 июля 1810 г.); Курье же не получил разрешения на публикацию своего памфлета "Письмо господину Ренуару, книгопродавцу, о кляксе на одной флорентийской рукописи", и сумел напечатать его, лишь обманув бдительность мелкого римского типографа. После этого он подарил Лорентинской библиотеке копию утерянного

фрагмента и экземпляр его издания, однако Фуриа не успокоился и стал обвинять Курье в многочисленных ошибках, якобы допущенных им в переводе; на эти обвинения Курье ответил резким "Циркулярным письмом о так называемых вариантах одной флорентийской рукописи" (1 октября 1812 г.) Полемика эта продолжалась несколько лет и была столь страстной, что хранитель Лорентинской библиотеки Фуриа тяжело заболел, а директор ее, не снеся переживаний, скончался.

"Жизнь Марианны" (1731–1741) Мариво оставалась незаконченной; 12-я часть романа, написанная госпожой Риккобони, вошла в издание 1745 г.

...неизвестное доселе письмо Сен-Пре... – По-видимому, Нодье имеет в виду текст под названием "Любовные похождения милорда Эдуарда Бомстона", который Руссо не включил в издание романа "Юлия, или Новая Элоиза" (1761) и который был впервые опубликован в женевском издании Дюпейру (1780–1782). Рукопись его не сохранилась, и текст, печатаемый по копии, сделанной другом Руссо маркизом де Жирарденом, слабее всего романа, однако современные комментаторы не оспаривают принадлежность фрагмента Жан Жаку Руссо.

С. 140. *...что Гийом дез Отель написал всю пятую книгу...* – 16 глав пятой книги "Гаргантюа и Пантагрюэля" под названием "Остров Звонкий" были опубликованы в 1562 г., через девять лет после смерти Рабле, а пятая книга целиком – в 1564 г.; современные историки литературы считают, что первые 17 глав пятой книги принадлежат Рабле наверняка, а остальное дописано по его наброскам кем-то другим.

С. 141. *...подражания Гезу де Бальзаку и Вуатюру...* – Оба этих автора имели весьма характерный стиль; по словам Вольтера, "дурной вкус" Геза де Бальзака заключался "в поразительной напыщенности", а Вуатюра – в чрезмерном пристрастии к "остроумию в игре слов и неожиданных концовках" (Философский словарь, статья "Вкус", 1757).

...знал толк в стилизациях... – В них знал толк и сам Нодье: в журнале "Мюз франсез" ("Французская муза", 1824), одном из первых печатных органов становящегося романтизма, он пародировал стиль французских классицистов; в начале очерка "Г-н де Ламетри, или Суеверия" (1831) поместил фрагмент собственного сочинения в манере Лабрюйера.

...в речи лимузинского студента... – Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль, кн. II, гл. VI; Рабле пародирует здесь злоупотребление латинизированными словами.

"Тяжелое томление" Элизены де Крен вышло в 1538 г.;

Б.Ламоннуа полагал, что фамилия автора – псевдоним, хотя в предисловии к изданию сочинений Элизены 1550 г. о ней говорится как о реальном лице; язык романа темен и близок к латыни.

С. 144. *...возникли во Франции поэтическая и прозаическая школа...* – Дальнейшие рассуждения Нодье касаются литературы пост-классицизма и ее перефрастического стиля, где без особой необходимости всякое слово заменялось пышным иносказанием. Нодье с его острым ощущением истории понимал, что классицистические формы устарели и утратили жизнеспособность: "детские путы бессмысленных единств риторического искусства ослабели, когда великое единство общественной жизни начало рушиться со всех сторон", писал он в статье "О фантастическом в литературе" (1831).

С. 145. *Александрийская школа* – литература эпохи эллинизма (323–30 до н.э.), когда греческий язык и культура распространились в Египте и на всем переднем Востоке; сравнительно с греческой "высокой классикой" V в. до н.э. александрийская поэзия могла казаться эпохой перерождения, такой же, как французский пост-классицизм XVIII – начала XIX в. сравнительно с литературой XVII столетия.

С. 146. *...древнего испанца Лукана...* – Автор эпической поэмы "Фарсалия" Лукан родился в Испании, в городе Кордова.

С. 148. *Крестьянин с Дуная* – персонаж одноименной басни Лафонтена (XI, VII), "варвар", который поражает римский Сенат прямотой и справедливостью своей речи.

С. 148. *...без мелиндской слоновой кости и офирского золота...* – Мелинда – ныне разрушенный город в Африке, столица одноименного государства; Офир – богатая золотом восточная страна, упоминаемая в Библии, в Третьей книге Царств.

С. 149. *...суровой взбучки... какую задал... Сарразен...* – Имеется в виду поэма "Побежденный Дюло, или Разгром буриме", где Ж.-Ф.Сарразен выступал против поэта Дюло, введшего в моду буриме – рифмы-заготовки для сонетов. О Сарразене см. также примеч. к т. 2, с. 144.

С. 150. *Есть слова и звуки...* – Гораций. Послания. I, 1, 34; у Горация эти слова имеют иной смысл: "Есть заклинанья, слова, которыми можешь ослабить // Горе свое и болезнь избыть хотя бы отчасти" (перевод Н.Гинбурга).

С. 150. *Боссюэ... обращался к священным книгам...* – Имеется в виду сочинение Боссюэ "Политика, основанная на Священном писании" (опубл. 1708) и его многочисленные проповеди.

Элохим – одно из обозначений Бога в ветхозаветной мифо-

логии; это форма множественного числа, которая отчасти несет в себе память о древнейшем многобожии еврейских племен, однако выражает скорее значение квинтэссенции, высшей степени качества. Шатобриан, писавший о слове Элохим как доказательстве существования Троицы в изданиях "Гения Христианства" 1802–1804 гг. (ч. I, кн. 2, гл. 4), затем исключил эту мысль из текста.

С. 151. *"Письма к провинциалу"* (1656–1657) – прозаический сборник Паскаля, посвященный полемике с иезуитами, один из образцов французской классической прозы, так же как и "Надгробные речи" (1667–1687) Боссюэ.

С. 153. *Юпитер* (Зевс) в исполнении скульптора *Мирона* нам неизвестен; вероятно, Нодье имел в виду знаменитую скульптуру "Зевс-громовержец" (одно из семи чудес света) современника Мирона, Фидия; *Геркулес Фарнезе* – античная статуя работы Гликона из Афин, найденная в 1540 г. в Риме при папе Павле III (Александре Фарнезе).

С. 154. *"Стиль – это человек"* – цитата из речи Бюффона при вступлении в Академию (1753).

С. 155. *Болонский камень* – старинный химический термин, обозначающий прозрачный камень, светящийся в нагретом состоянии.

С. 156. *...Руссо... так любил читать...* – В начале "Исповеди" Руссо рассказывает о том, как лет с шести зачитывался Плутархом и воображал себя греком или римлянином.

Расин выучил наизусть увлекательный роман о "Теагене и Хариклее"... – Сын великого драматурга, Луи Расин рассказал в своих "Мемуарах" (1747), что когда его отец воспитывался в янсенистском монастыре Пор-Руаяль, его наставник К.Лансело дважды отнимал у него роман Гелиодора и бросал "развратительную" книгу в огонь; на третий раз Расин сам отдал книгу со словами: "Теперь я знаю его наизусть".

С. 156. *"Малые великопостные проповеди"* – 10 проповедей, посвященных искусству управления государством, которые Ж.-Б.Массийон произнес перед Людовиком XV в 1718 г. В книге Паскаля (см. выше примеч. к с. 151) Вольтеру, должно быть, импонировал ее антиклерикализм, у Массийона он учился управлять общественным сознанием.

П.Рикотье, будучи еще кандидатом богословия, перевел на французский язык книгу *Г.Лети* "Историческая, политическая, моральная, экономическая и комическая критика древних и новых, вечных и временных лотерей" (1697, т. 1–2) и присовокупил к ней замечания на труд итальянского авто-

ра. Перевод трактата *С.Кларка* "О существовании и атрибутах Бога", сделанный П.Рикотье, вышел в 1717 г.

С. 157. *А.Байе* – автор многочисленных и пространных сочинений по истории церкви, жизнеописаний ученых и знаменитых людей, а также книги "Переряженные авторы" (1690), близкой Нодье по тематике.

С. 158. *И.Фуст,* компаньон Гутенберга, именовался Фаустом в книге Андриана Юниуса "Батавия" (1588).

С. 159. *"Персидские письма"* (1721) – философский роман Монтескье.

...на обложке стояло слово "Гений..." – Имеются в виду подражания книге Шатобриана "Гений христианства" (1802).

С. 160. *В деле об Академическом словаре...* – Имеется в виду конфликт Французской Академии с Фюретьером (см. выше, примеч. к с. 101).

"О трех обманщиках" – вольнодумное сочинение, направленное против Моисея, Христа и Магомета; между прочим, именно в стихотворном «Послании к автору книги "О трех обманщиках"» Вольтер высказал известные слова: "Если бы Бога не существовало, его следовало бы изобрести". Одноименная книга К.Кортхольда (1680) была направлена против философов-материалистов Гоббса и Спинозы и деиста Чербери, которого его противники обвиняли в безбожии.

С. 161. Исследование *Ламоннуа,* посвященное трактату "О трех обманщиках", опубликовано в 4-м томе "Менажианы" (1716, изд. 3-е).

С. 162. *"Августин"* – шрифт, которым было набрано первое печатное издание сочинения Блаженного Августина "О граде Божьем" (1467).

...кишели дерзкими беженцами... – Имеются в виду протестанты, бежавшие из Франции после того, как Людовик XIV отменил в 1685 г. Нантский эдикт Генриха IV, обеспечивавший французам свободу вероисповедания.

С. 163. *М.Сервет,* сожженный за свои пантеистические взгляды, был автором трактата "Восстановление христианства" (1553), который был сожжен вместе с автором; сохранилось всего два экземпляра этой книги (один из них принадлежал судье, приговорившему Сервета к смерти, побывал в костре, был кем-то вытащен, затем попал в Англию, там был куплен библиофилом герцогом де Лавальером, а затем, в 1783 г., приобретен Королевской библиотекой за четыре с лишним тысячи ливров). Книга *Б.Деперье "Кимвал мира"* вышла в 1537 г. и в том же году была сожжена; сохранился всего один экземпляр;

второе издание 1538 г., также сразу подвергнувшееся запрещению, имелось в библиотеке Нодье. *"Блаженство христиан,* или Бич веры", тринадцатистраничная брошюра, в которой деист *Ж.Валле* отрицал страх перед богом и загробными карами, вышла в 1572 г.; книга была уничтожена (сохранился единственный экземпляр, принадлежавший Кенья и в 1769 г. проданный за 851 ливр), а автора год спустя повесили. Книга *К.Жильбера "История Калежавы,* или Остров разумных людей, с присовокуплением параллели между моралью оных и моралью христианской" вышла в 1700 г.; весь тираж был сожжен, единственный известный экземпляр принадлежал герцогу де Лавальеру.

С. 164. Об *"Учебнике книгопродавца и любителя книг" Ж.-Ш.Брюне* см. т. 2, с. 218–230 и примеч.

"Зримая тьма" – образ из "Потерянного рая" Мильтона (песнь 1).

"Словарь произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом" А.-А.Барбье вышел первым изданием в 1806–1808 гг. (т. 1-4), вторым изданием – в 1822–1827 гг.

С. 165. *"Избранная историко-литературная библиотека" И.-Ф.Юглера* вышла в Иене в 1754–1763 гг. (т. 1–3).

...экземпляр герцога де Лавальера... – См. примеч. к т. 1, с. 47.

...экземпляр господина Кревенны... – П.А.Кревенна продал свою библиотеку в 1789 г., составив предварительно ее шеститомный каталог (1776).

С. 166. *Евсевий Кесарийский* был автором "Церковной истории" – истории христианства до 324 г.

...глоссария, который... подсказал Дю Канжу... – "Глоссарий варварского греческого языка" Мерсиуса вышел в 1610 г.; Дю Канж выпустил словари средневековой латыни (1678) и средневекового греческого языка (1688).

...конволют из сочинений Флегона, Антигона Каристского и Аполлония Дискола... – Этот конволют датируется 1622 годом и носит название "Рассказы о чудесах греческих авторов"; вышел он также у Эльзевира.

...на распродаже книг господина Гуттара... – в марте 1781 г. (каталог, составленный Г.Дебюром Старшим, вышел в 1780 г.).

С. 167. *Дж.Кардано* увлекался астрологией и верил в связь небесных тел с частями человеческого тела; по преданию, он предсказал по звездам день собственной смерти, и, дабы предсказание сбылось, уморил себя голодом; Мопертюи выпустил в 1753 г. в Берлине "Письма", где высказал множество экстравагантных проектов, которые осмеял Вольтер в памфлете "Диатриба доктора Акакии, папского врача" (1752).

С. 168. Самое раннее издание проповедей *Леонардо из Удине* вышло в 1473 г. О *"Гипнэротомахии Полифила"* см. примеч. к рассказу "Франциск Колумна".

Этьенн Табуро (см. выше примеч. к с. 133) писал под псевдонимом Seigneur des Accords ("сеньор аккордов"), в котором Нодье видел намек на барабан (tambour) – девиз Табуро.

С. 169. *Н.Йенсон* (Жансон), лучший печатник Венеции до Альда, родился во Франции, а в 1458 г. по распоряжению французского короля Карла VII был направлен в Майнц, дабы перенять у Гутенберга секреты книгопечатания; где он провел дальнейшие двенадцать лет, неясно; достоверно известно, что он появился в Венеции в 1470 г. и работал там до 1480 г. На изданной им книге "Девичья красота" (предполагаемый автор – Дж. ди Дио Чертозино) стоит дата 1461 г., однако, ничего не зная о местопребывании Йенсона в это время, библиографы (в частности, Ж.-Ш.Брюне) предполагали, что вместо 1461 следует читать 1471.

С. 170. *"Отвоеванный Мальмантиль"*, поэма *Л.Липпи,* вышла в 1688 г. (ее экземпляр был в библиотеке Нодье). Послесловие *Чинелли* посвящено в основном грубым нападкам на литераторов и ученых его времени; оно было отпечатано тиражом 50 экземпляров, с ненумерованными страницами; вскоре после выхода книги послесловие запретили и приговорили к изъятию, что было нетрудно сделать, поскольку оно не было приплетено к поэме, а просто прилагалось к ней. *Б.Гамба* – автор книги "Список изданий образцовых авторов, писавших на итальянском языке" (т. 1–2, 1805–1828).

С. 171. *...полного издания "Каменного гостя" Мольера...* – Эта комедия Мольера была впервые сыграна 15 февраля 1665 г.; уже во втором представлении сцена с нищим, обнажавшая безбожие Дон Жуана, была опущена, а после 15-го представления снята с репертуара вся пьеса; при жизни Мольера она больше не ставилась и ни разу не издавалась. Впервые опубликована в VII томе так называемого "коллективного издания" 1682 г. по рукописи, полученной от вдовы Мольера, однако издатели частично по своей воле, а частично по приказу лейтенанта полиции выбросили сцену с нищим (текст этот, уже набранный, был найден спустя 200 лет библиофилом Солейном). Полный текст "Каменного гостя" впервые издал в 1683 г. амстердамский издатель Анри Ветстейн; затем полный текст включил во 2-й том своего издания (1694) Жорж де Баке. Каждая пьеса здесь имела самостоятельную пагинацию и могла продаваться по отдельности, а для собрания сочинений они были сплетены

в четыре тома (в XVII в. издатели нередко поступали так). Однако Нодье ошибался, утверждая, что в число этих отдельных изданий, выходивших до 1682 г., входил "Каменный гость". Шеститомное издание Мольера с примечаниями Вольтера вышло в Амстердаме и Лейпциге в 1765 г.; "Каменный гость" напечатан здесь в третьем томе.

С. 173. *"Побежденный атеизм" Т.Кампанеллы* опубликован в 1631 г.

Д. де Сен-Глен выпустил трактат Спинозы под тремя разными названиями в 1678 г. в Лейдене, Амстердаме и Кельне.

С. 174. *"Теологический словарь"* вышел в 1789 г. (т. 1–3) в составе "Методической энциклопедии" Панкука и Агасса (см. выше. примеч. к с. 105). Его автор, аббат Н.-С.Бержье (1718–1790), правоверный католик, но не фанатик, заслужил от ханжей обвинения в попустительстве по отношению к философам-энциклопедистам.

Сочинения *Б.Палисси* переиздал в 1777 г. Фожа де Сен-Фон; трактат *А.Грендоржа* "О происхождении синьг" был издан в 1680 г. (синьга – вид утки); трактат *П.Форми* "Об адианте, или Венерином волосе" – в 1644 г. (адиант – разновидность папоротника); оба были переизданы в 1680 г. Пьером Жозефом Бюшо в одном томе под названием "Весьма редкий трактат, касающийся естественной истории".

С. 175. *Филипп Орлеанский* выполнил иллюстрации к изданию "Дафниса и Хлои" *Лонга* в переводе *Амио* (1718, ин-фолио), известному под названием "издание регента".

О *Боккаччо 1527 г.* и переиздании этой книги см. примеч. к т. 1, с. 49.

"Канские древности" Бра де Бургевиля вышли в 1588 г.

О *Кароне,* переиздававшем небольшим тиражом редкие старинные фарсы, фацеции и проч., см. в наст. изд., т. 2, с. 24–26; после смерти Карона его дело продолжил О.Понтье.

С. 176. *Вергилий 1636 г.* в 12-ю долю вышел у Эльзевиров. Комедии *Теренция* и "Записки о Галльской войне" *Цезаря* в 12-ю долю листа вышли у Эльзевиров в 1635 г.

С. 177. *Доктор Слоп и слуга Обадия* – персонажи романа Л.Стерна "Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена" (1767).

"Лихтенштейн" – по-немецки и *Левилапис* по-латыни складываются из двух корней: "очищать" и "камень"; немецкий типограф Хербст (нем. "осень") перевел свою фамилию на греческий и превратился в *Опорина* (Нодье ошибочно считал, что фамилия его была *Винтер* – англ. "зима"); *Буланже* –

по-французски "булочник"; *Пистор* – то же самое на латыни; *Шандье* по-французски означает "Поле бога"; теолог Шандье перевел свою фамилию на древнееврейский язык и превратился в *Садееля.*

Пентефеншон – Нодье написал нижнебретонский вариант фамилии не совсем точно; правильно – "Пенфентенью". На всех трех языках фамилия складывается из двух слов: "глава" и "источник".

Пьер Марто – издательская фирма в Кельне; кто скрывался за этим псевдонимом, неизвестно.

С. 179. *Архилох*, сын знатного человека и рабыни, воин-наемник, по преданию, бросил свою любовницу, и она покончила с собой; *Саллюстий* в бытность свою наместником Нумидии (46 г. до н.э.) без зазрения совести грабил провинцию и ему грозил суд за лихоимство; Жан Батист *Руссо* известен несколькими неблаговидными поступками: стыдясь своего низкого происхождения, он после успешного представления комедии "Льстец" (1696) сделал вид, что не знаком со своим отцом-сапожником; затем по его доносу литератор Сорен был посажен в тюрьму (Руссо обвинил его в сочинении оскорбительных куплетов, которые молва приписывала ему самому); за эту клевету суд в 1712 г. изгнал Руссо из Франции и он бежал в Женеву.

С. 180. *...если б Франсуа Вийон не стал улучшать...* – В дальнейшем Нодье отказался от этой категоричности, "реабилитировал" не только Вийона, но и сам "неловкий грубый стих", и начал настаивать на огромной ценности этого "переходного" периода французской словесности, который "на свой лад был ничуть не хуже, чем век и искусство Буало" ("Заметка о французском романсеро", 1833).

Э.Ленобль, главный прокурор мецкого парламента, осужденный за подделку документов, сочинял в тюрьме свои многочисленные труды (от серьезных трактатов до бурлескных поэм и памфлетов против мужа своей любовницы, отбывавшей наказание в то же самое время); *П.-А.Мотте*, выпустивший в 1708 г. перевод Рабле, был примерным семьянином и отцом 22 детей, что не помешало ему погибнуть в драке в публичном доме.

Эфор – в Спарте одно из пяти ежегодно избиравшихся народным собранием лиц, которые руководили политической жизнью страны.

С. 185. *...другой знаменитый монолог Августа...* – Этот монолог ("Цинна", д. IV, явл. 3) почерпнут из той же главы "Опытов" Монтеня (I, XXIV), что и предыдущий.

«Замечания по поводу "Сида"», весьма недоброжелательные по отношению к Корнелю, Жорж Скюдери выпустил в 1637 г.

С. 187. *...сон Гофолии...* – Из трагедии Ж.Расина "Гофолия" (1691; д. II, явл. 5).

С. 189. *"Ода на битву при Лансе"* была написана в честь победы французской армии над войсками австрийского императора в 1648 г. в ходе Тридцатилетней войны.

С. 190. *...гораздо лучше удались господину Делилю...* – Имеется в виду описательная поэма Ж.Делиля "Три царства природы" (1808; песнь VIII). Нодье называет не все воплощения этой темы в литературе конца XVIII – начала XIX в.; перечень можно продолжить, добавив трагедию Ж.Ф.Дюсиса (1733–1816) "Абуфар, или Арабское семейство" (1796) и элегию Ш.Ю.Мильвуа (1782–1816) "Араб над могилою своего коня", известную в переводе В.А.Жуковского, где также есть сходные описания коня, восходящие к книге Иова.

С. 190. *Э.-К.Фрерон*, противник Вольтера, на протяжении нескольких десятилетий вел с ним борьбу, в которой обе стороны допускали язвительные выпады на грани пристойности. Фрерон использовал в этих целях свой журнал "Анне литтерер" ("Литературный год"), который выпускал в 1754–1776 гг. Ниже Нодье цитирует материалы из этого журнала, дающие довольно яркое представление о "литературном быте" и "литературном этикете" XVIII в., когда писатели с легкостью выступали под чужими именами (Фрерон пишет сам себе от лица въедливых читателей), стремясь использовать все средства, чтобы уязвить противника (так нередко поступал и сам Вольтер).

С. 191. *...сонет Менара...* – Вольтер цитирует этот сонет, носящий название "О счастье жить без должности", в своей книге "Век Людовика XIV" (1751). Сонет обращен к Ришелье, отказавшему Менару в покровительстве (см. примеч. к т. 2, с. 174).

О *госпоже Дезульер* и *Кутеле* см. выше, примеч. к с. 117.

Со – роскошное имение, которое в 1700 г. приобрел герцог дю Мэн; там устраивались празднества, превосходившие пышностью празднества в королевских резиденциях.

Иссе – главная роль в одноименной пасторали на слова А.Удара де Ламотта и на музыку А.-К.Детуша (впервые сыграна в 1697 г.).

С. 193. *"Задиг"*, повесть Вольтера, была впервые напечатана в 1747 г.; "Сочинения" Т.Парнелла, изданные А.Попом, вышли в свет в 1722 г.; легенды о путешествиях вместе с посланником небес известны с древнейших времен, однако непосредственным

источником Вольтеру безусловно послужила поэма Парнелла.

С. 204. *"Путешествие и приключения трех принцев из Серендипа"* шевалье де Майи были изданы не в 1716 г., а в 1719 г.; впервые восточная сказка о трех принцах и верблюде была опубликована на французском языке в книге Ж. д'Эрбело "Восточная библиотека" (1697).

С. 210. *"Бумаги человека со вкусом"* Ж. де Лапорта были впервые изданы в 1765 г. (т. 1–2); в 1770 г. вышло второе, трехтомное издание.

С. 212. *"Басня о пчелах" Б.Мандевиля* была впервые – анонимно – опубликована в 1705 г.; в 1723 г. переиздана с дополнениями. Басня "Лев и марселец" (точнее, "Марселец и лев") была впервые опубликована в 1768 г., причем Вольтер приписал ее "покойному господину де Сен-Дидье, постоянному секретарю Марсельской академии". В предуведомлении Вольтер признал, что некоторые ее "философические мысли" заимствованы из Мандевиля, но отметил, что все остальное принадлежит французскому автору.

С. 216. *Лаберий* – римский всадник, сочинитель мимов, которого Цезарь заставил выступить на сцене в одном из мимов его сочинения; в приведенных словах Лаберий скорбит о своем позоре.

С. 221. *Регул является более убедительным примером твердости, чем Катон.* – Римский полководец Регул воевал с Карфагеном, попал в плен и был отпущен в Рим для переговоров, однако уговорил Сенат не принимать условий Карфагена и вернулся в плен, где был убит. Катон Младший, сторонник Помпея, после того, как Цезарь в 46 г. при Тапсе победил приверженцев Помпея, покончил с собой.

С. 222. *"Нам уже ничего не принадлежит..."* – Неточная цитата из трактата Цицерона "О высшем благе и высшем зле", V, 21.

С. 223. *...в нас заключены две силы...* – Монтень имеет в виду манихейцев, исповедовавших дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных и равноправных принципов бытия (III в. н.э.).

С. 224. *Тимей Локрский* – пифагореец, полулегендарный наставник Платона, которому приписывали различные пифагорейские и платонические сочинения, персонаж одноименного диалога Платона. Мысль о Боге как сфере у Диогена Лаэртского (IX, 19) приписана древнегреческому философу Ксенофану Колофонскому; в средние века ее приписывали также философу Эмпедоклу и легендарному покровителю оккультных наук

Гермесу Трисмегисту; Паскаль употребляет эту мысль в той формулировке, какую он мог прочесть со ссылкой на Гермеса в предисловии к "Опытам" Монтеня, написанной его ученицей и приемной дочерью мадемуазель де Гурне.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВОСПРИЯТИИ НОДЬЕ В РОССИИ

Автор единственной специальной работы, посвященной восприятию творчества Ш.Нодье в России, Н.Мотовилова, писала: "Нодье многосторонен, рассеян <...> Поэтому целостность образа легко дробится, представление суживается, и Нодье удобно укладывается в неправильные по своей неполноте и односторонности рубрики: "Нодье – проводник чудесного элемента в литературу", "Нодье и Байрон", "Нодье-сентименталист в духе молодого Гете", "Нодье-Вертер" и т.д "*

Наблюдение очень верное. В самом деле, Нодье в России знали и переводили, причем среди этих переводов – сочинения самых разных жанров, от ранней фривольной повести "Последняя глава моего романа" (1803; рус. пер. Петра Попова – СПб., 1806) и повестей сентиментальных (Адель, 1820; рус. пер. – СПб., 1836; Девица де Марсан, 1832; рус. пер. А.В.Зражевской – СПб., 1836; Клементина, 1831; рус. пер. в сб.: Рассказы и повести. СПб., 1835, ч. 1; и др.) до литературно-критических статей и философских эссе (Типы или первообразы в литературе, 1830; рус. пер. – Сын отечества, 1832. Ч. 147, № 7. С. 403–419; Что такое истина, 1836; рус. пер. – Московский наблюдатель, 1836. Ч. 6. С. 108–128 и др.); более того, перечень русских переводов дает далеко не полную картину знакомства с творчеством Нодье в России, ибо у многих читателей не было нужды дожидаться появления этих переводов; они читали Нодье в оригинале, и подчас еще не зная подлинного имени автора: "Есть ли у вас «Jean Sbogar», новый роман, и не русским ли он сочинен? – писал П.А.Вяземский А.И.Тургеневу 20 октября 1818 г. – Жуковскому непременно надобно прочесть его. Тут есть характер разительный, а последние две или три главы – ужаснейшей и величайшей красоты. Я, который не охотник до романов, проглотил его разом"**. В русской прессе появляются даже отклики на сугу-

*Мотовилова Н.М. Нодье в русской журналистике пушкинской эпохи // Язык и литература. Л., 1930. С. 185.

**Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 133. Тургенев отвечал, справедливо указывая на подражательный характер романа: «"Jean Sbogar" я читал и заплатил

бо специальные труды Нодье – например, очень хвалебная рецензия на "Начала лингвистики" в "Журнале министерства народного просвещения" (1835, Ч. 5, № 1. С. 182–183).

И все же представления, связываемые в умах русских литераторов и читателей с именем Нодье, нельзя назвать определенными, можно лишь выделить некоторые доминирующие черты для той или иной эпохи.

В 1820–1830-е гг. Нодье "подводится под общее заглавие писателя нового направления, романтика, известного главным образом как автора повестей и романов"*; этот облик запечатлен в статье французского поэта и критика А.Фонтане (в транскрипции русского переводчика "Фонтанея"), опубликованной на страницах "Сына отечества" в 1832 г.: "Г.Карл Нодье рассказывает о себе, раскрывает самого себя не только в своих Записках и Воспоминаниях, но и в Поэмах, в Романах, в Повестях: мы узнаем его во всех действующих лицах его творений; везде является он сам, со своими простосердечными наклонностями, со своею любезною ученостию; везде он сам со своею любовию к цветам и старым книгам. Все его герои и героини ботанисты, библиоманы, филологи, все они заговорщики, все изгнанники, все Поэты, все люди с душою восторженною и мистическою; иногда мечтатели; они понемножку все, что есть или чем был творец их"**.

В конце 1830-х – нач. 1840-х гг. он выступает символом писателя "старых правил", противящегося превращению литературы в политическую или торговую сделку; так, по словам С.П.Шевырева, известного своей борьбой с "торговым направлением" в словесности, "литература изящная во Франции занимает весьма низкую ступень в жизни общественной. Она совершенно подавлена политикою и промышленностию. Все, что есть талантливого в литературе, все стремится на трибуну и жаждет славы политической <...> Скромному миру художественной литературы Франции остаются верны или писатели бездарные или немногие жрецы искусства, имеющие призвание поэтичес-

---

10 р. за чтение, но экземпляра не имею: пришли. Последние главы и мне понравились. Впрочем, это Шиллеров Карл Моор, переодетый madame Krüdener, или тем, кто хотел подражать ей, прежде ее возрождения» (Там же. С. 137; Карл Моор – персонаж драмы Шиллера "Разбойники"; Ю. де Крюденер – автор романа "Валерия" (1803), затем – религиозная деятельница мистического толка).

*Мотовилова Н.М. Указ. соч. С. 188.

**Сын отечества, 1832. Т. 32, № 47. С. 122–123.

кое и не волнуемые бурными страстями государственного честолюбия. Сих последних, как Алфред де Виньи, Карл Нодье, очень немного"*.

Подобные представления о Нодье отразились в сочувственном портрете, который нарисовал в своей книге "Париж в 1838 и 1839 годах" русский литератор В.Строев. Позволим себе привести этот портрет полностью:

"Уж если пошло на стариков, так нельзя не заговорить о Карле Нодье, добром, милом, великодушном, про которого никто не может сказать ничего дурного. Завидна такая старость, утешенная лаврами, общим уважением и собственным сознанием спокойной, чистой совести. Нодье прошел через эпоху, которая на всех своих действователях оставила бесславные пятна; он спас свою репутацию и вынес ее чистою из революционной грязи. Преданный Бурбонам, Нодье написал оду против Наполеона и принужден был бежать в Швейцарию. Там скитался он много лет, без крова, без куска хлеба, ночуя в монастырях, роясь в монастырских архивах и библиотеках, и приобрел разнообразные, обширные сведения, которые доставили ему впоследствии славное имя. При возвращении Бурбонов и он возвратился во Францию; никогда ничего не просил, как другие эмигранты, и ничего не получил за долгие страдания, за свою непоколебимую преданность. Вступив в редакцию Журнала Прений, он посвятил перо делу законных монархов. Как политический писатель, он мало известен во Франции; но славится как романист. Нодье проникнут мыслию, что наша эпоха, прославленная такими успехами просвещения, ничем не лучше предыдущих, что наша цивилизация влечет за собою бедствия, новые нужды, не знакомые прежде человечеству. Он уверен, что Франция пошла по ложному пути и, под блеском учености, промышленности, скрывает новые раны, которых не было в века, менее просвещенные. Эта мысль проглядывает во всех его сочинениях, и особенно в *Jean Sbogar*. Нодье с ужасом и отвращением видит, что человечество стонет под цепями заблуждения или сомнения, между тем как гордые философы хвалятся открытиями, победами просвещения. Кто видел теперешнюю Францию, где священнейшие истины попраны, чистейшие чувства обращены в насмешку, благороднейшие обязанности преданы забвению; кто видел беспокойных французов, ищущих денег, перемен всеми средствами, даже неза-

*Шевырев С.П. Взгляд русского на образование Европы // Москвитянин. 1842. № 1. С. 260–261.

конными, тот согласится с добрым Карлом Нодье, разделит его горе о будущей участи нынешнего французского поколения, которое выросло в крови, без закона, без доблестных примеров. Видя горькое положение общества, Нодье удалился от зла, живет в уединении, посреди семейства и старается дать ему доброе направление, счастливую участь. Он не заботится о Париже, но Париж читает до сих пор его романы, Сбогара, Трильби. Ученые уважают его, как натуралиста, грамматика и филолога, за издание трактата о слухе насекомых, лексикона, путешествия по древней Франции. Журналисты считают его отличным библиографом и критиком за издание священной библиотеки, собрания французских классиков, за критические статьи о Байроне, Ламартине, Жильбере. Стихотворения Нодье проникнуты тихою меланхолиею, непритворною грустию, которая проистекает из мысли его, что блеск и шум современного просвещения не доставляют массе человечества ни помощи ни отрады. Нодье не причастен французской односторонности; он не думает, что в мире один только народ – французы, одна литература – французская. Этот недостаток, общий почти всем французским писателям, не пятнает творений Карла Нодье. Он путешествовал, видел свет; знает, что вне Франции есть человечество, и не ограничивается своим отечеством. Нодье не умрет; он останется в истории французской литературы представителем верной, дельной мысли, к несчастию, слишком справедливой"*.

Так Нодье в восприятии русской публики постепенно превращался из певца романтического бунта против сословных и имущественных барьеров ("Жан Сбогар") в борца против буржуазной современности в целом, причем рисуя этот образ, русский литератор активно использует и дополняет биографическую легенду, созданную самим Нодье.

Что же касается библиофильских сочинений Нодье, то история их русских переводов в первой половине XIX в. бедна; можно назвать лишь перевод "Библиомана" (Сын отечества, 1834. Ч. 164, Т. 42. № 16. С. 533–553) и рецензию на "Вопросы литературной законности", или, в тогдашнем переводе, "Вопрос, касающийся до судебной Словесности" (Сын отечества, 1828. Ч. 119, № 12. С. 394–402). Обе публикации принадлежат перу Ореста Михайловича Сомова (1793–1833). Собственно говоря, рецензия Сомова представляет собою перевод отклика

*Строев В.М. Париж в 1838 и 1839 годах. СПб., 1842. Ч. 1. С. 185–187.

(а точнее, краткого пересказа-реферата), извлеченного "из одного лучшего французского Журнала", поэтому мы приведем лишь ее финал, где Сомов сам характеризует эту "любопытную и полезную книгу":

"Предмет, изложенный г. Нодье, заслуживает общее внимание не только во Франции, но и у нас, особенно с тех пор, как мы имеем закон о литературной собственности и правах Писателей, Высочайше дарованный нам в 22 день Апреля сего года в одно время с Цензурным Уставом. Теперь никто уже не осмелится безнаказанно присваивать себе чужие труды; а если и найдутся такие смельчаки, то они будут преследуемы законом. Желательно, чтобы кто-нибудь из известных наших Литераторов взялся перевести книгу г. Нодье, которой явная цель есть та, чтобы заклеймить в общественном мнении те литературные посягательства, кои, по сущности своей, ограждены от наказаний, полагаемых законами"*.

* * *

Переводы из Нодье в XIX веке носят характер как бы случайный и не дают представления обо всех гранях творчества Нодье, прежде всего о его таланте фантаста и сатирика.

Положение не изменилось кардинальным образом и в нашем столетии. Переведен "Жан Сбогар"; перевод В.Н.Карякина под ред. Е.А.Гунста вышел отдельным изданием в 1934 г.; перевод Н.Фарфель – в 1960 г. в составе сборника "Избранные произведения" (переводы под редакцией А.Л.Андрес и А.С.Бобовича), куда вошли некоторые (преимущественно сентиментальные) повести; переведены в самое недавнее время – увы, с сокращениями – две важные литературно-критические статьи Нодье (О некоторых классических логомахиях; О фантастическом в литературе // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 404–412; Пер. Е.П.Гречаной), однако можно сказать, что подлинное знакомство русскоязычного читателя с Нодье – "рассудительным насмешником", ироническим парадоксалистом, язвительным наблюда-

---

*Сын отечества, 1828. Ч. 119. № 12. С. 401–402. Упоминаемый Сомовым цензурный устав 1828 г. был существенно мягче, чем предыдущий, принятый в 1826 г. (см. подробнее: Гиллельсон М.И. Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л., 1978. С. 195–218).

телем, скептическим мыслителем, с тем писателем, которому Бальзак сказал : "Вы бросили на наше время прозорливый взгляд, философский смысл которого выдает себя в ряде горьких размышлений, пронизывающих ваши изящные страницы, и вы лучше, чем кто бы то ни было, оценили опустошения, произведенные в духовном состоянии нашей страны четырьмя различными политическими системами"*, — это знакомство еще впереди.

В.А.Мильчина

---

*Бальзак О. Собр. соч. в 15 т. М., 1952. Т. 5. С. 349.

СОДЕРЖАНИЕ

О Шарле Нодье и его книжных пристрастиях. *В.А.Мильчина* 5

Библиофильские новеллы

Библиоман. *Пер. В.Мильчиной* 34

Франциск Колумна. *Пер. В.Мильчиной* 51

Трактаты, эссе, статьи о книгах, книжниках и чтении

Вопросы литературной законности. *Пер. О.Гринберг* 78

Предисловие ко второму изданию 78

I. О подражании 82

II. О цитации 90

III. Об аллюзии 92

IV. Об общности идей, бессознательном заимствовании и сходстве сюжетов 93

V. О плагиате 105

VI. О литературном грабеже 112

VII. О подставных авторах 117

VIII. О публикациях под чужим именем 121

IX. О вставках 136

X. О дополнениях 137

XI. О стилизациях 138

XII. О школах в литературе 142

XIII. О профессиональных стилях и манере 156

XIV. О контрафакциях 158

XV. О поддельных рукописях 158

XVI. О плагиате заглавий 159

XVII. О подложных книгах 161

XVIII. О подложных отрывках 166

XIX. О ложных датах 168
XX. О поддельных редкостях 170
XXI. О переменах заглавий 172
XXII. О хитростях некоторых фанатиков . . . 173
XXIII. Продолжение предыдущих 174
XXIV. Заключение 178
Примечания 225
Приложение. Несколько слов о восприятии Нодье в России. *В.А.Мильчина* 264

Шарль Нодье

ЧИТАЙТЕ СТАРЫЕ КНИГИ
Книга I

Редактор Н.В.Дашковская
Художественный редактор К.С.Гуреев
Технический редактор В.Л.Юняев
Корректор В.А.Коротаева
Оператор Н.Е.Монахова

ИБ 1980

Сдано в набор 11.05.89. Подписано в печать 05.09.89.
Формат 70x100/32. Бум. офс. № 1. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 11,05. Усл. кр.-отт. 11,21. Уч.-изд.л. 12,54.
Тираж 50 000 экз. Изд. № 4369. Заказ № 2180. Цена 90 к.

Набрано на композере в издательстве "Книга"
125047, Москва, ул.Горького, 50.
Московская типография № 4 при Госкомиздате СССР.
129041, Москва, ул.Б.Переяславская, 46.